Андрей Ромашов



АНДРЕЙ РОМАШОВ

ПОВЕСТИ

Свердловск
Средне-Уральское книжное издательство
1983

84Р7
Р69

Андрей Ромашов родился в 1926 г. в Прикамье в крестьянской семье. Первая его повесть «Раннее утро» была опубликована в 1957 г. в Перми, где в последующие годы вышло несколько книг писателя. С 1975 г. А. Ромашов живет в Свердловске.

Центральное место в новой книге писателя занимают ранее издававшиеся повести о становлении Советской власти на Урале — «Одолень-трава» и «Первый снег». Действие «Одолень-травы» начинается в глухих прикамских лесах на заре века, а затем развертывается в годы гражданской войны. Рушится старый мир, и огненная линия разлома неумолимо проходит через утонувшую в снегах избу лесника Никифора... Застывшим, почти патриархальным кажется весь уклад жизни северного приуральского села в повести «Первый снег». Но и сюда долетают ветры эпохи, и здесь вскипает непримиримая борьба, и радость обновления сливается с горечью утрат.

Третья повесть сборника — «Диофантовы уравнения», впервые опубликованная в журнале «Урал» в 1981 году, рассказывает о трагических событиях, происходивших в древней Александрии более полутора тысяч лет назад. Повествование ведется от лица одного из учеников Гипатии — выдающейся женщины — философа и математика, погибшей от рук религиозных фанатиков.

О каком бы времени ни писал Андрей Ромашов, в центре его внимания — проблема нравственного выбора, гражданской ответственности человека за все происходящее вокруг.

Рецензент В. П. Астафьев.

Послесловие В. П. Лукьянина.

Р $\frac{4702010200-071}{М158(03)-83}$ 73-83

ОДОЛЕНЬ-ТРАВА

Иду я из поля в поле, в зеленые луга, в дольные места по утренним и вечерним зорям. Умываюсь я медвяною росою, утираюсь солнцем, частыми звездами опоясываюсь. Иду я с одолень-травой. Одолень-трава! Не я тебя породил, породила тебя сыра земля, поливали тебя девки простоволосы, бабы-самокрутки. Одолень-трава! Одолей ты злых людей, чародея и ябедника. Одолень-трава! Одолей ты горы высокие, долы низкие, озера синие, леса темные, пеньки и колоды. Спрячу я тебя, одолень-трава, на груди, у сердца ретивого. Слово мое крепко. Аминь!

Заговор уральских охотников

Глава первая

Никифор вышел к тракту логом, снял лыжи, прислушался — не несет ли кого нелегкая. Бойким стал Богоявленский тракт. Месяц назад по нему красные отступали, и пешком, и на конях. Теперь вот белые... Он увидел солдат, человек тридцать, верхами. Они спускались с горы, впереди ехал в розвальнях офицер.

Сняв со спины ружье, Никифор встал за елку. Стоять пришлось долго. Солдаты под горой спешились, офицер вылез из саней и направился к обочине. Остановился офицер шагах в десяти от Никифора, хотел наскоро справить малую нужду, да руки не слушались. Он и дул на них, и пальцы в рот толкал. Смотрел Никифор на беднягу и думал — людей убивать человек научился, видно, дело нехитрое, а сходить по малой нужде толку нет.

У офицерских саней, держа наготове тулуп, топтался возница. Присмотревшись к нему, Никифор узнал своего тестя, Сафрона Пантелеевича, и так разволновался, что чуть не выдал себя. Чтобы получше разглядеть тестя, он стал сбивать рукавицей снег с сучьев. Лошади услышали шорох в лесу и запрядали ушами. К счастью,

офицер уже садился в розвальни. Сафрон Пантелеевич бросил ему тулуп, сел сам, и молодая лошадь взяла с места в галоп. Белая пыль поднялась за санями. Зацокали, застучали копыта. Верховые, нахлестывая лошадей, бросились догонять офицера. Когда они скрылись, перевалив за гору, Никифор вышел на тракт, прошел по крепкой наезженной дороге сажений тридцать и нырнул под широкие елки. Под елками встал на лыжи, наломал лапника и, заметая следы за собой, подумал, что тестя еловым голиком из памяти не вымести. Двадцать лет прошло, мужики за это время состарились, избы осели, а день тот летний ему не забыть. Помнил он каждое слово, сказанное тогда, помнил избу, чисто вымытую, и счастливую Александру. Сидели они с Сафроном, с отцом ее, за столом. А Юлий Васильевич по горнице ходил, волновался. Молодой был еще господин лесничий, понять не мог — зачем богатому мужику казенный лес воровать, если лесорубный билет стоит всего двенадцать рублей. «Двенадцать с гривенником, господин Дубенский»,— поправил его Сафрон. Лучше бы промолчать мужику, да кто знал, кто ведал. И сейчас не верится, что большая беда началась с горошины. Уж очень обидно показалось господину лесничему, что гривенник богатому мужику дороже совести. Он даже застонал и в лице изменился. Сафрон дочь кликнул, она вышла в горницу с кружкой браги, напоила Юлия Васильевича и поклонилась ему, дескать, кушайте на здоровье. Семнадцатый год шел тогда Александре. Одевалась она по-городскому, дома без головного платка ходила, косы русые не прятала, красоту тоже...

Сорока застрекотала в горе — опять кто-то шел или ехал по тракту. Вздохнув, Никифор зашагал к дому, но еловый голик не бросил — на чистых еланях заметал следы за собой. Пока до речки Безымянки шел, по ямам да кочкам, некогда было вспоминать, а как в Безымянку спустился и идти стало легче, опять прошлое одолело. Вспомнил тяжелый стол в красном углу, покрытый пестрой скатеркой, вспомнил сомлевшего от жары хозяина и Александру в розовом платье с оборками.

Сафрон похитрее был господина лесничего, поставил на стол пузырек с чернилами — пиши, значит, бумагу по форме, штрафа не боюсь. Юлий Васильевич замялся, Сафрон и начал «кружева плести». Не в гривеннике, говорит, дело, а в обычае, и обычай тот идет из глубокой

старины. Жили, дескать, богоявленские мужики сотни годов сами по себе, пока не пришел на Каму-реку граф Строганый, и начал он леса сводить, заводы железные ставить, чтобы потом от русской земли отложиться и к германцу сивому перекинуться. Царь об этом дознался, велел сквозь дремучие леса дорогу пробивать, чтобы могло царское войско к Каме выйти и графа-изменника лютой смертью казнить. Государевы люди год рубят дорогу, другой, а лесу конца и края нет. А у графа в селе полюбовница была, могутная девка, мужиков била на помочах. Граф любил с ней в бане париться, выходил из бани, как после говенья, ветром его качало. Богоявленские мужики смекнули — не резон им царское войско ждать, подкараулили графа, когда он из бани шел, связали и представили пред царские очи. С той поры запрету богоявленским мужикам ни в чем нет.

Господин лесничий рассказу не поверил, посчитал сказкой, но Сафрона простил. На том и дело кончилось, как думал тогда Никифор. Вышел он из села после обеда. Было жарко, сухая трава под ногами поскрипывала. Березы совсем сникли. Версты через три свернул с тракта, пошел прямушкой и заблудился. Заблудился днем, в знакомом лесу.

Короткую летнюю ночь просидел у речки, домой пришел утром, расстроенный, и рассказал отцу, как подшутил над ним леший. Выслушав его, Захарий сказал, что в лесу всякое бывает, на то он и лес, и поставил на стол чугунок с холодной ухой. Никифор сел к столу. Захарий достал из ларя хлеб, принес из сеней чашку вареных рыжиков и туесок квасу. Он ел, отец сидел рядом, нахваливал рыжики, подливал в кружку ему жиденький вересовый квас. Никифор сам мог и рыжики принести, и квасу себе налить, да боялся — рассердится старик. Обезножев, Захарий передал ему не только свою должность лесника, но и хозяйские права в избушке, освободил нары в переднем углу и перешел спать за печку, стирал, стряпал и пек по субботам тяжелые ржаные караваи.

Почитая отца, Никифор первое время не раз брался за стряпню и за стирку, но старик, не говоря ни слова, совал ему в руки ружье и выпроваживал в лес, на службу. Так и жили. Никифор звал отца по имени — Захарием — из уважения к его характеру, высокому росту и бороде, иссиня-черной даже в старости. Отец звал

его Никишей, жить не мешал, ни в какие дела его не вмешивался, только одно говорил: «Обходи Богоявленское село стороной, не лезь к людям». А сам, пока здоров был, в село ходил, мужиков не чурался и бабам помогал, лечил их от чирьев волчьим жиром, от запоров — сырой зайчатиной. Где и когда Захарий встречался с бабами — Никифор не знал. В избушке бабы не бывали.

В то утро Захарий не отходил от него, кряхтел, несколько раз начинал разговор, что все живое на земле растет, входит в силу, старится и умирает. Про господина лесничего тоже сказал. Хороший, дескать, человек молодой лесничий, лес бережет, как девку, только девка не век невестой будет, придет пора, и старухой станет, себе и людям в тягость: и дерево в лесу, как невеста, вовремя с рук не сбудешь — себе убыток, потому что у старого дерева корни, как железо, крепки. Стоят старые деревья долго, пустые и бесполезные, молодым свет застилают. Закончил разговор свой Захарий коротко — сказал, что скоро умрет. Никифор не поверил ему — с сухотой в ногах старики до ста лет живут.

Немного дней прошло, Захарий опять за свое — умру-де скоро, один останешься, живи согласно привычке и красоте телесной. Дерево, дескать, или волк на обличье не смотрят, а девке, особенно которая не изработалась, красота требуется. Помню, сошелся с одной, баская была, румяная, все шептала мне — ты, говорит, Захарий, будто и не мужик, лесной травой пахнешь, хорошо ето для любви моей, чувствительно.

Не понял тогда он Захария, слушал без интереса и про себя думал: сломала болезнь старика, плетет околесную. Умер отец осенью, похоронил Никифор его без попа, могилу вырыл за огородом, в пихтовнике, на кресте написал:

Лежит тут Захарий лесник.

Вечер уж скоро, дома сын ждет раненый, и Юлий Васильевич беспокоится, а Никифор на Безымянке еще, до избушки час ходу без малого. Утром он как торопился, ушел из дому затемно. На рассвете двух тетерок подбил, рассвело — задубевшего зайца вынул из петли. Потом Сафрона увидел и понял, что от прошлого не уйдешь, в избушке прошлое-то его, на нарах. Умом домой торопился, а ноги не шли. И снег к вечеру будто суше стал, тоскливо скрипел под лыжами, старые они,

шерсть вытерлась. Чтобы о доме не думать, по сторонам глядел — на кусты заиндевевшие, на красный лес в горе. Качался тонконогий лес, шумел, как перед непогодью. А откуда ей быть? Поясница не болит, и птицы не беспокоятся — на кормежку вылетают поздно.

Речка вправо свернула, на полдень. Он стал в гору подниматься, убродно в горе, снегу намело больше аршина, до середины вылез и задохся; отдыхать сел на сломанную лесину. Отец в его годы молодцом был, на сердце не жаловался, говорил ему — береги сердце, не лезь к людям. Не послушал он Захария. Похоронил старика, неделю один пожил и в село побежал, косолапый дурень. Радуйтесь, наряжайтесь, девки, жених конопатый явился.

Клял себя Никифор за прошлое, нехорошими словами ругал, а на сердце лето лежало, парные ночи с зарницами. Между земскими амбарами и церковной оградой большая поляна, светом лунным облита. На поляне русалки плавают, земли не касаясь, лунный свет руками щупают, как слепые. Траву-мураву славят русалки, сенокосное лето, про мужа поют старого, с которым постель зря изоспана, краса-молодость зря издержана.

Никифор за углом амбара стоит, в густой темноте. Сладко на душе у него: запляшут русалки, и он подскакивает, запоют хороводную — он подпевает тихонько. Рядом сторож церковный Пискун ворочается, за рукав его тянет, в сторожку зовет вино пить. Отказываться Никифор не умел, пошел. В сторожке жарко, а пахнет нежилым. На божнице две кривые свечки горят. Пискун себе в кружку наливает, ему — в стакан. На столе пусто, закуски нет. Пискун закуску не признает, она, дескать, неуважение к вину показывает. Сторож напиться торопится и его неволит — пей, говорит, язычник нераскаявшийся, донесу архирею, что отца закопал без священника, как собаку, за огородом.

Муторно от вина, блевать тянет, а приходится пить. Пискун совсем сдурел, ногтями столешницу скребет, бабьим голосом воет: дескать, огорчение получил от жизни, нету душе покоя, власти насильством держатся, зайцев жрут вишерцы, девки богоявленские Ярилу славят, в отчаянности земля русская, заголилась, бесстыжая.

Никифор еще в памяти, на улицу пробирается, сте-

ны руками ловит, а Пискун рубаху рвет и кричит по-дикому: «Нате, вся тут, аминь!»

Поглаживая обледеневшую лесину, Никифор думал: страшен обиженный человек, себя такой не жалеет, о других и говорить нечего.

Нащупал ногой спавшую лыжу, встал, поглядел на гору крутую — она не убавилась.

Глава вторая

Домой Никифор пришел засветло, увидел волчьи следы у ворот, совсем еще свежие.

В невеселом месте стояла его изба. Лес кругом да угоры. Седые старые елки подступали к крыльцу. Вздрагивая от холода, они осыпали мосток и ступеньки снежной пылью. Никифор никогда не сметал ее, снежная пыль рассказывала ему, кто заходил в избу и с каким намерением. Пока он ходил за тетерками, широкопалые елки засыпали и его следы на крыльце. А новых не прибавилось.

Разрядив ружье, он пошел в избу, не опасаясь, в холодных сенях стряхнул снег с шапки, околотил валенки.

В не выстывшей еще избе пахло прелой овчиной и травами. Похрапывая, Семен спокойно спал, а Юлий Васильевич ворочался на нарах. Никифор повесил на крюк казенный зипун, достал из мешка тетерок, разгладил шелковистые перья и пожалел птиц — молодые совсем еще, мало пожили.

— Чего ты там возишься? — спросил его Юлий Васильевич. Никифор бросил тетерок на лавку, подошел к нему и стал рассказывать, что ветер с утра поднялся, разволновался лес, зашумели скрипучие елки, пришлось в лога уходить, за Богоявленский тракт.

— Вот дело какое, Юлий Васильевич.

— Развяжи!

— И сам думал, неловко лежать вам. Только не знаю, как и быть.

— Не убегу, не бойся.

— Белые солдаты по тракту идут и идут...

— А ты слову честного человека веришь?

Развязывая его, Никифор думал, что не всегда человек слову своему командир: ругал господин лесничий и царя, и богатых людей, а офицерский мундир надел, вместе с белыми воевать собрался. Веревка захлестнула

березовый стояк, врубленный в пол, пришлось лезть под нары, распутывать. Когда он вылез, Юлий Васильевич уже стоял, топтал спавшую с ног веревку, разминался.

— Варить суп на таганке или завтра с утра в печке сварим? — спросил его Никифор.

— Почетный плен у меня, как у Марии Люксембургской.

— Я насчет супа. В печке, говорю, уваристей будет.

— В четырнадцатом году, уважаемый Никифор Захарович, великая герцогиня Люксембургская по приказу германского императора была арестована и заточена в замок Рюггенсгоф. Красивейший замок, говорят. Поучительная история. Месть переплетена с любовью, политика — с хамством. За год до войны в этом замке сын германского императора объяснился в любви прекраснейшей из герцогинь. Но безуспешно...

— На улицу бы вам, Юлий Васильевич.

— Это почему, уважаемый?

— Переминаетесь вы с ноги на ногу, и лицо у вас кислое.

— Вот как... Хотя... глас народа — божий глас.

Юлий Васильевич ушел на улицу без шапки, в расстегнутом мундире. Дверь как следует второпях не закрыл, по полу полз бусый холод. Никифор плотнее прихлопнул дверь и сел к окну ощипывать тетерок. Сумрачно было в избе, с полчаса еще — и совсем стемнеет, а лампу зажигать боязно, летом на свет гнус собирается, зимой — люди. Раньше он людям радовался, любого величал гостем, а сейчас — чему радоваться? Красные придут — плохо, офицер у него в избушке, белые заглянут — еще хуже...

Семен заворочался на кровати, голову поднял.

— Пить, может, хочешь? — спросил Никифор сына.

— Море мне, тять, приснилось. Синее море, большущее! Берегов не видно, хоть куда гляди.

— Море, оно к дальней дороге снится. А я, Сеня, двух тетерок добыл. Суп без капусты сварим, булиён называется.

Заскрипела дверь, опять холодом потянуло. Увидев непривязанного офицера, Семен закричал и хотел встать, да подломились руки.

Никифор бросился к сыну, прижал его легонько к кровати, стал уговаривать:

— Лежи, не тревожься. Господин лесничий на улицу

попросился... Без этого нельзя, и в тюрьме заключенным выводку делают.

— Контра он, тятя. Белогвардейская сволочь! Глаз не спускай с него.

— Все аккуратно будет. Аккуратно, Сеня. В лесу я теперя хозяин.

Семен успокоился или в забытье впал. Никифор прикрыл его овчинным одеялом и пошел за свечкой. Огонек от нее жиденький, а все-таки огонек, в темноте человеку помощник. Юлий Васильевич все еще у порога стоял не шевелясь, как вкопанный. Руки его жили сами по себе, теребили полу мундира.

— Заморил я вас,— сказал ему Никифор.— Щей хоть поешьте.

Юлий Васильевич успокоил руки, застегнул мундир на все пуговицы и пошел к печке — есть остывшие щи. Ел он не по-барски, громко. Никифор зажег оплывшую свечку, увидел худую спину господина лесничего, согнувшегося в три погибели над шестком, и подумал: вот и уравнение жизни началось. А бывало, сядет господин лесничий харюзовую уху кушать, хлеб из плетенки берет двумя пальцами, кусает мелко, по-беличьи. Спасибо скажет с улыбкой, сначала уху похвалит, потом русский народ и разговорится — все люди, дескать, одинаковые, и мужики, и баре, неравенство сословий в наше время дикость, и его надо сокрушить.

Под ларем мышь заскреблась. Никифор шикнул на нее, взял с шестка свечку и пошел к сыну, прикрывая ладонью жиденький восковой свет.

У кровати стоял березовый чурбак, на нем — крынка с травяным настоем, прикрытая красноармейскими штанами. Никифор поставил свечку на чурбак, снял одеяло с Семена и встал на колени. Сильно пахло лежалым сеном, но тряпка на ране была сухая, не гнило больше бедро. Собирая летом жабью траву, не думал Никифор, что зимой придется сына выхаживать. Забрел он на Пожвинские поляны случайно — обходил стороной сеяный лес, чтобы не видеть, как изводят его богоявленские. На полянах увидел сизую, будто опушенную снегом, траву и не удержался, нарезал полную сумку.

В избе тихо, и мышь не скребется, затаилась.

Юлий Васильевич пересел от шестка на лавку, поближе к дверям, и приготовился разговаривать. Без разговора господин лесничий не мог, моложе был — всегда

на церковное писание ссылался, дескать, и в библии сказано, что в начале мира было слово, и слово было делом. Много знал господин лесничий и умел рассказывать. Никифор любил его слушать, но замечал — слово у Юлия Васильевича делом не было...

— Богу молишься, Никифор Захарович? Христу или скотьему богу Велесу? Был и такой у нас. Скотий бог. Потом Власием назывался, святым.

Он ответил господину лесничему, что вспоминает добрым словом Захария, встал с полу, закрыл одеялом сына, задул свечку и пошел на беседу.

В темной избе Юлий Васильевич казался широким и непомерно большим, пахло от него потом и махоркой, как от мужика. Никифор пожалел его, подсел ближе — пусть хоть выговорится.

— Лежу я, Никифор Захарович, и все думаю, жизнь свою проверяю, ищу — где нечестен был, подл, гадок...

— Служили вы честно. Помню, хвастал Большаков-старый, первостатейный купец, что, дескать, не таких покупали вместе с дворянскими потрохами. И осекся! Дивился я на вас, Юлий Васильевич, пятьдесят тысяч — не малые деньги.

— Вот именно: не малые! Ты думаешь, особенный я или лес люблю больше денег?

— Лес вы любите, Юлий Васильевич.

— Люблю, но не в этом дело. Семья наша не была богатой, жили мы скромно. Но не бедно, разумеется. Отец служил, был управляющим, председателем контрольной палаты. Я имел все, что надо ребенку, гимназисту, юноше из хорошей семьи. Может быть, в этом моя вина? Думаю — нет. За что же ненавидит меня Семен? Разве я унижал людей, был груб, жаден, нечистоплотен в помыслах, лебезил перед старшими по чину?

Никифор слушал его и думал: все так, господин лесничий, все так, но и Семен малым ребенком был, а жил хуже собаки.

Юлий Васильевич встал с лавки, руку поднял, сказал, что дорого обойдется России сказка о земном рае, и направился к нарам. Шел он медленно, темноту руками щупал. Никифору показалось, что сердится господин лесничий на кромешную темноту, расталкивает ее, как осоку.

Добравшись до нар, Юлий Васильевич лег, не сни-

мая валенок, повертелся на мягком тряпье и приказал:

— Привязывай, Никифор Захарович, классового врага.

Глава третья

Никифор подвинул к лавке два тюрика, положил в изголовье казенный зипун и прислушался — уснул Юлий Васильевич или не уснул? Четвертую ночь так. Пока не уснет господин лесничий, и он не ложился, сидел на лавке, вспоминал прошлое и думал, что свой своему поневоле брат. Уйдет господин лесничий из избушки, доберется до тракта, а там белые... Стащат они Семена с кровати, начнут бить, про красных расспрашивать...

Раньше Юлию Васильевичу он верил, услужить старался хорошему человеку. В молодости, бывало, выйдет на Безымянку до солнышка, рыбы наловит, начистит картошки и ждет, когда Юлий Васильевич на дрожках подкатит, да не один, а с Александрой. Веселятся они на зеленой траве, красные цветы собирают. Желтые цветы Александра не любила, дескать, к разлуке они. Господин лесничий над этим смеялся, стыдил ее, говорил, что все это мещанские сказки, и разлучают людей не желтые цветы, а потухшие чувства. Про чувства они говорили больше всего, и за ухой, и за самоваром. Александра в селе выросла, дочерью Сафрона была, а выражалась, как городская барышня, осуждала простых людей, что презирают они родство душ, не ценят совсем образованность. Юлий Васильевич говорил про сословия, которые настоящей любви не помеха. «Чем все это кончится?» — думал Никифор, слушая их. Сначала он ел вместе с ними, потом замечать стал — брезгует его Александра, косится на заскорузлые руки, на застиранную рубаху.

Однажды господин лесничий приехал на Безымянку один, налегке, без закусок, без самовара, сказал, что Большаковым делянки отвел за Каменным логом, чтобы не смели они лес рубить в другом месте. Побыл на лугах господин лесничий недолго, наскоро ухи поел и велел запрягать мерина.

Домой Никифор пришел рано, ходил как неприкаянный по избе, не знал, чем заняться, а утром, едва рассвело, в село побежал. Добежал быстро, зашел в контору, там тихо, писарь в бумаги уткнулся, Большаков на диване сидит — волосатый, седой, а костюм барский,

штиблеты блестят чище зеркала. Зря купец разоделся, подумал тогда Никифор, Юлия Васильевича штиблетами не испугаешь. Потоптался Никифор в конторе, спросил у писаря, когда господин лесничий появится, узнал — не скоро, и пошел к Сафрону Пантелеевичу.

Изба у Сафрона большая, издали видно. Крыша железом крыта.

Перед высоким крыльцом Никифор долго вытирал ноги и кашлял. Хозяин встретил его в сенях, завел в горницу, брагой хмельной угостил и похвастал, что покупает у Большаковых мельницу на Безымянке.

Никифор кружку браги выпил, от другой отказался и спросил хозяина, здорова ли Александра — раньше она каждое воскресенье на Безымянку ездила отдыхать, а вчера господин лесничий один приехал, уху поел неохотно, полежал в траве, поглядел на мягкое августовское небо и в село укатил. Сафрон Пантелеевич сначала назвал Никифора дураком, потом повинился: прости, дескать, на грубом слове, но недогадлив ты, барыней будет Александра, в город она уехала, модные платья шить, к свадьбе готовиться. Ну и слава богу, порадовался Никифор, а Сафрон Пантелеевич ни с того ни с сего заругался — кому, дескать, денежки пóтом соленым достаются, а кому, мать их в душу, за белые ручки, за чистое обхождение...

Тепло в избе, ко сну клонит, кажется Никифору, что навалилась на него грузная Сафронова баба, давит его, он выпрямиться хочет, молодых увидеть — они вокруг аналоя ходят. Александра в розовом платье с оборками, а Юлий Васильевич в офицерском мундире и саблю обеими руками держит, как крест. Хлестнула Сафронова баба по загривку Никифора, он на пол съехал, уперся руками в каменный пол, встать норовит и не может. Проснулся — на карачках стоит в своей избе, руками в холодный пол упирается. Поднялся с трудом и пошел к нарам — спит Юлий Васильевич, на спине спит, и руки раскинул.

Снам Никифор не очень верил, вроде икон они: пока смотришь — боязно, а другим каким делом занялся — и забыл. А вот лесные приметы забывать нельзя, человеку они тайный знак подают — куда дальше идти, что делать? Приметы, Захарий говорил, потому приметами и называются, что примечать их надо, не балбесом по лесу ходить, а иметь глаза и уши.

Семен застонал, попросил пить.

— Сейчас, сейчас, Сеня! — заторопился Никифор.

Он напоил сына, сел на кровать, кружку с вересовым квасом держал на коленях. Может, не сразу уснет парень, еще пить запросит. Но Семен уснул. Никифор посидел в ногах у него, порадовался, что спокойно спит, не бьется и не кричит, как в первые ночи, и решил немного поспать. Неспавший человек что пьяный — соображения настоящего нет и телом вялый.

Пробираясь к двери, Никифор подумал: не проговорился бы Юлий Васильевич. Спорят они с Семеном громко, сами себя не слышат. Долго ли до беды! Нащупал постлань свою, лег, теплой шубой укрылся. Только бы спать! Да такая уж натура людская: когда спать нельзя — ко сну клонит, сил никаких нет, а когда можно спать — не спится. И сон приснился глупый ему, совсем неподходящий сон.

После разговора того с Сафроном Пантелеевичем Никифор месяца три не был в селе, жил дома, службу лесную справлял, грузди солил, дровяное сушье таскал к избе, к зиме готовился. В теплой избе, Захарий говорил, и одинокому человеку не так одиноко.

День за днем шел. Осенью в лесу хорошо — звонко, чисто. Душа радуется.

Недели за две до покрова приехал к нему господин лесничий и рассказал, что студенты в столице свободу требуют, в царских министров из пистолетов стреляют. Господин лесничий тоже за свободу стоял — она, дескать, воздух и хлеб всех людей, которые мысли в голове имеют. Никифор спорить с ним тогда не решился, а про себя подумал: уж нашто белка живой зверек, а привыкнет к сытому житью в избе — на свободу не выгонишь. Радовался гость, пальцами колотил по столешнице, пел, что не зря на святой Руси петухи кукарекают, а Никифор глядел на него, удивлялся — мерина оставил господин лесничий на Безымянке, до избушки шел без малого шесть верст, по всякой дороге, а на штанах пятнышка нет, будто сейчас из конторы вышел.

Поели вместе. Отдыхать сели к окну. Никифор про Александру спросил — как живет девушка, скоро ли свадьба? Господин лесничий собираться вдруг начал, дескать, за Пожвинскими полянами его лесообъездчики ждут.

Неделя не прошла, в избушку церковный сторож вва-

лился. Как дорогу Пискун нашел — непонятно. Переступил порог, упал на колени и заревел: приюти, простая душа, не выдай властям жестокосердным, ибо все мы грешны и богу едину души наши подсудны. Усадил он Пискуна за стол, накормил и напоил, начал расспрашивать. Пискун признался, что пьян был, немощен разумом — осквернил источник святой становым приставом. Грешен, дескать, но прощения достоин, потому как становой пристав не дите малое и не евангельская вдовица. Вдовицу Пискун зря приплел и, опомнившись, стал рассказывать сельские новости. Сначала про попа Андрея, потом про Александру. За неделю до покрова снял Сафрон Пантелеевич измазанные дегтем ворота, а ее бил вожжами до бесчувствия и сволок за ноги в погреб. Жива Александра или отдала богу душу — неизвестно.

Никифор сказал тогда церковному сторожу, что пожалуется господину лесничему на такое тиранство. Захохотал Пискун, хохотал долго, до слез, потом квасу выпил и рассказал притчу — дескать, врут попы, будто сотворил бог Адама по образу и подобию своему. Подобие, может, и было, а насчет образа — чистое вранье. Жил, дескать, Адам в райском саду непристойно, шумел и ругался, как в трактире. Особенно ангелов донимал. Чуть зазевается какой, Адам хватал его за крыло и спрашивал: «Какой чин имеешь, сказывай?» Ангел отвечал поспешно, что по чину он посланник божий. «Врешь! — кричал Адам.— Врешь, бесполая твоя душа! Не посланник ты, а балбес. Нет у тебя ни морды настоящей, ни брюха». Степенные пытались его устыдить, иной говорил Адаму: «Недостойно есть буйствовать и ругаться в божьем вертограде».— «А ты кто такой, штобы меня учить! Хошь, невежа, крылы твои пуховые морским узлом завяжу?» И завязывал! Иссякло терпение у ангелов, пошли они к господу богу жаловаться, что нет никакой возможности службу небесную править, замучил Адам окаянный. Призывает господь Адама, спрашивает: «Почто буйствуешь, сын мой, или райская жизнь тебе не мила?» — «Ну какая это жизнь,— отвечает Адам создателю своему,— даже в рыло дать некому, один как перст». Удивился господь: «А зачем тебе, Адамушко, это самое... в рыло давать?» — «Натурально надо, чтобы звание свое человеческое утвердить». Долго господь бог уговаривал Адама, чтобы жил он кротко и тихо, характер свой дикий сдерживал, перед ангелами-архангелами

себя и господа не срамил. Но Адам на своем уперся: «Опостылело все, особенно херувимы проклятые, схватишь иного за ногу, а в руке воздух. Не жизнь, господи меня прости, а одно расстройство».— «Чего же ты хочешь,— спрашивает его господь,— Адамушко, первенец мой ненаглядный?» — «Ну хошь бабу создай, господи! Чтоб мог я ее, стерву, по райскому саду гонять и уму-разуму учить».

Глава четвертая

Пока живет человек, живет с ним и прошлое, нет прошлому смерти — затаится оно до времени, часа своего ждет.

Вспомнил Никифор, как зиму коротали с Пискуном: печку топили жарко, ели досыта, а радости в избушке не было. Пискун спал мало, жаловался на нездоровье: в голове, дескать, туман и смятение, а на сердце кошки скребут, пока дрова, говорит, колю или лютым матом ругаюсь — еще ничего, а к ночи совсем худо. Скажи, человек лесной, спрашивал он Никифора — выпить душа просит или в грехах кается? Никифор советовал: повинись перед приставом и отца Андрея уговори, чтобы освятил он оскверненный источник серебряным крестом.

Пискун отмалчивался, вздыхал шумно, как лошадь, и пил вересовый квас.

На службу Никифор уходил рано, до солнышка. Новый лесничий был строг и неразговорчив. Свалят мужики дерево, не поймаешь — плати. Захиреют истоптанные сеянцы — прощайся со службой. Еще хуже с лесорубными артелями. Лес для артели что ворог — круши, руби, деньги зарабатывай. Осень стояла теплая в том году, хоть и сырая. А на покров ударили холода. Неодетый и необутый лес съежился, будто усох. Никифор жалел его, бесснежье ругал. Да что толку! Людские приметы не обойдешь, не объедешь. Не зря народ говорит, что поздний гриб — к позднему снегу...

Неуютно жилось Никифору: в лесу бесснежье, дома Пискун медведем ревет, душа, говорит, квас не приемлет. Пожалел он сторожа, ушел в село до свету, восток еще не синел, купил штоф в кабаке, перед избой Сафрона Пантелеевича постоял, поглядел на новые ворота, дегтем измазанные, и в переулок свернул, а там через

лог и напрямушку. К вечеру уж дома был. Пискуна обрадовал. Ожил мужик, штоф опорожнив, заулыбался. Мне, говорит, почет надо оказывать и уважение, я, дескать, особа духовного звания, в семинарии был, в философском классе две недели сидел, суть изучил, глубину постиг. Никифора назвал «язычником», но не в укоризну, а ради правды-истины. Дескать, и Фома Аквинат, муж великий, учил, что всему есть причина, един бог без причины, ибо не было начала ему.

Никифор не все понимал, но не спорил, беседу поддерживал и, уловив момент, пока Пискун груздями закусывал, спросил про «язычников», что за люди они такие и какое у них несогласие со всем христианским народом. Пискун объяснил: единого бога-творца они не признают, а силы господни почитают, перед живым огнем скачут и еллинским бесам славу поют. А когда спать пошли, обнял он Никифора, заплакал, запричитал по-бабьи: «Нету нам счастья, Захарыч, неужто не от матери мы родились, как все люди!»

Дня три прошло. Сели ужинать, Пискун к нему с разговором: слетай, просит, завтра с утра в село, забежи к Сафрону, узнай — жива ли Александра? Не о ней Пискун беспокоился — о сивухе. А Никифору больно! Что с Александрой? Дома мается или выгнал ее Сафрон Пантелеевич? Когда на душе неуютно — и еда не радует, и служба на ум нейдет. Шел вчера от сеянцев, стук и голоса слышал, а с тропы не свернул. О приятном думал. Будто живет Александра в избушке у него, сидит у окошка с пресницей и поет: «Прилетели две пташки, две сизые милашки, прыгали, ворковали, чисты зернышки клевали». Подпевал он Александре, радовался! Благо, что лес кругом, осудить некому... «Чисты зернышки клевали, красно лето вспоминали!»

Живет человек, службу правит и не знает, что караулит душу его радостная тоска, гонит он ее от себя, блажью дикой называет, а сердце ему говорит: врешь, против этой блажи нету никакой силы ни в лесу густом, ни в селе людном.

Наелся Пискун, положил тяжелые руки на стол, вроде задумался. Решил Никифор поговорить с ним, душевно поговорить, как с родным. Сторож большую жизнь прожил, всякое повидал, трезвый молчал, на жизнь хмурился, а пьяный в драку лез, защищал малых да сирых — они, дескать, тоже дети человеческие. Такой

не посмеется над чужим горем, сам в миру изгой, а не житель.

Выслушал его Пискун, брякнул кулаком по столу и сказал: «Дерзай, простая душа! Покажи миру кукиш!»

Задуманное Никифор не откладывал, в первое же воскресенье оделся почище и к Сафрону Пантелеевичу отправился. Шел бойко, перестук деятельный слушал, о разговоре предстоящем не думал. На месте виднее будет, Сафрону думы его не господа, не указчики.

Так оно и вышло. Переступил порог, с хозяевами не успел как следует поздороваться, а Сафрон Пантелеевич с вопросом — на позор мой пришел поглядеть, али по службе? Сразу на такое не ответишь. Смешался Никифор, не знает — шапку на крюк вешать, в горницу проходить или подобру-поздорову на улицу убираться? А хозяин шумит на него: в гости пришел — не пяться, напою, накормлю и сатину на рубаху отрежу. У иного барина, дескать, одни штаны да кокарда, а у меня, говорит, слава-те богу, в губернском банке свой счет имеется, мельница на Безымянке и две лавки в селе мелкого товару.

Топчется Сафрон Пантелеевич, суетится — сам на себя не похож, на жену Авдотью кричит, чтобы несла она разные кушанья, сладкое вино и рюмки с золотым ободком. Никифор за стол сел, но сказал твердо: «По делу зашел, и не по простому. Не суетись, Сафрон Пантелеевич, выслушай! Сватать я пришел Александру, не откажи в милости, отдай дочь за меня. Живу не красно, зажиток мой известен тебе, но сыт и одет, как видишь».

Не ожидал Сафрон Пантелеевич прямоты такой или покуражиться захотел, начал по обычаю своему «кружева плести», дескать, Александру и дочерью назвать язык не поворачивается, одна ей дорога — в Чердынский монастырь, поклоны земные класть, грех свой замаливать. И в писании, дескать, сказано, что блюсти должна чистоту девичью, под мужика или барина до поры не ложиться, ждать на то божьего разрешения, то исть церковного брака, чтобы все было честь по чести, с кольцами обручальными и под фатой. В горницу Авдотья вкатилась, рюмки расставила, уперлась брюхом в столешницу и запричитала: «Срам-то какой, господи! Срам-то! Што люди скажут...»

Никифор на людей сердился редко, а тут не сдержал-

ся, закричал: «Жалости у вас нет к дочери, с кем беда не случается: на земле живем, по ухабам ходим». Успокоившись, опять стал упрашивать, чтобы отдали Александру ему в замужество, а пройдут годы, говорил он им, забудутся, дескать, обиды все, у вас дочь будет замужняя, у меня жена для сердца приятная.

Сафрон Пантелеевич помягчал вроде, налил вино в рюмки и сказал: «Иди в деревню Просверяки, там Матрену Семеновну спросишь, старуху, у ней живет Александра».

Не запомнил Никифор, выпили они тогда с Сафроном Пантелеевичем или так расстались. Домой не пошел, ночевал в конторе, утром дождался писаря и побежал в Просверяки. Рассвет догнал его на полях, верстах в четырех от Богоявленского. Торопился Никифор, радостью себя подстегивал, а видел — чернеют пролысины на озимых, вымерзает хлеб. На межах овсюг шелестит, ему морозы не страшны. Морочно стало, дорога лесом пошла, вертелась, как щука в траве, среди густых темных елок, перед горой — выпрямилась. Показались избы на угоре, запахло дымом. Просверяки — деревня небольшая, жмется к мысу, Побоишным он называется, на нем, Захарий рассказывал, остяки христианский народ стрелами поубивали. Давно это было, при Грозном еще царе. Никифор в Просверяках бывал мальчишкой, тогда деревня казалась ему нарядной. Зеленая вся, вдоль улицы тополя, как солдаты.

Зашел он в самую бедную избу. Справные хозяева, думал, чужую девушку в дом не возьмут, ведь не работница. Зашел и ошибся. Оказалось, Матрена Семеновна на другом конце деревни живет, в пятистенной избе, и двор у нее крытый. Встретила она его приветливо, чаем угостила, похвалила Захария, что умен был, побрякушками людей тешил: помню, зашла на пасху к Большаковым, Захарий в креслах сидит, хозяина уговаривает, чтобы жил как живется, чужие грехи не считал, своими не мучился, скоро-де волнение всенародное будет, которое всех определит. Пьяный купец, помню, башкой лысой трясет и смысла от жизни требует. Смыслом, говорит Захарий ему, не обзавелся, но скворец ученый имеется, матерные слова выговаривает чисто. Повеселел, вижу, купец, обрадовался, деньги сует Захарию...

Никифор слушал хозяйку, а сам думал, с чего раз-

говор начать, как подступиться, ведь не чай пить пришел в Просверяки, не сказки слушать, а невесту сватать.

Дверь в горницу была завешена полосатой материей. Он туда не глядел, как живет Александра — не расспрашивал. Пока за столом сидит и на хорошее надеется, а что потом будет — неизвестно. Может, посмеется над ним Александра или со спасибом скажет, как у барышень водится, и пойдет он один-одинешенек по холодным полям. За раздумьями не заметил, как она из горницы вышла, возле печки встала, в двух шагах от него.

Хозяйка чаю ей налила и спросила, узнает ли гостя. Как не узнать, ответила девушка, летом виделись часто.

Никифор поздоровался с ней и стал рассказывать, как упрашивал его Сафрон Пантелеевич в Просверяки сбегать, про родную дочь справиться. Ты, говорит, быстро обернешься, молодой да скорый, а мне тяжело, ногами страдаю...

Глаза у Александры сухие, сердитые — не верит она рассказу, но стоит и слушает, руки о теплую печку греет. Холщовое платье на ней. Живот небольшой, а телом уже огрузла, и на лице бурые пятна. Жалко ему стало девушку, разве такая она летом была, на Безымянке. Начал он разговор о замужестве — дескать, есть человек один, который чувства имеет к ней, а все другое прочее во внимание не берет. Она ничего не сказала, повернулась круто и ушла в горницу. Покачалась и затихла полосатая занавеска.

Никифор поблагодарил хозяйку за хлеб-соль и пересел поближе к дверям. Уходить сразу неловко, и сидеть стыдно, да еще напротив горницы. Не тонко разговор он начал, обиделась девушка. Какой он жених для нее! Зажитка нет никакого, и рыло неподходящее, думал, польстится Александра на законное замужество, чтобы грех свой прикрыть, а она не польстилась.

Снял он зипун с гвоздя и поклонился хозяйке — прощайте, сказал, Матрена Семеновна, что если и не так было, не обессудьте. Зипун в избе надел, а шапку на крыльцо в руках вынес. Шел по безлюдной улице, думал, что к ночи опять мороз крепкий ударит, зазвенит небо.

За деревней его Матрена Семеновна догнала и сказала, что иные люди неразумные на огонь летят, потом кулаки кусают, смолчать-де хотела, но, молодца жалею-

чи, проговорюсь — нету за Александрой приданого никакого, хорошо знаю.

В лес зашли, под озябшие елки. Деньги или имущество какое, думал Никифор, в хозяйстве никогда не лишние, но Александра денег дороже.

Матрена Семеновна рядом семенила, искоса на него поглядывала. А он молчал, боялся, что не поверит ему старуха, еще дураком обзовет за сердечные чувства.

Перед крутым логом Матрена Семеновна остановилась и сказала, что запровожалась совсем, поля уж скоро, самое продувное место.

Матрена Семеновна домой в деревню ушла, не попрощавшись с ним, а он по шадровитой дороге стал в лог спускаться.

В полях ветер гулял, воронье кружилось над уметами. Не любил Никифор большие поля, холодно и тоскливо на них зимой.

Восемь верст его ветер хлестал, а перед селом стих, будто и не было.

Избу Сафрона Пантелеевича Никифор обошел, даже на окна не поглядел, торопился в лес зайти, под знакомые елки. Пока осинником брел, сумрачно было, а на Безымянку вышел — луна поднялась, одинокая береза засветилась над белым омутом. Летом под этой березой он уху варил, а они разговаривали, пустые разговоры вели и радовались, как дети малые. Раз только забеспокоилась Александра, обняла, не таясь, Юлия Васильевича и заплакала — ничегошеньки, говорит, вы, господин лесничий, не знаете про нашу крестьянскую жизнь, страшна она...

Домой тогда Никифор пришел уж под утро. Пискун с печки слез, поохал, жизнь поругал непутевую, пожаловался на нездоровье и стал расспрашивать: чем путевое хождение к Сафрону закончилось и какие словеса плел сей агарянин?

Глава пятая

Хотя и держало прошлое Никифора за обе руки, но жить приходилось настоящим. Встал он рано, затопил печку, принес два дружка воды, опалил на шестке выпотрошенных тетерок. Проснулся Юлий Васильевич, постариковски закашлял. Никифор развязал его и опять

принялся кухарничать — отодвинул разгоревшиеся дрова, поставил к веселому огню птичий суп.

Помаленьку светало. Озябшие елки стучались в синие окна, просились в избу. Вспомнил Никифор, как сердился на них Пискун, порывался лапы отрубить елкам, дескать, страх они стуком своим наводят и мысли в голове путают, морока одна от них.

Никифор как мог защищал елки, уговаривал церковного сторожа, что не они виноваты, а ветер.

Пискун ругался — тебе хорошо, язычнику, по лесу шастать, а мне на печке боязно одному. И верно: после неудачного сватовства совсем забросил он сторожа, жил все время в расстройстве, уходил из дому до свету, возвращался в потемках, за день верст сорок исхаживал, все ждал, может, лес знак какой подаст ему.

Стуча валенками, подошел Юлий Васильевич, встал у печки и протянул руку к сухому теплу. Горе, видно, одного рака красит, подумал Никифор, глядя на худого измятого офицера.

— На службу не собираетесь, уважаемый? — спросил его Юлий Васильевич.

Никифор ответил ему, что не собирается, дома дел накопилось, в избе надо прибрать — крещение скоро, зимний праздник.

— Вот как! А циркуляр сто девяносто седьмой, требующий от чинов лесной стражи неукоснительного выполнения обязанностей?

— Какие циркуляры, Юлий Васильевич? В такое-то время. Отменила их революция.

— Значит, богоявленские мужики, уважаемый, могут безнаказанно лес воровать?

— Немного, Юлий Васильевич, в Богоявленском селе мужиков осталось. Кто с германской войны не пришел, кто воюет. А старики, побогаче которые, офицеров белых катают на сытых лошадях.

— Стихийные бедствия, уважаемый, лесного сторожа от службы не освобождают. Он должен «быть при посте», как изволил выражаться Иван Емельянович Большаков, купец второй гильдии.

Никифор понял, что шутки шутит господин лесничий, время тянет, ждет, когда потеплеет в избе, чтобы по-барски умыться. Только бы Семен не проснулся, а то беда — сам разволнуется, Юлия Васильевича обругает.

Светло стало в избе. Новый день начинался. Какой-

то он будет? Раньше недобрые дни больше от погоды зависели. В сушь — пожары донимали, в ненастные дни поясница болела. А теперь беда на погоду не смотрит.

Застучал Юлий Васильевич у рукомойника, Семен проснулся, попросил пить. Никифор побежал к сыну, попоил его, стал погоду нахваливать, дескать, снег добрый на улице, зверю и птице на великую радость.

Пока он про птичью да звериную жизнь толковал, Юлий Васильевич умылся и уполз, спасибо, на нары.

— Пойду я суп досмотрю,— сказал Никифор сыну.

— А мне, тять, ротный командир ночью приснился: верхом на коне сидит. С шашкой. Как полагается! А на голове бабий платок. Вот и думай, к чему такой сон?

— Живут люди, Сеня, не по охоте своей, а куда их жизнь-судьба забросит. Иной человек в крестьянстве родился, а жизнь-судьба на пароходы его погнала, бурлачить. Тоскует такой человек, о родных местах думает, а ночью сны видит смешанные. Лошадь с трубой ему кажется, на плотах маки цветут красные.

— Верно, тять! Мне всю жизнь море синее снится. Не успею глаза закрыть, волны набегом бегут и через меня перекатываются. Беляков расчихвостим, власть трудового народа установится, я на флот махну. Любо-дорого! И ты ко мне на корабль переедешь.

У каждого свое море, думал Никифор, кому синее море снится, кому зеленое, но Семену не перечил, от корабля не отказывался. Пусть радуется парень, радость — она травам помощница.

— Контра-то спит, тять? Али планы строит, как сбежать отселя?

— Кашлял он, Сеня.

— И чего ты с беляком етим связался! Поставил бы к стенке. И точка! Вылечусь вот, первым делом твоего господина лесничего в архангелы произведу.

— Не болтай неразумное! — закричал на него Никифор.— Пустомеля! Разве можно такое говорить при живом человеке?

Ругал он Семена, а сам на нары поглядывал — не дай бог, Юлий Васильевич в разговор их ввяжется, сгоряча еще правду скажет и нараз переломит парня.

— Ты чего, тять, головой вертишь? Неужто офицера боишься?

— Суп я нюхаю, Сеня. Мясным тянет из печки. Сплыл, поди, птичий суп. А ты не горячись зря, ведь не

в окопах. Люди мы здесь подневольные, жизнь-судьба нас в одно место сгрудила.

— Ладно тебе про жизнь-судьбу кисели разводить. Везде идет мировая революция... А мясным верно, тять, пахнет.

— Пахнет, Сеня! Пахнет! — обрадовался Никифор.— Побегу суп добывать.

Дрова в печке сгорели, лежали на поду за чугунком живые еще золотистые угли. Достал Никифор суп, пахнуло на него наваром густым — и растаяли, как сизый парок, недавние беспокойства. Не у каждого сейчас хлеб и суп на столе, думал он, загребая легкие угли на загнетку.

Семен торопил его, кричал с кровати:

— Тащи булиён свой! Есть я хочу, как волк!

— Не обижай волка, Сеня. И волк свою выть знает,— отшучивался Никифор.

Он помог Семену сесть, поставил на одеяло ему чашку с супом, положил ломоть хлеба. Парень ел, Никифор сидел в ногах у него, радовался и приговаривал: «Убирайся, хворь липучая, от булиёна посоленного и наваристого, от хлеба чистого и сытного за моря, за горы, за зеленые долы». Семен посмеивался над ним, но молчал — ложкой орудовал. Отдавая чашку ему, шепнул:

— Накорми беляка-то!

— Вот и хорошо, Сеня. Злость, она кровь портит, слепнет от нее человек...

Семен перебил его, сказал, что с пролетарской позиции не сойдет, только настоящие большевики над врагом не измываются, а уничтожают его, как вредный класс. Пусть хоть так, подумал Никифор, класс — не человек, ему не больно, и пошел к печке, наливать суп в железную чашку. Юлий Васильевич услышал разговор, привстал, подвинул к нарам чурбак. Никифор поставил на чурбак суп и солонку, принес два ломтя хлеба. Пока Юлий Васильевич ел, он закрыл трубу, налил для себя супу в Семенову чашку и сел с чашкой за стол. Хлебал жиденький птичий суп, думал: командует прошлое человеком, как генерал, не уйти от него и не уехать. Разве знал господин лесничий, что придется ему в этой избушке не за столом булиён кушать, а на нарах, как арестанту какому.

— Благодарю, Никифор Захарович. Поел с удовольствием...— Юлий Васильевич поставил на стол пустую

чашку, повертел в руках березовую солонку и спросил: — Ваша работа, уважаемый?

Никифор ответил, что работа его, но мастерил давно, молодым, когда уху варил харюзовую на Безымянке для счастливой Александры.

— Странная была девушка.

— Была, Юлий Васильевич...

— Плюнь ты на него, тять! — закричал Семен.— Ишь разговорился.

— У нас было прошлое, юноша. Будет ли оно у вас, у ваших товарищей?

— Верно, офицер. Прошлое ваше, а будущее наше, за него и воюем. Как в песне говорится: «Мы наш, мы новый мир построим, кто был никем, тот станет всем».

— Как это можно стать «всем»?

— Ну и дурак же ты, ваше благородие!

Никифор доел суп, но остался сидеть за столом — опять война в избе началась, недолго и до беды. Юлий Васильевич пока лежа говорил, господ ругал и фамилию царскую, которые глупым беззаконием народ озлобили. В новую Россию он тоже не верил: пролетарии, дескать, и мировая революция — слова без плоти, чужие они русской душе. Семен за мировую революцию обиделся, контрой обозвал Юлия Васильевича — сознательные, сказал, бойцы за эти слова геройской смертью как один умирали.

— Я лесовод, юноша, и для меня нет одинаковых елей, сосен, берез. Природа не терпит однообразия. Поверьте, не терпит. Одинаковое не может сосуществовать...

— Валяй! Мы одного разговорчивого с паровоза спихнули.

— Спихнуть не трудно. А что потом? Когда всех спихнете?

— Ишь, заботится. Народную власть установим, без помещиков и капиталистов.

— Но, помилуйте! — Юлий Васильевич сбросил полушубок, сел, потоптал пол тяжелыми катанками и начал говорить. Говорил он громко, неприятные слова обеими руками от себя отталкивал — всеобщее равенство, дескать, сказка, обман необразованного народа, любой дом, дескать, на фундамент опирается.

— Ты фундаме́нтом меня не пугай, господин офицер,— сказал ему Семен.— Тряхнули мы фундаме́нта одного в Екатеринбурге.

— Любое государство, юноша! — Юлий Васильевич с нар встал, по старой привычке руку вперед выбросил.— Любое, юноша мой, опирается на верных ему людей, на беспрекословных исполнителей воли его. Называются они чиновниками. Хотя не в звании дело.

— Не маши руками, господин офицер. И ври умеючи. С неба чиновники не упадут.

— Упадут, молодой человек. Обязательно упадут! Но самое главное не в этом. Нет... Погибнут лучшие люди в гражданской войне. Несправедливо все это...

Когда Юлий Васильевич помянул справедливость, Никифор вздохнул с облегчением, успокоился и стал собирать посуду со стола. На справедливости господин лесничий и раньше спотыкался, бывало, горячится, руками машет, а как до справедливости дойдет — начинает оглядываться, трубку искать в карманах. Ну, значит, курить захотел, отговорился. Так и сейчас случилось. Семен тоже умолк, решил, видно, что белый офицер пролетарскую правду не осилил.

Никифор унес к печке посуду, прибрался там наскоро, помыл руки и сказал Семену, что пора рану перевязывать.

— Потерпи уж, Сеня!

— Делай. Знахарь ведь ты у меня. Пособи только на правый бок повернуться.

Снял Никифор повязку с бедра, наклонился над раной и негромко выругался.

— Ты чего, тять, ругаешься?

— Опоздали мы с перевязкой, Сеня. Присохла тряпица, отдирать придется.

— Выдюжу, не бойсь.

Не застонал Семен, выдюжил. Новую тряпицу Никифор долго в травяном настое мочил, чтобы скоро не сохла.

— Опять колдуешь! — рассердился Семен.— Делай разом, как в Красной Армии.

— А ты о другом думай. Будто капитаном стал и надо тебе пароходом управлять в море-океане. Никаких вешек нет, одно лысое море.

— Нога, тять, огнем горит!

— На боль, значит, жалуется. Сейчас мы ей помощь дадим.

При дневном свете рана не такой уж страшной казалась. По краям розоветь начала. Скоро сушить при-

дется, пеплом березовым посыпать. Закончив перевязку, Никифор вытер рукавом вспотевшее лицо и сел к столу отдыхать. Глядел на притихшего парня, думал: не дай бог никому близкого человека лечить, себе бы боль взял, да не дается в руки...

— Что же было потом, Никифор Захарович?

— Свадьба была, Юлий Васильевич. Сначала Александра и слушать не захотела, ни с чем ушел я из Просверяков. Месяца через три с Сафроном в селе сошлись, по случайному делу. Скосил он рыло, спрашивает: разондравилась, Захарыч, невеста? Говорю, что жених скорее неподходящий. Сафрон в ругань — ноги, руки, кричит, переломаю, все волосы выдеру, мать такую ее...

— Ты про Сафрона, тять? Сволочь он, зверь рыжий.

— Спать тебе надо, Сеня. Силу копить. У нас свой разговор. Терлись мы в молодости друг подле друга, сейчас синяки считаем.

На этом разговор и кончился. Юлий Васильевич глаза закрыл, будто спать собрался.

Никифор тихонько оделся и ушел дрова колоть.

В ограде сумрачно было, пришлось ворота раскрывать, приглашать день под крышу. Работал он без зипуна, голоруком. Топор не вяз, поленья разлетались со звоном — никольские морозы из чурок сок выжали. Может, и к лучшему, что не успел он Юлию Васильевичу про Александру все рассказать. Как ни старайся, все едино — или Александру неправдой обидишь, или себя оговоришь. Прошлая жизнь, как вода в пригоршне: зачерпнешь — ладони полные, ко рту поднес — пить нечего...

Глава шестая

Сурова была та памятная зима. И тянулась долго. Сначала морозы душили, со сретенья метели начались, померкло все. Глухо, сумрачно. В лесу еще так-сяк, обойдешься, а дома совсем тоскливо.

От одиночества и трезвой жизни Пискун с ума спятил, срамные частушки в избе пел и каждую ночь про медведей справлялся — вышли они из берлог или спят еще? Ответствуй, кричал, а то удавлюсь.

Однажды Никифор пристыдил его — у человека, сказал, вся душа изболелась, а ты дуришь, нехорошо ведь ето. Пискун с печки слез, присел на нары к нему и стал

выспрашивать, какая беда случилась: елку срубили богоявленские или жениться вдругорядь надумал? Никифор рассказал ему, как с отцом Александры в селе столкнулся, как обнадежил его Сафрон Пантелеевич и печаль разбудил. Пискун в затылке поскреб и высказал мнение, что дураков ищет Сафрон, от дочери хочет избавиться. Может, оно и так, думал Никифор, но Александру жаль, бабьей судьбы она пуще смерти боялась.

К утру холоднее стало в избе. Пискун тулуп надел и воротник поднял, как в извоз собрался. Согревшись, Захария помянул — не зря, дескать, человек на земле маялся, тулуп нажил с собачьим воротником.

Рассвело, за стол сели доедать вчерашние щи. Пискун ел неохотно, рассуждал о приданом, которое, по его словам, сейчас голыми руками взять можно и пропивать не сразу, а малыми частями, как господа делают.

Никифор посмеялся над ним, сказал, что придется ему мечтания свои пропивать, не хочет Александра замуж выходить. Пискун рассердился, ложку бросил — не станет, закричал, Сафрон ее спрашивать, гнилой товар для него брюхатая дочь, в купцы он метит, вывеску чистит. Тебе, балбесу лесному, ругался Пискун, и гнилой товар в диковинку, а настоящему покупателю одно оскорбление.

К ругани его Никифор привык за зиму, жалел церковного сторожа — неудобный, думал, характер мужику достался, на себя злится, на жизнь свою запойную, а людей клянет.

Пока спорили да чужие деньги считали, развиднелось, повеселели оконные стекла.

Никифор доел щи, наказал сожителю истопить печь и стал на службу собираться. Одеваясь, беспокоился — раньше полудня, пожалуй, на сеянцы не попасть.

Хрустел мартовский снег под лыжами, битым стеклом рассыпался. На высоких местах воздух дымком припахивал, весна, значит, скоро, через неделю-другую таять начнет, ошалеют птицы от радости, зазвенит лес. Не заметил Никифор, как с просеки сошел, перед Голым Мысом опомнился, повздыхал, свалил все на лешего и полез в гору. С горы долго на село глядел, думал, что сама судьба его к Сафрону ведет, с ней не поспоришь.

Спустился он быстро, подкатил к лесничеству, как на вороных, у крыльца лыжи снял, решил на всякий случай в контору зайти, про жалованье справиться.

Писарь на месте сидел, в карманное зеркальце гляделся. Никифор ждал у порога, пока Герасим Степанович лицо свое маял, большим пальцем туда-сюда поворачивал.

Вышел из кабинета новый лесничий, огромный мужчина купеческого телосложения. Писарь доложил ему, что пришел лесник с Безымянки, двадцати семи лет от роду, неженатый, в воровстве и нарушениях не замеченный, но в рассуждении ущемлен.

Новый лесничий бросил писарю розовую бумажку и к себе отправился, но в комнату свою не зашел, у косяка встал.

Писарь объяснил — зовет, дескать, в кабинет.

В кабинете Никифор бывал, на красном диване сиживал при старом хозяине. Новый хозяин посадил его на стул и подал стакан вина. Себе налил в рюмку. Никифор хотел от вина отказаться, но побоялся. Новый лесничий на Юлия Васильевича не похож, глядит пристально, руки тяжелые, шерстью обросли. Не дай бог, рассердится!

Выпил Никифор вино, спасибо сказал и уходить собрался, но новый лесничий не отпустил, стал спрашивать, когда оружие лесной страже применять можно. Никифор прокашлялся и как полагается ответил — при наличности, сказал, опасности надлежит пользоваться предоставленным по закону правом нанесения ран, увечий, и даже причинение смерти не карается.

Новый лесничий развеселился — гони, загудел, к чертовой матери смысл, французскую безделушку, но начальников своих почитай и усердствуй. Не торопясь из-за стола вылез, подошел к Никифору, наклонился и сообщил, что жизнь, дескать, не смыслом, а страхом держится, сними страх с души — и держава рассыплется, народ православный сам себя изничтожит, без соли съест, не зря, дескать, государь-император готовит в Санкт-Петербурге высочайшее распоряжение, чтобы ставили во всех русских селах и городах Великому Страху каменные монументы.

Никифор слушал его, головой качал, соглашался, а сам думал: какое наказание ему определит новый лесничий?

Но все обошлось. Господин лесничий отпустил по-доброму, только пальцем погрозил на прощание.

На вольном воздухе разыгралось выпитое вино, обо-

жгло внутренности. Вертелась под ногами дорога, норовила в сторону увести. Пришлось пробираться к Сафрону напрямик, по глубокому снегу.

У крыльца Никифор почистился рукавицей, влез в сени, добрался ощупью до дверей, ввалился в избу бездумно, сел у порога на лавку, начал разуваться.

Из горницы вышел Сафрон Пантелеевич, встал перед ним подбоченясь.

Никифор поставил под лавку валенки, сырые портянки положил на колени и сказал, что душа об Александре болит, ни в лесу, ни дома часу спокойного нет. Сафрон Пантелеевич выслушал его и поинтересовался: где с утра пораньше налопался, в кабаке или у Большаковых?

Никифор сказал, что в конторе пил, новый лесничий потчевал, человек он серьезный, грозится в селе монумент поставить. Сафрон Пантелеевич сел рядом на лавку и одобрил — правильно, дескать, сделал, что начальство уважил, а насчет тоски душевной сам по глупости виноват, обувайся, в Просверяки поедем.

Дорогой Сафрон Пантелеевич с жеребцом разговаривал, корил его, что отборный овес жрет и луговое сено, а почтения хозяину не оказывает, глазом косит, желтые зубы скалит.

В полях ветер хмель из головы выдул, легче стало, Никифор песню запел про двух пташек-касаток, как жили они, ворковали, чисты зернышки клевали. Ехать бы так, среди белых полей, и ехать, про жизнь не беспокоиться и неясную радость ожидать.

Жеребец перед деревней заржал, в ответ собаки залаяли, одна за кошевой увязалась.

Под тополем Сафрон Пантелеевич осадил жеребца, бросил вожжи Никифору — с бабами, сказал, много не рассусоливай, дело у нас решенное, девка, прости господи, сосватана, о приданом опосля решим.

Жеребец ржал, месил снег копытами, а в избе будто умерли, пришлось Сафрону Пантелеевичу идти через сени в ограду и самому открывать ворота. Никифор ждал его на улице, на завешенные окна поглядывал, темные, как глазницы пустые.

Зашли в избу вместе. Переступив порог, Сафрон Пантелеевич заругался, обозвал баб глухими тетерями. Матрена Семеновна прикрикнула на него, чтобы понапрасну не орал, не до гостей, дескать, нам, Александра родить

собралась, ночью схватки были, сейчас вроде легче ей стало, силу копит, притихла.

Сафрон Пантелеевич начал на пальцах считать от августа, когда Александра сблудила, до марта. По его расчетам выходило еще месяц ей с брюхом ходить. Матрена Семеновна рассмеялась — июнь, сказала, теплый был в прошлом годе, а в августе дожди пошли... Раздевайтесь, коли приехали, проходите на кухню.

Никифор разделся, а Сафрон Пантелеевич только шапку снял. Хозяйка принесла из горницы горячий самовар, достала из шкафа посуду и пригласила к столу. Чай пить Сафрон Пантелеевич отказался, сразу о свадьбе заговорил — жених, дескать, в душевном расстройстве находится, мешкать нечего, опростается невеста — и под венец. Хозяйка поддакивала ему — самая пора, Сафрон Пантелеевич, Александру пристраивать, только дите без коровы не вырастить, а у жениха, поди, и кошки нет.

Никифор в разговор их не вмешивался, застекленным шкафом любовался, чайные чашки считал — любая посудина, думал, должна свое назначение иметь, из двадцати чашек сразу чай пить не станешь, а обиходить их надо.

Матрена Семеновна в горницу пошла, Никифор встал, рубаху одернул и за ней направился. Она дорогу ему загородила, дескать, мужикам глядеть на роженицу — грех ето и бесстыдство. Но Сафрон Пантелеевич решил по-своему: не препятствуй, заорал, жениху законному, не кочебенься, сваха, подмоченным товаром торгуем. Хозяйка спорить с ним не стала, отвела занавеску и пропустила Никифора.

В горнице сумрачно было, пахло дресвой. Близко к кровати подходить Никифор побоялся, глядел издали. Лежала Александра спокойно, дышала ровно, будто спала усталая после дальней дороги. Улыбнулся Никифор ей, холодную занавеску погладил — рожай, сказал, Александрушка, не кручинься, все хорошо будет. И, пятясь, из горницы вышел. Сафрон Пантелеевич у порога его ждал, за дверную скобу держался. Молча вышли на улицу, хозяйка ворота открыла, жеребца спятила и на прощанье сказала, чтобы загодя с попом о крестинах договорились.

Жеребец фыркал, ногами перебирал, едва сесть успели — понес, замелькали темные избы и позади остались.

В лесу дорога худая: пни да коренья, забитые сне-

гом ложки. Никифор на обочины поглядывал, место искал, где лучше из кошевы выпасть.

В полях жеребец успокоился, на мягкую рысь перешел, видно, белые просторы ему понравились, а перед селом опять задурил. Сафрон Пантелеевич как мог сдерживал жеребца, да разве застоявшуюся лошадь удержишь. Люди дорогу им уступали, в снег залезали по пояс.

От большаковских амбаров свернули в проулок.

У крыльца жеребец встал как вкопанный и оглянулся на хозяина — приехали, дескать, команду давай Авдотье, чтобы ворота открывала.

Никифор вылез из кошевы, размял затекшие ноги и хотел бежать за лыжами, но Сафрон Пантелеевич отговорил — никуда, сказал, лыжи твои не денутся, заходи сперва в избу, потолкуем. Отказаться он не посмел, зашел и, не раздеваясь, сел у порога.

Авдотья из кухни выплыла, посочувствовала, что сыро на улице и ветрено, не ровен час, простудиться можно. А про дочь спросить не успела... Пришел Сафрон Пантелеевич, пригласил Никифора в горницу и усадил за стол — пей и ешь, сказал, вволю и тоску холостяцкую забывай, скоро хозяином станешь, корову вам даю, всего два раза телилась.

Никифор к столу сел, но пил осторожно — вечер на улице и погода пасмурная, слепая ночь будет, как домой добираться? Хозяин его не неволил, но сам пил без меры и хвастал, что у невесты шесть платьев городских, два пальто и шуба, почти ею не ношенная.

Авдотья поставила закуску на стол и запричитала — уж мы ли дите свое не баловали, не поили, не кормили сладко, бесстыдницу. Сафрон Пантелеевич опять за штоф взялся — за блуд, сказал, сам рассчитывайся, только смертным боем не бей, баба хворая — не работница.

Авдотья на кухню ушла и оттуда кричала — учи ее, бесстыжую, не бойся, кость живая мясом обрастет. Добила она Никифора, заревел он, стал богу жаловаться на страшную жизнь. Сафрон Пантелеевич стул отбросил и в пляс пустился — черти, орал, в бане табак толкли, угорели, под полок легли, эх, калина моя и рябина моя, красна ягода...

Ушел Никифор от них не простясь. До конторы чуть не бегом бежал, схватил лыжи — и в гору. Только в лесу

успокоился. Елки стояли тихие, думать не мешали. Говорил Захарий ему, чтобы не лез к людям, обходил село стороной. А как без людей, без Александры? Большое счастье в руки плывет, не возьмешь — другие ухватятся.

Так и шел, с Захарием спорил, всю ночь шел, к рассвету до дому добрался. Пискун уже встал, печку растапливал, увидев его, спросил: с чем пришел, пустой или с угощением? Рассказал Никифор все как было. Пискун не поверил, дескать, не может того быть, чтобы Сафрон Пантелеевич на рукобитье упился до полного беспамятства. Никифор и про себя сказал, дескать, тоже не лучше был — ревел и на жизнь богу жаловался. Пискун одно твердил: серебро требуй с антихриста, чтобы с царским ликом было, хоть и меди в нем добрая половина, но в кабаке примут.

Весна подступила к избушке. Пискун отогрелся на солнышке, на болезни не жаловался, но говорил много и громко, ругал чиновных и богатых, которых держать надо в страхе, стрелять в них из пистолетов и вилами колоть.

Никифор не соглашался с ним — говорил, и среди бедных нехорошие люди попадаются. Пискун бумагу достал — читай, закричал, написанное по-печатному, умные люди писали, что насилие над личностью и имуществом угнетателей, потравы и поджоги, нападения и убийства вменяются крестьянам в обязанность и называется все это не разбой, а политический и аграрный террор.

С печатной бумагой Никифор не спорил, не в ней счастье, душа о другом болела — узнал он, что родила Александра в ночь на Благовещенье мальчика...

Вышел Никифор на свадьбу в глухую полночь, днем мокро было в лесу, а в иных местах и совсем не пройти. На мысу солнышка ждал, птиц слушал — у них тоже свадьбы. Не ко времени Захария вспомнил. Любил птиц Захарий, хвалил их, что живут они без зависти и в простых желаниях.

Заревела скотина в селе, бабы вышли на улицу. Пора и ему в село спускаться, но мимо лесничества идти не хотелось, уж лучше в обход, коровьими тропами да вересниками. Смешно и стыдно сказать, пробирался он на свадьбу свою через гумна и огороды, как разбойник какой.

Сафрон Пантелеевич на крыльце стоял в распахнутой шубе, увидев его, обрадовался — жениху, заорал, слава и честь, лети, парень, в избу, знакомься с отцом посаженым.

Хозяйка завела Никифора в горницу и уплыла на кухню «бабами командовать».

Сидел в горнице один Герасим Степанович, по-городскому закусывал. Никифор поздоровался с ним. Писарь ткнул вилкой в тарелку с рыжиками и промахнулся, поднял пустую вилку над столом и стал объяснять, на какую он, Никифор, теперя ступень встает и что из всего етого должно последовать. А последовать должно, толковал ему писарь, изменение в жизни...

Не в уме было, не в разуме — запели бабы на кухне — красной девке возамуж идти; возамуж идти, горе мыкати; горе мыкати, слезно плакати.

Бабы пели, Герасим Степанович мелкие рыжики в тарелке ловил...

Еще перед свадьбой решил Никифор всех слушаться, никому не перечить, а все же неловко — будто чужой он тут, всему посторонний. Отца ему выбрали, сына окрестили, может, и Александру без него в церковь повезут.

Горькие думы Сафрон Пантелеевич прогнал, с вином к нему подошел — выпей, сказал, для храбрости, поп не осудит, свадьба у нас особенная, не той ногой ступишь, всю жизнь каяться будешь. Значит, слушай: в церковь поедет с тобой Герасим Степанович, на другой лошади повезем Александру, вот кольца, отцу Андрею отдашь после благословения.

Как Сафрон Пантелеевич рассказал, так все и получилось. Каждый знал свое место и не суетился. Никифор за Александру боялся, а она первая ему руку подала и встала перед аналоем тихая. Отец Андрей благословил их, дал в руки зажженные свечи — идите, сказал ласково, дети мои, в мир грешный и уповайте на бога.

На паперть вышли, Александра прижалась к Никифору — отцу, шепнула, моему не верь, обманет, проклятый! И побежала к саням.

Но дома без шума не обошлось, зашли в избу, мать на Александру накинулась, будто она виновата, что не к жениху поехали, как по обычаю водится, а в невестин дом. Стыдясь гостей, Сафрон Пантелеевич не заругался, не обозвал жену дурой, только вздохнул — ничего,

дескать, не поделаешь, такая судьба наша, в избушку к Никифору и в сухое время без провожатого не попасть.

Гости к столу пошли, а хозяева топтались в прихожей, Большакова ждали. Старик, всем на удивление, пешком на свадьбу пришел, с посошком и в пестрядной рубахе. Сафрон Пантелеевич поморщился, но посадил купца на почетное место.

Александра отцу поклонилась — спасибо, сказала, батюшка дорогой, взростил ты меня, вспоил, ягодку недозрелую. И матери поклонилась за любовь, за ласку, что ночей, бедная, не спала, дочь родимую пестовала. Заревела Авдотья, прижимая дочь ко белым грудям, к изболевшему сердцу, не ходить тебе, причитала, в коленкоровом платьице, не носить пояска шелкового...

Слушал их Никифор, радовался, что простили родители Александру, настоящую свадьбу справили.

Матрена Семеновна вдоль стола с подносом ходила и хвалила невесту, что статна она, белолица, рукодельница, не баловница. Гости бросали свахе мелкие деньги. Подошла она к Большакову. Затих стол, перестали гости пить и чавкать, ждали, сколько денег положит Иван Емельянович. Бросит горсть меди купец — ходить Сафрону Пантелеевичу всю жизнь в крестьянском звании. Не видел Никифор, какие деньги бросил свахе купец, но понял, что не зря потратился на свадьбу Сафрон Пантелеевич.

Зашумели гости — богатство сулили хозяину, а молодым приплод.

Герасим Степанович ткнул Никифора — целуй, закричал, невесту, Иван Емельянович требует! С утра ждал Никифор этой минуты со стыдом и страхом, потихоньку, чтобы люди не видели, к вину прикладывался. Александра, спасибо, выручила, поцеловала сама. Запели бабы, что не уточка с лузей поднималася, а невеста с родным домом прощалася, взмахнули платочками, застучали каблуками, как овцы по мосту тесовому.

Герасим Степанович орал, что бедному он страж немилостивый, а богатому расточитель.

Отец Андрей подошел к Никифору с полной рюмкой и поведал с улыбкой: «Иное пьянство, сын мой, злое, а иное в меру и в закон и в приличное время, и во славу божию». Сафрону Пантелеевичу батюшка тоже сказал приятное — у имеющего, дескать, еще больше прибудет, если милостив он к чадам своим. Сафрон Пантелеевич

выпил, поцеловался с батюшкой и ушел плясать к бабам, плясал лихо, как молодой, и пел в удовольствие:

Ишо кто у нас всех поменьше?
Ишо кто у нас всех пониже?
Никишка у нас всех помене,
Никишка у нас всех пониже.
А мы посадим его всех повыше:
На три пуховые подушки,
На три перовые перины.
Ишо будет Никифор Захарович всех повыше,
Ишо будет он всех поболе...

Глава седьмая

Счастливые люди помнят хорошее, плохое забывают. Никифор несчастным себя не считал, а горькую свадьбу свою забыть не мог. Складывал чистые березовые поленья и вспоминал пьяного тестя в зеленой шелковой рубахе. Обещал посадить его тесть всех повыше, на три пуховые подушки, на три перовые перины.

Уходил Никифор со свадьбы один. Матрена Семеновна уговорила Сафрона, чтобы пожила у нее Александра с дитем малым до теплых и сухих дней. Сафрон Пантелеевич согласился — ладно, дескать, содержи, платить буду по-старому, как договорились, но приблудыша береги, внук он теперя мне законный, в старости поддержка...

Бегут годы, оставляют на сердце отметины. Семен уже не в люльке качается, а раненый на кровати лежит. Склал Никифор дрова и надумал в лес сбегать, силки на рябка проверить, пока куница не опередила. Опять надо в избу идти, Юлия Васильевича привязывать. А может, так обойдется? Вроде бы успокоился господин офицер, убегать к своим не торопится.

Потоптался Никифор у поленницы, влез в холодный зипун и вышел из ограды под хмурое небо. На лыжи встал, оглянулся на окна и решил: за час-другой обернусь, ничего не случится.

Спокойный лес зимой. Белый стоит, прибранный, как у хорошей хозяйки. Спустился Никифор в Каменный лог, ельниками добрался до Безымянки, ходил от одного пустого силка к другому, краснела над ними рябина нетронутая. И куда делся рябок? В добрые годы настоящие охотники по десять-пятнадцать пар за день добы-

вали. И он частенько кормил Александру пельменями из рябков...

Привез он ее перед сенокосом. Пискун неделю в бане отсиживался, наблюдал — какая каруселя получится? Александра, конечно, неверткой была. За коровой проходит — ребенок обмарается. Избу зачнет прибирать — корова стоит некормленая, непоеная. Помочь бы жене, от лишней работы освободить, а лето, как назло, неспокойное выпало — не пошли сеянцы в рост, на глазах хирели. Новый лесничий строгую бумагу прислал, в ней записано было, какую сеянцам помощь давать. Никифор читать хорошо не умел, но бумагу брал с собой: клал ее на пенек и прижимал суком, чтобы ветром не сдуло. Одним словом, в круг попали, в каруселю. Глаза у Александры не просыхали. Спасибо Пискуну, пожалел он ее, помогать стал — за коровой присматривал, печку топил. Попривык и ребеночка начал обиходить, пеленки стирал, корил брезгливую Александру — нечего, дескать, нос воротить, все мы из г... вышли, да не все отмылись.

Вроде бы ожили и на людей стали походить. Взялись за хозяйство семейно и дружно. Пять копен сена поставили, дров запасли на всю зиму. Вспомнил Никифор первую осень, как приходил со службы домой, в теплую избу. Александра причесанная и в красивом платье у окна сидит, а Пискун ребеночку песню поет — в славном-де городе Казани, на широком татарском базаре, в лапоточках хмелюшко гуляет, сам себя хмелюшко выхваляет...

Спокойно жили, счастливо, можно сказать. Да недолго! Забеспокоился вдруг Пискун, засуетился, богатых людей стал ругать и все по-церковному — дескать, грядет бог ярости, судить станет бедных по правде, дела страдальцев земли решит по истине и духом уст своих убьет нечестивых. Пошумел так, помаялся и сбежал в ночь на михайлов день. Пришел через неделю в чужих портах и в драной рубахе. Долго в бане отлеживался, не ел ничего, пил из ушата воду и остервенело ругался, обзывал Никифора «язычником нераскаявшимся» и требовал косушку вина на похмелье. Потом смирился, сам для себя баню истопил, вымылся, надел чистую рубаху Захария покойного и пришел в избу.

Скрыта душа человеческая до поры до времени, думал Никифор, как семя в земле живое. На всю жизнь удивил его тогда Пискун: упал на колени перед люль-

кой, стал каяться — прости, дескать, младенец невинный, мои безобразия, хуже скотины живу во лже и блевотине, обманул отца твоего названого, не осквернял источник святой становым приставом, хотя был в намерениях.

Покаялся Пискун, стал упрашивать: спаси, человек лесной, от запойного желания, колдуном был Захарий, а ты ему сын.

Отпираться Никифор не стал: знаю, сказал, одно средство, но подумай хорошенько, не простое оно, помрешь — не обижайся. Сказал так, поглядел на церковного сторожа, увидел в глазах муку несказанную и понял, что дошел мужик до крайности. Отдохнул малость и до рассвета еще в село за вином побежал. Вернулся поздно — по пути заходил на болото, за грибами. Неказистые они с виду, серые, сморщенные. Захарий называл их «навозниками» и рассказывал, что волшебные грибы черти решетом сеют по гнилым местам.

Подошло воскресенье, Никифор уговорил Александру в лес за рябиной сходить, а Пискуну велел надеть рубаху белую и чувяки холщовые, за стол его посадил, принес вино и грибы жареные.

Пискун все понял: сначала грибы съел, потом за штоф взялся. Но выпил немного, посинел вдруг, задыхаться начал, ворот порвал у рубахи, повалился на пол, поскреб ногтями шершавые половицы и затих, а в глазах осталась боль неживая, утопленники так глядят. Никифор стоял над ним, не стыдясь плакал, а помочь не мог, трогать боялся. Помнил наказ Захария, что мешать лекарству нельзя, запойное пьянство не болезнь, а натура, другим должен стать человек, сменить натуру свою и имя, если, случаем, выживет...

Бежал меж елушек по снегу лыжный след, шел Никифор без добычи домой расстроенный.

Пролетели вороны над ним, истошно каркая. Спугнули прошлое. Затяжную непогодь надо ждать, подумал Никифор, редко они сюда залетают, у села больше держатся, возле полей. Обошел незамерзший ключ, к дому стал подниматься, на синеватый снежок поглядывал — следов, слава богу, нет, значит, все обошлось! В избу пошел оградой и не утерпел — у белой поленницы остановился. Помнил он срубленную на дрова березу высокой и молодой. Состарилась она неожиданно: осенние ветры надломили вершину, морозы высушили. Спи-

лил он ее летом. Ни единой слезинки не уронила засыхающая береза, подрожала недолго и легла на землю, как в постелю.

Еще в сенях услышал Никифор голос Семена, открыл дверь, опешил. Юлий Васильевич сидел на нарах и хвалил белого адмирала — дескать, грамотный он, хороший человек, а зверства и насилия без его указания.

— Врешь! — кричал Семен.— Были указания.

Увидев Никифора, Юлий Васильевич стал поправлять изголовье, ворошил долго старую шубу, но все-таки лег, уступил жизни. «Да и как не уступишь,— вздыхал Никифор,— коли не дает она никакова выбора».

— Не колдуй у порога! — зашумел на него Семен.— Говори слова в полную силу, чтобы слышно было.

— Про жизнь я думаю, Сеня. Дерзкая она, выбора не дает человеку.

— И выбирать нечево! Бороться надо за счастье рабочих и бедных крестьян.

— Скорее, за счастье людей,— подсказал Юлий Васильевич.

— Ты про Колчака расскажи! — закричал Семен на офицера.— Про ставленника. Какой он добрый да ласковый!

— Гражданская война рождена ненавистью, молодой человек.

— Ненавидь, твое дело. А зачем красноармейцам руки ломать и тело резать? Глаза выкалывают, сволочи! На части мелкие рвут. Матвея, тять, помнишь? На каторге мужик был, все казематы прошел. А что говорил? Ненависть, говорил, наша святая, мы и в ненависти люди, а не звери алчные.

— Таких, как Матвей Филиппович, немного,— сказал Никифор,— по нему мерить людей нельзя.— И предложил поесть, пока сумерки не густы.

— Поесть можно,— согласился Семен.— Только несерьезная пища булиён твой. Наскрозь проходит, в брюхе не задерживается.

— Зато наварист, больному да хворому лучшая еда,— защищал птичий суп Никифор, а сам думал, что булиёном одним не прокормишься, за сохатыми надо идти.

Добыл он из печки суп, налил в чашки. Одну оставил Юлию Васильевичу, а с другой пошел к Семену. Подавая ему чашку, спросил, не болит ли рана.

— Нет вроде. А чую, тять, шевелится в ней мохнатый зверек. Смешно даже, щекотно.

— Значит, мясом живым обрастает. Сейчас еда главное, всем лекарствам начальник! Надумал я, Сенюшка, в лес сбегать.

Никифор сел на кровать, обнял сына легонько — за день, сказал, обернусь. Не сумлевайся. Дорога известная. До Чучканских болот логами все, нигде ветром не хватит, а там рукой подать.

Семен дохлебывал суп, стучал ложкой.

— Бывал я в тех местах, Сеня. Внизу осинник мелкий, сосняки по угорам.

— Потемки надоели, тять, пятый день лежу, а луны нет. Куда она, к черту, девалась?

Никифор промолчал — счастливому да здоровому, думал, луна ни к чему, а хворому, несчастному, все не так. И солнце не в меру горячее, и дождь чересчур мокрый. Александра, бывало, к столу с книжкой сядет и читает сердито, как в других землях люди живут, едят часто, но помалу, и женщин уважают...

— Уснул, тять?

— Старое вспомнил. Мамка твоя любила книжки читать мелко написанные. Зима, бывало, на улице, ночь ветреная, в трубе нечисть копошится и воет.

— Темный ты, тять. Неграмотный. По законам природы щели в трубе имеются. Ветер норовит в щели пролезть, оттово и вой происходит. Но днем веселее. Помню, венгерца ранили под Шишами. Деревня такая есть, на горе стоит. Перевязываю венгерца, а он кричит: «Утро давай, товарищ! Не хочу ночь!»

— И я замечал, Сеня. Хоть неминуема ночь и известна всем с малого возраста, а все же не привыкли к ней люди.

— Ну и черт с ней!

— Не скажи, Сеня. И без ночи нельзя. Отдыхает человек ночью, силу копит, чтобы дальше жить.

Замолчал Семен, спать, видно, захотел. Собрал Никифор посуду, унес к печке, но мыть не стал, у шестка топтался — в сиротские зимы, думал, сохатые неподалеку, на Безымянке кормились, а нынче студено...

— Не спишь, офицер? Ответь: за какие провинности мобилизованных обозных мужиков белые расстреливают?

— Я не расстреливал.

— Неизвестно!

— Пискуна, Сеня, помнишь? — спросил сына Никифор.— Вынянчил он тебя, можно сказать.

— А мамка?

— Мамка само собой. Она родительница. А Пискун, то исть Куприян Лукич, чужой. Он тебе песню пел про Казань-город. Одна была песня у Куприяна...

— Комиссаром мог быть,— сказал Юлий Васильевич, посмеиваясь.

— Объясни, контра, свое рассуждение! — потребовал Семен.

— Зачем же так! Бестолково и грубо...

— Слышишь, тять, как офицер заговорил!

— Господа, Сеня, к мягким словам привыкли. Обходительность любят. В малолетстве ты неспокойным был, ревел часто. Куприян Лукич, бывало, возьмет тебя на руки и поет, как гуляет хмель по татарскому базару, выхваляется, что все его, хмеля, любят и почитают, свадьбы без него не играют, мужики без него не дерутся...

— Песни, тять, не рассказывают.

— Так оно,— согласился Никифор.— Только не мастак я петь, фальшь получится.

— А ты помычи сначала, изнутри распойся. Я бы послушал, тоскливо лежать.

Вздохнул Никифор, подумал: придется петь, а то опять спорить начнут, правдой друг друга колоть, как вилами.

— Готовишься, тять?

— Готовлюсь,— ответил Никифор, рубаху одернул, вышел посередь избы и запел: — Как во славном городе Казани, на широком татарском базаре, в лапоточках хмелюшко гуляет...

— Напева держись! — кричал Семен ему.— Выговаривай чище!

В лапоточках хмелюшко гуляет,
Сам себя хмель выхваляет:
«Нет меня, хмеля, лучше,
Нет меня, хмеля, веселяя.
Сам царь-государь меня знает,
Князья и бояре почитают.
Без меня, хмеля, свадьбы не играют,
Малых ребят не крещают.
Без меня мужики не дерутся,
Без меня, да эх, мир не правят...»

Распелся Никифор, ногу поднял, чтобы в нужном месте притопнуть, и потерял песню, забыл, как дальше поется.

— Не горюй! Завтра допоешь,— обнадежил его Семен.

Отстать сразу от песни не легко оказалось. Топтался Никифор посреди избы, пробовал запевать с разбегу — без меня, кричал, мир не правят! Эх, да не правят, эх, не правят, эх, не правят...

— Напрасно стараетесь, уважаемый,— сказал Юлий Васильевич.— Провал памяти. Дело обыкновенное.

«Не вовремя она провалилась»,— подумал Никифор. Хотел на годы сослаться, ведь немало лет прошло с японской войны, можно и забыть, как Пискун пел. Но вспомнил, что и в молодости не боек был.

Заворочался Семен на кровати, обругал белого пулеметчика за неудобную рану.

— Тяжело, Сеня?

Семен не ответил. Хоть и ругал парень офицера, в грош не ставил, а беспомощности своей стыдился. По нужде ходил тайком. Посудина, надо сказать, позволяла. Приспособил Никифор для такого дела старый туесок, береста звук скрадывала.

Вынес Никифор туесок на улицу, постоял на крыльце, послушал, как лес шумит к непогоде, и вернулся в избу.

Юлий Васильевич поговорить настроился, с нар встал. Никифор сказал ему, что с утра за сохатым пойдет, а к Чучканским урочищам не близкий путь, двенадцать верст без малого, тяжело будет не спавши.

— Привязывай! — вздохнул Юлий Васильевич.— Заслужили.

Никифор залез под нары, нащупал стояк березовый...

— О народниках слышал? — спросил Юлий Васильевич.— Обряжались петербургские мечтатели в зипуны, подпоясывались веревками и шли в народ. Дядя мой тоже веревкой подпоясался и ушел в деревню, за народное счастье бороться. Поучили его маленько ярославские мужики и повезли в волость. По дороге дядя умер.

Привязал Никифор господина офицера, постоял над ним и пошел спать на печку. Расстелил зипун, бросил в изголовье катанки и лег, радуясь теплому месту. За-

сыпая, думал: не захотели ярославские мужики народного счастья, вот ведь каторжные.

Глава восьмая

Серый выл. Никифор торопился к нему, а проснуться не мог. «Подожди, Серый, подожди,— уговаривал он волка,— моментом соберусь, подожди». Но волк его ждать не стал, промелькнул в елушках и скрылся. Хоть и понимал Никифор, что сон снится, а все равно горько было. «Серый,— кричал,— где ты, Серый?»

От крика своего и проснулся, сполз с печки, долго сидел полусонный и разбитый у порога — много ли, думал, прожито, и пятидесяти нет, а здоровьем расстроился, как худая гармонь. На жизнь все валить — совесть не дозволяла. Всякая жизнь была. Пяток лет совсем добрых наберется. Вспомнил, как первую зиму коротали. Пискун после лечения ушел на заработки. Остались они втроем. Александра не сразу к бабьей работе привыкла. Помогать пришлось. Зимой служба позволяла. Объездчики наезжали редко. Лесопромышленники к нему не лезли, речек больших поблизости не было, одна Безымянка, по ней много не сплавишь — мелка и извилиста. Копошился он дома. За коровой ходил, Сенюшку нянчил, к жене присматривался. Александра жила, как батрачила. Грустила часто.

Масленицу дождались, блины ели без радости, сидели за столом, будто чужие. Никифор стал сказку рассказывать, как наехал Егорий на змея лютого, зверя страшного, изо рта у змея огонь валит, из глаз искры сыплются, шерсть дыбом стоит. Не дослушав сказку, Александра рассердилась на деревенских — дескать, и выдумать ничего толком не могут, какая у змея шерсть!

Весной Сенюшка на ноги встал, заковылял, маленький, по избе. Александра не удивилась — нéчего, сказала, ахать, дворянское семя сказывается...

Никифор в лес ушел, на вольный воздух. А через неделю сам оконфузился. Вышел на проталину, над головой небо чистое, морщинки нет, белые березы в сини купаются. Стал он березам кланяться — радуйтесь, пел, березы живые, к вам девушки идут, пироги несут! Пел да приплясывал, белые березы славил. Оглянулся — жена с пихтовым веником на пригорке стоит и смеется.

Домой пошли вместе. Александра руку ему дала. Не

удержался Никифор, заревел, березы жалеючи, тяжело им, бедным, в зиму студеную без теплой ласки.

Вечером Александра пришла к нему — замерзла, говорит, согрей березоньку. Сначала он к стене жался, боясь дорогого человека обидеть. Но Александра совсем близко подвинулась, обожгла телом и разбудила мужицкое желание. Схватил он ее по-дикому, навалился, как боров. Вывернулась Александра, легонько по щеке шлепнула и учить стала, как за женой ухаживать — нельзя, дескать, сразу набрасываться, подготовку надо дать, согреть тело лаской, а душу словами. Образованных похваливала, женщин они не мнут и не пичкают, потому как знают, что женщине любовь нужна для такого дела, внутреннее к человеку расположение.

Пристыдила Александра его, а желание не сняла. Мужем он стал, как все прочие люди. Утром долго на жену глядел, удивлялся, что ходит она тяжело, на пятки ступает. Про походку он скоро забыл. Другая жизнь началась. Мягче характером стала Александра. Заботилась о нем, про здоровье справлялась — теперь, говорила, родные мы, Никиша, навек. И он старался услужить ей. Из лесу домой торопился. Она встречала его со светлым лицом, довольная. Сказывала, какую работу не успела сделать. Вдвоем да в согласии любое дело в руках горит. Быстрехонько управились. Вечером Алексадра книжки ему читала и рассказывала, как в старину люди жили.

Правду сказать, не шло ему впрок учение. Всю весну дождей не было. Пожары начались. Лесообъездчики с ног сбились, сторожа из лесу не выходили. Новый лесничий стращал каторгой — гари, шумел, нужны вам для покосов, не бережете лес, чурбаки неотесанные, поджигателям мирволите!

Спьяну сболтнул новый лесничий или попугать хотел, а народ заволновался. Стали искать виновных. Стражники мужиков обвиняли в поджогах. Мужики обвиняли социалистов — они-де внутренние враги, в очках ходят и папироски курят.

Никифор в поджоги не верил, но лес без присмотра не оставлял, уходил из дому до солнышка, возвращался поздно. Александра жаловалась, что живет без разнообразия, одна кругом, поговорить не с кем. Ей разговоры были нужны, лесничему — поджигатели. А писарь совсем несуразное требовал — фонтаны, говорил, надо

строить в казенном лесу, как у французских королей.

Никифор всех слушал, всем угодить хотел и до того запутался, что писарю цветы в букете принес. Герасим Степанович цветы взял и посоветовал мокрую тряпицу к голове прикладывать. Попрощаться бы с писарем и домой шагать, как раньше бывало, а он ни с того ни с сего закричал и ногами затопал. Герасим Степанович из конторы его вытолкал — на воздухе, сказал, проветришься и в ум войдешь, нетопырь косолапый.

На улице Никифор шумел и ругался, селу кулаком грозил, а сам к лесу пятился. В лесу под елку залег, как покусанный зверь. Но лежал под елкой недолго. Хотя настоящей силы еще не было и глаза видели нечетко, все-таки встал, побрел к дому. Брел, как пьяный или слепой, а к знакомому роднику вышел. Попил, студеной водой умылся и стал думать, что у всякого безобразия должна быть причина, скажем, жаркое лето — любой ошалеет в духоте да под зноем с утра и до вечера. Вину на лето свалил — пошел ходко. К Безымянке спустился, родные места увидел и затосковал, будто не с рассветом из дому ушел, а давным-давно...

Заворочался Юлий Васильевич, спросил, скоро ли утро? Никифор промолчал, ответишь — ночь, считай, кончилась, сам себе уже не хозяин, новому дню надо служить. А ведь с того жаркого лета счастье в его жизни обозначилось...

Перед петровым днем Пискун явился, трезвый и в суконном костюме. Обрадовался Никифор ему, как родному, побежал баню топить. Александра тоже довольная суетилась, самовар ставила и накрывала на стол. Перед чаем Пискун про котомку вспомнил, достал подарки. За столом про бедных мужиков расспрашивал — дескать, должны они вскорости себя понять и силу свою объявить всенародно.

Никифор о своем горе поведал: лес, как порох, а разве везде поспеешь?

Пискун успокоил — не тревожься, сказал, леса жгут, сволочи, в трех губерниях по случаю бракосочетания царской дочери с бранденбургским принцем. Александра не поверила, но спорить не стала, на сенокос разговор свела, дескать, чем корову кормить, трава в логах мелкая, а на шутёмах и вовсе нет. Пискун и тут

скоро рассудил, подмигнул Сенюшке — не горюй, дескать, без молока не оставим.

За столом да после бани любое дело простым кажется. А косить вышли — хоть караул кричи, нету доброй травы, осока и та пожелтела. Кое-как воза три накосили, стожков наставили, что копен. Никифор и сену радовался, и женой любовался. Удивила она его, гребла и копнила с ними, за хозяйством смотрела, Сенюшку обиходила. Все успевала. Пискун только головой качал — ну и ну, говорил, твое счастье, Захарыч, не промахнулся.

Отсенокосились, отдохнули денек, Пискун котомку стал собирать — дескать, пора, хозяин заждался, с пермяками я лес для завода рублю, тринадцать копеек сажень, в шалашах живем, не приведи господи!

Ушел Пискун на заработки и унес сухое лето. Дожди начались, долгожданные. Никифор успокоился, не убивался на службе, к обеду домой шел, в теплую избу.

Незаметно зима подкатила. На покрова упал снег на задубевшую землю и не растаял. Темнеть стало рано, после паужны лампу зажигали. Александра к столу садилась, книжку читала, как обидел барин девушку черноглазую, одним словом, девичество ее не поберег, а потом опомнился, стал у девушки прощения просить, дескать, не я виноват, а несправедливая жизнь, ты, говорит, в ней вроде товару, а я покупатель... Дальше читать Александра не стала, книжку Сенюшке отдала. Он картинки выдрал, обиженную девушку сжевал, а барина веретешком истыкал. Правду сказать, Никифор сам парню веретешко подсунул.

С книжкой расправились, зажили по-семейному. Вечерами Александра вязала или шила и напевала тихонько. Никифор про лес Сенюшке рассказывал, что все в нем на своем месте стоит, и одно от другого зависит, скажем, елка наперед сосны не приживется, потому как неженка, и тепло ей подавай, и питья досыта. Сенюшка лепетал «тятя» и к бороде ручками тянулся. Никифор отворачивался, надсадно кашлял и вытирал кулаком счастливые слезы.

С Василия Капельника весной запахло. В избе не усидишь. Никифор уходил на службу ранехонько, глухари еще драку не начинали.

В роменном лесу снег глубокий, не единой проталины, а землей пахнет и банным дымом! Неделя прошла,

другая — и проталины появились. Зашумели ручьи, задурила Безымянка, на луговины полезла.

Весна прошумела быстро. Не успели оглядеться — трава поднялась, заалели ягоды на угорах. Надо к сенокосу готовиться, литовки отбивать. Когда на душе спокойно — и жизнь плавно катится. Дни в недели складываются, месяцы — в годы. Бывало, явится Пискун к сенокосу, начнет новости выкладывать, одна страшнее другой. Александра его одернет — раскаркался, скажет, ворон, спугнул день светлый. Никифор тоже слушал Пискуна осторожно, не всему верил, жизнь на равновесии держится, на одном горе не устоит. А на поверку вышло — пустое думал. Сам без горя жил, оттого и храбрился. Привыкать стал к счастью своему, на жену, случалось, покрикивал, чтобы крепче еще в своем счастье утвердиться. В село ходил редко, Александра и вовсе в селе не бывала — не к чему, говорила, людям глаза мозолить, забыли про меня, и слава богу. Но человек — не птица небесная, без хлопот жить не умеет. Иной раз Сенюшка с разговором к матери, она отмахивается — некогда, дескать, скотина не кормлена, не поена. А то вдруг учить парня начнет, буквы ему показывает и сердится без причины — жива, говорит, не буду, а Сенюшку в гимназию помещу! Никифор не спорил с ней — пусть тешится, а про себя думал, что смешно человек устроен, на много лет вперед загадывает, а завтрашнему дню не хозяин...

Так и вышло. На другой день лесообъездчика встретил, узнал, что война началась. Решил в село сбегать, война — дело не шуточное. По пути в церковь заглянул. Отец Андрей на себя не похож, ярый, в рясе путается и с амвона грозится — дескать, поразит врагов рыскающих православное воинство, как господь поразил ефиоплян перед лицом Асы...

Из церкви пошел переулками — не хотел с тестем встречаться.

В конторе многолюдно было, объездчики и кондуктора на диванах сидели, а сторожа — на корточках у стены.

Герасим Степанович счеты на весу держал и костяшками щелкал — первое, говорил, не хлебный японцы народ, рисом кормятся, а второе, башку бреют, до весны, надо полагать, продержатся, а там мир запросят.

Домой Никифор пришел ночью, про войну рассказы-

вал неохотно, дескать, воюют помаленьку в далекой от нас стороне, на самом краю державы.

Александра гороховый кисель принесла — ешь, сказала, не расстраивайся, наше дело стороннее, Сенюшка мал, на войну его не погонят.

На том и решили, свои хлопоты ближе, чем война чужая.

А весной, как березам одеться, слух прошел, будто генералы, царем поставленные, воевать не умеют, гоняют солдат без толку по каменным горам. Заволновался народ. У винных лавок мужики шумели — опозорили, дескать, Россию чиновники да генералы, дуй их в лапоть, уж какой человек японец, тля безбородая, и тот верх берет! К счастью, сенокос подоспел, горячее время. Поумнее которые — угомонились. Про скотину вспомнили.

Никифор день-другой подождал и вышел косить один. Пискун появился на третий день, вечером, злой, растрепанный, кричал, что самая пора тряхнуть толстопузых и царство свободы установить! Косить, однако, пошел, на густую траву матерился, но работал споро.

Управились до дождей, зеленое сено поставили. Пискун в бане мыться не стал — некогда, дескать, размываться, злоба душит, и революционное пламя в душе горит.

Никифор в пламя не верил — старая запойная болезнь, думал, гонит его в село. Но ошибся. Через день объездчик зашел, поел, похвалил хозяйку за пироги и сказал, что велено всем в контору собираться, бунтуют окрестные мужики, лес самовольно рубят.

Никифор вышел из дому с вечера, чтобы утром на месте быть. Шел по холодку, не торопясь.

Ночь выдалась тихая, с полной луной. Елки дорогу не заступали. Телка, думал Никифор, пожалуй, на репьище надо водить, а корова и за огородом наестся, трава там мягкая. Дневные заботы спали с души неожиданно. Легко вдруг стало, как в бане попарился, тела не чувствовал, будто нет его, одно сердце в просторе, и сразу небо над ним. Хотел от мира лесом отгородиться, а ведь лес тоже мир. И окрестные мужики — мир. И сам он в этом мире вертелся поневоле, как тележная спица в колесе... Повеяло утром. Осины зашелестели, замутили душевную ясность. Сразу усталость навалилась, с трудом на Голый Мыс залез. На мысу отдохнул, ясному

солнышку порадовался и стал спускаться к конторе. Во дворе полицейских увидел, лесную стражу с ружьями и вспомнил, что берданку казенную дома оставил.

На высоком конторском крыльце Юлий Васильевич стоял и говорил громко — дескать, охрана лесов для всех нас, для меня и для лесника низшего оклада — священный долг перед братьями, сражающимися на поле брани.

Никифор подошел ближе, к самому почти крыльцу, чтобы слово какое важное не пропустить. А Юлий Васильевич замолчал, в карман за трубкой полез, но набивать ее табаком не решился — вынуждают нас, сказал, к крайним мерам дикие и неразумные люди.

На крыльцо офицер вбежал, заслонил господина лесничего и скомандовал полицейским, чтобы шли вольным строем к волостному правлению.

Полицейские ушли, а стражники разбирались на кучки, в каждой три лесника и объездчик. Пошумели и затихли, шеи вытянули, как гуси. Из конторы вышел новый лесничий, пьяный и не по форме одетый, оглядел серое воинство, спросил: все ли поняли задачу? Ближние ответили по-солдатски — дескать, поняли, ваше благородие, осечки не будет.

Новый лесничий плюнул в траву, выругался, как простой мужик, и ушел в контору. Никифор пошел за ним. Переступил порог, доложил писарю, что прибыл как велено, кордон семнадцатый.

Герасим Степанович от бумаг носа не поднял, только пальцем указал — иди, дескать, в кабинет. До клеенчатых дверей Никифор дошел, а зайти побоялся, стоял перед черной клеенкой навытяжку, как новобранец, и думал, что добра ждать нечего, злобятся стражники, воевать с мужиками настроились. Герасим Степанович обозвал его чурбаном неотесанным и распорядился — не стой, сказал, квартальным столбом и сапогами не шоркай, постучи по косяку пальцами, услышишь голос разрешающий, заходи вежливо.

Никифор так и сделал: вошел с разрешения, посреди кабинета остановился и доложил, как положено леснику низшего оклада.

Новый лесничий за столом сидел насупившись, а Юлий Васильевич на красном диване развалился. Оба молчали. Никифор стал рассказывать, что вышел из дому с вечера, до села прямушкой восемнадцать верст, а

если на Богоявленский тракт выходить через чудские ямы, то и тридцать верст наберется.

Новый лесничий спросил, где ружье и сумку оставил. Никифор ответил, что оставил дома, бежал в контору по распоряжению налегке.

Юлий Васильевич рассмеялся — присутствующий, сказал, мне достаточно знаком, лесник услужливый и старательный, виноват, по-видимому, объездчик.

Новый лесничий поднялся — с вашего, сказал, разрешения удаляюсь, не успел позавтракать, а с этим недоумком решайте сами.

Новый лесничий, пошатываясь, ушел.

Юлий Васильевич посадил Никифора на стул и поинтересовался — ну, как живем, уважаемый? Никифор скрывать не стал, сказал, что живет спокойно и счастливо, Александра, слава богу, здорова, и Сенюшка тоже, вырос парничок, к бороде тянется...

Господин лесничий улыбнулся — радуюсь, сказал, вашему счастью, искренне радуюсь, но поговорим о деле, лучше всего, думаю, вам остаться сейчас в селе, с оружием улажу, не беспокойтесь.

От оружия Никифор отказался и объяснил господину лесничему, что Куприян Лукич, Пискун по прозвищу, друг его самый близкий, обязательно с мужиками бунтует, душа у него сострадательная к бедным людям.

Юлий Васильевич слушал внимательно, а говорить начал о другом — дескать, лес есть основа жизни, без него никакая тварь вида не достигнет, всякое развитие остановится и человек окажется посреди голой пустыни.

А Никифор думал, как беду отвести, господин лесничий сначала про голую пустыню расскажет, книжными словами успокоит, а потом и ружье даст. По живым людям стрелять придется! Одно оставалось — на коленях молить господина лесничего, чтобы сжалился, освободил от страшного дела.

Сполз Никифор со стула, поклонился в ноги ему.

Юлий Васильевич с дивана вскочил, поднять его пытался, уговаривал, чтобы не марал личность.

Никифор одно твердил — сжальтесь, Христа ради, освободите, не посылайте людей стрелять! Господин лесничий рассердился, попрекнул жалованьем, но домой отпустил.

Бежал Никифор, ног не чуя, лесом родным, счастли-

вые слезы по лицу размазывал. Дома на радостях обо всем Александре рассказал. И зря рассказал, как потом оказалось. Затосковала она и ради тоски своей никого не щадила. То ругала Сенюшку ни за что ни про что, то, как безумная, его тискала — сыночек, ревела, ты мой, судьба наша горькая, всю жизнь проживем в черном звании, хуже скота бессловесного! А ночью рассказывала про лето счастливое, как ласкал и любил господин лесничий ее...

От боли невысказанной и от бессонницы Никифору разные страхи мерещились: днем о Сенюшке беспокоился, недоглядит, думал, Александра, уйдет в лес маленький, потеряется, а ночью еще хуже — как только замолчит жена, Пискун выплывает в белой рубахе, израненный, глаз нет, в глазницах пустых студень черный, борода по ветру струится...

В осеннем лесу тоже не сладко. С Исакия Малинника проливные дожди начались, вымок лес, лишний раз не присядешь. Измаялся и устал Никифор, согнулся под горем и дождями, но надежду не потерял, верил, что дожди не вечны и тоска Александры временная. А тут северный ветер подул, небо за ночь очистилось, поклонился он ясному утру и решил в село наведаться.

Дорогой думал, что сразу в строй не поставят, оглядеться дадут. Герасим Степанович встретил его сурово, обозвал дезертиром и сунул бумажку. Никифор к окну отошел, хотел сам прочитать, но косые буквы никак в слова не складывались. Пришлось писарю кланяться, чтобы прочитал. В бумажке было написано:

Закован, но не побежден
принеси Захарыч штаны
из синего сукна. Срам наруже
Твой Куприян Лукич

Зажал Никифор письмо в кулак и побежал в волость. По пути купил у Большакова в лавке связку кренделей и восьмушку чаю. Пока бежал селом — храбрился, а полицейских солдат увидел — страшно стало: допустят ли, думал, к арестованному бунтовщику? Решил сродственником назваться, может, сродственнику не откажут.

В воротах усатый полицейский стоял. Никифор подошел к нему и попросил Христа ради к арестованному

допустить: «Жуланов ему фамилия, ваше благородие, а так Пискуном зовут». Усатый оказался старшим, позвал молодого — сведи, приказал, сродственника к острожной избе. Никифор низко поклонился старшему и признался, что, завидев полицейских солдат, душой обмер. Молодой полицейский завел Никифора во двор, посадил на бревна — жди, сказал, тута и никово не бойся, мы нынче сами боимся.

Вскоре Пискун вышел, без провожатых, мелкими шажками к бревнам засеменил — явился, кричал, мать твою, сродственник дорогой, ну, спасибо! Сел, звеня кандалами, на подсохшие бревна, обнял Никифора и стал расспрашивать, как Александра живет, здоров ли Сенюшка. Никифор отдал ему покупки, сказал, что штаны завтра принесет, Александра их выстирала, чистые в сенях на гвозде висят. Пискун ни с того ни с сего расстроился, начал мужиков ругать — дескать, сволочи, царство свободы продали за чечевичную похлебку! Глаза не пяль, праведник, не шевелись телом, знаю, что говорю. Собрались мы на Вшивой горе. Укрепление сделали, чтобы полицейских и стражников встретить огненным боем. Как полагается, дозоры на ночь выставили, днем пели «Хлынем, братцы, не робея, как потоки вешних вод». На третий день кончились у нас хлебные припасы. Жрать, значит, нечего. Послали двоих в деревню. Не вернулись. Ну, думаем, нарвались мужики на полицейский заслон. Ладно, грибами да ягодами перебиваемся. Дожди ругаем. А тут утром шум, глядь — три бабы явились, поесть принесли. Мы, значит, едим, а они буржуазную агитацию разводят — богатые мужики, дескать, наворованный лес отдали и штраф уплатили, все тихо-мирно. Я бабам кулак показываю — как, спрашиваю, вам не совестно, русские женщины, пробудившиеся народные массы заманивать в беспросветную кабалу? А они концы платков руками перебирают — до масс, говорят, нам дела нет, мы, дескать, к законным мужьям с претензией. Цыц, кричу, бабы, стоять смирно, не мужья перед вами, а сама революция! Ну, дальше живем, мокнем, с бабами спорим. Полицейские команды по дворам шарят, лес наворованный описывают, а перед Вшивой горой не показываются, не хотят, сволочи, нас приступом брать. Неделю сидим под елками, поем жиденько, глядим по-овечьи и ждем парламентариев. А бабы свою линию гнут — зря, дескать, мокнете, мужики, все едино с горы придется

спускаться. Я мужикам мигаю, они в голос рявкают: «Мы над павшим монархизмом знамя вольности взовьем, новой жизнью заживем». Бабы плюются и стращают — дождетесь, дескать, взовьют вам в волости по мягкому месту... Главное, Захарыч, один за другова стоять, вместях держаться, а у нас разнобой во мнениях получился. Некоторые мужики начали поговаривать, что, конечно, и жизнь проклятая, и недоимки мают, однако и без начальства нельзя. Я натуру сдерживаю, спрашиваю кротко — как, говорю, ето нельзя, отвечай, предатель интересов, скрытая гнида? Один замолчит, другой в разговор вступает — дескать, начальство тем хорошо, что моментом определит, ково к бабе, ково на каторгу, а на горе́, сиди хоть до морковкинова заговенья, определенья не получишь. Так, говорю, мужики, не годится, давайте сообща решать, сядем, как казаки, кругом. Галдеж начался, всякий свое орет. Кто власти ругает, кто казаков — они, дескать, бабники, мода их нам не подходит. Вот так, Никифор Захарыч, и повоевали. Обманули меня мужики, порешили смириться, склонить головы перед опричниками, палачами жестокосердными. Я застращать хотел — на что, говорю, надеетесь, двух стражников изувечили, в пристава стреляли. А они свое — не препятствуй, кричат, определиться желаем, повинную голову меч не сечет. Ну, говорю, хрен с вами, определяйтесь, только ведь каяться станете. Еще больше распалились, с кулаками на меня лезут — ты, кричат, Лукич, хоть и народный герой, а дурак, нельзя без нарезных ружей против властей идти... Конец сам видишь: сидим в кандалах, суда неправого ждем покорно. Говорят, в Пермь повезут. Каму, значит, увижу, свободную воду...

Глава девятая

Острожная изба — как межа полевая. Хотел Никифор остановиться на ней, прошлое из души выбросить и живым делом заняться. Печь затопить, в голбец за картошкой слазить. Но побоялся Семена разбудить раньше времени. Пусть, думал, поспит парень. До утра еще далеко, ночь в полной силе, даже окон не видно. Зимой робко светает. Александра темноты боялась, кричит, бывало, с постели: зажги лампу, Никиша, чернота глаза колет!..

— Слева заходи, слева! — закричал Семен.— В мордастого целься.

Бросился Никифор к нему, тюрик под ногами подвернулся — сшибил, шуму наделал, но парня, слава богу, не разбудил. Спал Семен крепко, во сне с белыми солдатами воевал.

Подал голос Юлий Васильевич, попросил развязать. Пришлось лезть под нары. В темноте скоро не спроворишь, возился долго, веревку ругал, что растрепалась проклятая, как куделя худая, а в работе настоящей не бывала.

Юлий Васильевич советовал на честное слово положиться.

— Бежать я, Никифор Захарович, не собираюсь. Да и некуда, господа мне — не товарищи и товарищи — не господа.

— Говорил заяц волку: «Зачем я тебе сытому, вечером прибегу, тогда съешь». И не прибежал! Волк его на весь лес ославил, вот, дескать, какой заяц бессовестный, чистый обманщик.

— Не верите, уважаемый. Обидно.

— Верил. Было время... сейчас другое. Как я вас непривязанного оставлю? Вы в силе и на ногах, а парень раненый, не может с боку на бок повернуться.

Юлий Васильевич, видно, понял свое положение, молчал, шаркал по полу катанками от душевного расстройства. Никифор обнадежил его — с едой, сказал, дело поправится, с мясом заживем веселее. И пошел кухарничать. Затопил печь, сел чистить картошку, чистил и думал, что мужик без горячего варева, как лошадь без овса,— брюхо тяжелое, а сытости нет. Хотел вспомнить, какие Захарий покойный щи варил. Не мог! Своенравная память не слушалась.

Другое всплывало, ненужное, и по мелкой причине. Ножом о ведро задел — звон кандальный услышал, Куприяна Лукича вспомнил. Стоял Куприян Лукич на казенном дворе в рваной рубахе, без опояски, торопил его — дескать, наболевшее высказал, теперя домой стриги, не задерживайся, надумал я крепостью духа поразить судей неправых, а без штанов какое геройство? И не то удивительно, что въявь Пискуна видел, голос его живой слышал. Тут в памяти дело, она прошлое бережет. А почему сердце опять болит, комок горьких слез к горлу подкатывает?

Подошел Юлий Васильевич, прижался спиной к шестку и стал жаловаться на ученых людей, которые пустяками занимались и не разрешили коренных вопросов.

— В ученых статьях, уважаемый, человеком меня не называли. Я стал гносеологическим субъектом, выявляющим истину...

Никифор слушал и удивлялся — дожил господин лесничий до тюремного, можно сказать, положения, а говорит по старой привычке слова, к жизни не подходящие. Спросил бы лучше, сколько хлеба осталось и есть ли чем щи посолить. Бежать ведь не собирается, в лесу решил пережидать революцию.

— Снам не верите, уважаемый?

Никифор ответил, что иные сбываются, а иные нет.

— Я видел во сне кусок мраморной плиты. Обыкновенный обломок, с паучьими лапами на изломе. Что делать, уважаемый? Не посещают меня приличные сны. Куда приятнее увидеть большую надгробную плиту с надписью: «Здесь покоится прах дворянина такого-то, 1872 года рождения, скончавшегося на чужой постели, но в положенный срок». Красиво и убедительно.

Никифор попросил его не загораживать свет.

— На скамейку садитесь, чугунки я на пол составлю.

Юлий Васильевич на скамейку не сел, но от шестка отошел.

— Пустые щи быстро сварятся,— сказал Никифор ему.— Горячего поедим! Куприяна Лукича помните? Выпороть его становой предлагал, а вы воспротивились.

— Может быть. Я не сторонник телесных наказаний.

Никифор топтался перед печкой, картошку мыл и нарезал соломкой, как Александра учила.

Юлий Васильевич рассказывал, что французы позором нации считают телесные наказания.

Дрова уж разгорелись, пора щи в печку ставить. А Никифор ни с того ни с сего на французов рассердился, стал ругать их, что ничего они в русской жизни не понимают, Куприяна Лукича загубили, погиб человек на каторге, одно имя осталось. Ругал он французских людей, а сам на Юлия Васильевича поглядывал. Ведь его вина, его грех. Не вмешался бы господин лесничий тогда — Пискун был бы жив, от порки бы не умер. Повзды-

хал, друга жалеючи, щи в печку сунул, огонь растревожил и вспомнил, как бежал за штанами, о Лукиче беспокоился, а дома еще горшая беда ждала. Ушла Александра, не пожалела сына, одного оставила в пустой избе. Успокоил он Сенюшку, спать уложил, а сам глаз не сомкнул за всю ночь. Едва рассвело, на Чучканские болота заторопился. Знал, что ни конный, ни пеший их не минует. Наугад бежал, а к черному кусту вышел. Александру нашел. Увидела Александра его, от куста отпустилась, на ноги встала и к нему, шатаясь, пошла. К ней бы, навстречу бежать, поднять на руки, бедную, домой нести. А сил не осталось, только слезы одни. Упала Александрушка перед ним на колени — бесстыжая, кричит, я, сука гулящая, за счастливым летом своим погналась, подолом трясла!

На лице у ней грязь размазанная. Вспоминать неловко, как домой нес Александрушку, целовал, с лица грязь болотную слизывал, обезумел совсем от радости...

— Задумались, уважаемый.

— Приходится... Хочешь не хочешь, а думается. Смотрю на горячие угли, а сам Александру вижу больную, на кровати она лежит, на лице пот и седые волосы рассыпались по подушке.

— И долго болела... Саша?

— За месяц растаяла. Счастливое лето, говорит, меня сгубило, зеленые травы. Шли бы вы... не мешали. Чего зря топтаться?

— Я не капиталист, вы не фабричный рабочий, а договориться не можем. Почему? Вам приятно унизить барина, соскоблить с него отличительное. Уравнять со всеми. Вы не мстите, нет. Тут сложнее. Я сейчас скот, животное, и моя вина — просто вина. Никаких смягчающих обстоятельств. Все понятно и просто. Не зря преступников одевают всех одинаково...

Никифор закричать хотел — не мели околесину, постыдись! Александру вспомни, хоть мертвую пожалей! Но сдержался. Все равно толку не будет. Еще Семен проснется — кончать, скажет, надо с офицером. За избу, значит, вывести, к сараюшке поставить и объявить — дескать, нехороший ты человек, Юлий Васильевич, решили мы с сыном расстрелять тебя из берданы.

— Факты и события ничего не значат, уважаемый. Надо выяснить отношения.

— Жизнь все выяснила.

— Чья жизнь? Ваша или моя? Говорите же, черт вас возьми!

— Не кричите! Рот завяжу.

Юлий Васильевич опустился на лавку и сказал покорно:

— К чему прикажете готовиться?

Удивился Никифор неожиданной покорности, не знал, что и сказать. Подумал — как бы хуже не вышло, расстроился господин офицер, за голову схватился. Трясет, как чужую. Не дай бог, над собой что-нибудь сделает или Семена словом убьет безжалостно. Вдвоем остаются, удержать некому... Решил больше не спорить. Ковырял клюкой догорающие дрова, слова уважительные подбирал в уме. Сначала заговорил об охоте — сообразить не могу, сказал, где сохатых ждать, в каком месте укрыться, в прошлые годы они под Каменкой зимовали, а нынче не слышно, зима зиме рознь.

— Извините, советчик я плохой. Запутался, с ума схожу помаленьку.

— Поторопился я, Юлий Васильевич, с дерзким словом, сгоряча брякнул. Про мясную пищу думал. Мужикам без мяса нельзя. Дрябнут они, сок в теле не копится. Сейчас печку закрою, а вы бы на улицу вышли, пока Семен не проснулся.

Юлий Васильевич ушел. Никифор поставил заслонку, чтобы жар в печке копился, снял с полочки посуду, вынес очистки и сел к окну. Стекла уже синеть начали. Значит, утро скоро, пора Семена будить.

Скрипнула дверь, господин лесничий с воли вернулся, но к печке не подошел.

Никифор пересел поближе к нему и спросил о погоде.

— Не понял, уважаемый. Кажется, ветер. Несильный.

— Снег, выходит, ждать надо. Сохатые на отстой встанут, в низкие места...

Никифор про сохатых ему рассказывал, которые, не в пример людям, еще с лета знают, какая зима будет. Юлий Васильевич вертелся на скрипучей лавке, порывался встать.

— С той осени я Сашу не видел. И ничего не знал о ней. Зиму с бумагами возился, дела принимал от начальника управления, а летом пожары начались. Леса горели, если помните.

— Как не помнить, не отступает от меня прошлое ни днем, ни ночью. Иной раз даже страшно, будто вдругорядь живу. А то лето особенное, задолго до петрова дня вся трава пожелтела, искрошился мох.

Юлий Васильевич о себе начал рассказывать: как мотался туда-сюда по губернии, спал не мягко и ел что придется.

— Не поверите, уважаемый! Рысятину ел на Березовой!

— Рысятина — дело десятое,— сказал Никифор с укором.— Тяжело умирала Александра и перед смертью не смирилась, ругала свое крестьянское звание. Клятву с меня взяла. В кровь, говорит, разбейся, а Сенюшку в гимназию помести.

Юлий Васильевич притих, дышал осторожно. Не видел его Никифор, но чувствовал: съежился господин лесничий и голову опустил. Может, правды боялся или себя жалел, попреки не хотел слушать от лесного сторожа. Кабы Александра ровней ему была, а то девка простая, сельская...

— Я знаю, Никифор Захарович, о мертвых плохо не говорят. Но видите ли... Александра мечтала стать барыней, иметь прислугу, бездельничать. Я или другой — неважно. Только бы барин. И это меня испугало.

Никифор хотел спросить, а чем сын испугал, малый ребенок? Одумался, не стал спрашивать. Начнет Юлий Васильевич себя выгораживать, Александру оговорит, что хотела она от простого звания уйти, а чувств не имела. Слушать обидно, и приструнить нельзя. Пока слушается господин офицер, на рожон не лезет, надеется, что все обойдется. Война окончится, он с нар встанет, спасибо за хлеб-соль скажет, вымоет руки с мылом и штиблеты наденет...

— О ребенке не знал. Даю вам слово. Работал, ни с чем не считался. Лес тогда в моду входил. Все бросились спасать его. И спасли — лесную стражу вооружили винтовками! При Петре Первом защищали лес плетью. Развиваемся помаленьку, от Европы не отстаем.

— Сделайте милость,— попросил Никифор его.— Не рассказывайте Семену, кем ему прихожусь. Он меня тятей зовет. Пусть так и будет, елка корнями держится, а человек родом...

— Щи, кажется, сплыли, уважаемый.

К печке Никифор пошел неохотно — щи щами оста-

нутся, немного жира в кислой капусте. У печки про Семена думал и не поостерегся. За дужку взялся голой рукой и бросил на пол заслонку.

— По утрам, тять, в горн играют! А ты заслонкой гремишь.

— Ожегся я, Сенюшка! Щи, показалось мне, сплыли. Угаром пахнуло. Сейчас умыться тебе дам.

Нес он воду в ковше двумя руками, осторожно, как брагу, и думал, что с недогляда день начался, надо себя урезонить.

— Мимо, тять, льешь!

— Затрем. Умывайся знай. Дела быстрехонько справим, я на старые урочища подамся, там сохатые держатся в любые зимы. К ночи, само собой, дома буду.

Пока Семен умывался, замаячило утро. Бусо стало в избе. Тревожно. Утром всегда так, думал Никифор, разливая по чашкам горячие щи. День с ночью воюет! Пройдет небольшое время, всякая вещь четко обозначится и уютнее станет.

Накормил он обоих, поел сам и стал на охоту собираться. Патроны проверил, снял с печки теплые катанки. Юлия Васильевича привязал, когда совсем рассвело, чтобы Семен видел и понапрасну не беспокоился.

— А как офицер пить будет? По-собачьи?

Никифор промолчал, не стал выговаривать парню, что над чужой бедой не смеются, когда своя рядом.

— Может, рану посмотришь? — спросил Семен.

Он ответил: зачем ее зря тревожить, розоветь она начала, живой кровью питаться. Оделся, подошел к кровати, присел перед дорогой, как водится по обычаю, поглядел на исхудавшего парня и совсем расстроился, хоть зипун снимай и дома оставайся. Чтобы себя не выдать и глупое свое беспокойство не показать, сказал строго:

— Про сохатого без меня не вспоминайте! Нельзя, примета такая!

Глава десятая

Жил Захарий легко, а к смерти готовился серьезно. Загодя в бане помылся, чистое белье надел, на лавку лег ногами к дверям, богородицу помянул, за грешных людей заступницу, и позвал Никифора — садись на тюрик, сказал, слушай, я исповедоваться буду, а ты на ус мо-

тай. Первый мой грех — умен был, а другой грех, Никиша, нам от деда достался. До утра доживем — вчерашнего дня не помним, беды и радости забываем скоро, будто чужие они нам. А они кровные наши. Подойдет срок — нахлынут неизжитые, замучают. Слышь, смеется вогульская девка? Целоваться лезет! Ты ее не гони, Никиша. Не гони, ласковую...

К утру Захарий успокоился.

Обмывая его, Никифор думал, что живую смерть никто в лицо не видел, может, и в самом деле на вогульскую девку она похожа.

Прошли годы. Сам состарился и понял, что не смерть приходила к Захарию, а прошедшая жизнь.

Дорога на старые урочища не тяжелая. Редколесьем. Пестрый снег следами исшит, а хозяев не видно. С утра Никифор на небо поглядывал, большой снег ждал. Да так и не дождался. Растрепал ветер снеговые тучи. Нет хуже ломкой погоды, думал Никифор. В Каменный лог спустился — опять плохо. Отсырел снег в логу, к осоти липнет, будто гири к ногам привязаны, а не лыжи ходкие. Перешел Безымянку, огляделся — до Чучканских болот уже недалеко, полторы версты осталось.

Пошел тише. Куда торопиться! В такую погоду к сохатым не подойдешь. Про дом вспомнил, забеспокоился — не рано ли трубу закрыл? Хватит ли питья Сенюшке? Других судить легко. Трудно себя понять. Пока болела Александра, думал, не дай бог, смерть случится — заревусь. Похоронил — слезинки не выпало. Суетился, домашние дела справлял, Сенюшку уговаривал, чтобы не плакал. Ничего, говорил, не поделаешь, срок мамке вышел в небесные края переселяться, там хорошо, живут все в достатке, без зависти и обиды. И тебе, Сенюшка, с кордоном надо прощаться, со мной на службу ходить ты еще мал, домовничать одному боязно, мыши обидят.

Собрали котомки с вечера. Вышли ранехонько. До села тридцать верст — немалый путь. Осенью дни короткие. Шли ходко, по знакомой дороге, угорами да веретями Чучканские болота обходили. К обеду на тракт вышли. Отдохнул Сенюшка на сухой обочине и заявил, что не хочет больше на спине ехать, своими ногами пойдет. Никифор одобрил — свои ноги, сказал, всегда надежнее. В село пришли поздно, небо уж почернело. Сафрон Пантелеевич, как чужих, встретил, посмеиваясь, спросил, не побираться ли, случаем, собрались? Никифор хотел

разжалобить тестя, стал рассказывать, как жили с Александрой многие годы душевно и счастливо, хозяйство вели, Сенюшку растили, а беда настигла — и все рассыпалось. Сафрон одернул — разговорами, дескать, пустыми дело не туманъ, кланяйся и проси без подготовки.

Никифор окрика не испугался — пошла Александра, сказал, за малиной и заблудилась, ночь целую высидела на Чучканских болотах, простыла вся, бедная, здоровьем расстроилась, болеть начала, на глазах таяла.

Дослушал его Сафрон Пантелеевич, сказал, что за малиной на болото не ходят, и вынес решение — пусть, дескать, малый у меня живет, кормить и одевать буду, и в дальнейшей жизни определю...

На Чучканских болотах ветер гулял, в кустах ивовых путался. Урочище посреди болота, как гора темная, елки на нем плотной стеной к небу поднялись. Издалека видно. Никифор напрямик ударился. Тем и хороша зима, что веретий сухих искать не надо. А летом, или того хуже — осенью, прямушки тут обманчивы.

Выбрал он подходящую елку на краю урочища, отоптал снег, обломал ненужные сучья. Место ему нравилось. Под елкой подлесок густой, укрыться можно и ружье пристроить, чтобы не держать на весу. Неизвестно, сколько стоять придется. Зверь пуганый стал. Прошедшим летом из пушек стреляли, весь лес всполошили. Зимой поспокойнее, на дорогах воюют, возле сел и деревень.

Ждал Никифор сохатых слева, из осинников, глядел на рябое болото и думал, что время на охоте другое, версты его путают, давно ли из дому ушел, а утро к прошлому отодвинулось, с пережитым слилось. Показалось ему, вроде бы ветер спал, кусты на болоте не треплет и снег не ворошит. А может, глаза устали, слабеть начали к старости. Пятьдесят лет прожил без малого. Хоть и в лесу жил, на самом дальнем кордоне, а никакая беда не обошла...

В ту же осень, как жену похоронил и с сыном расстался, лесным сторожам винтовки пятизарядные выдали. Кому и лестно было затвором лязгать, людей пугать, а ему еще к горю довесок. Тосковал он без Сенюшки, в село ходил часто. И винтовку с собой таскал. Сафрон Пантелеевич, завидев его, честь отдавал, кричал на жену, чтобы стояла смирно и не смела бабьим телом шевелить. Авдотья на стряпню ссылалась, дескать, некогда столбом стоять, квашонка не замешана. Сафрон ей

«вольно» командовал и за Никифора принимался, гонял по горнице — соловей, орал, пташечка, веселей шагай, служивый, держи рыло на иконы!

А к Сенюшке не допускал — не к чему, говорил, парня расстраивать, ему надо к новой жизни привыкать и к торговым людям. Надоело Никифору журавлем вышагивать, Сафрона артикулами тешить. Перестал он в избу заходить. С улицы на окна глядел, может, Сенюшка в окне покажется.

Застал его за таким делом охотник из местных, спросил, уж не грабить ли тестя собрался?

Никифор пожаловался ему, что живет в одиночестве, жену осенью похоронил, а Сафрон куражится, к сыну не допускает. Охотник посоветовал зря не мерзнуть, в трактир идти — горевать, дескать, лучше в тепле, чем на морозе, посреди улицы.

На том и расстались.

Зима отбарствовала, весна прошумела — опять сошлись. Охотник к себе завел, волчонка принес махонького, сует в руки — бери, говорит, не покаешься, друг будет верный на всю жизнь! Ласковым и смешным оказался волчонок, лапы толстые, уши мягкие болтаются, не зверь, а игрушка тряпичная. Сначала Никифор в конюшне его запирал и весь день беспокоился — обидят, думал, крысы волчонка, уши отгрызут.

Решил с собой брать. С версту волчонок сам по себе бежал, потом в траву ложился и не мог лапой пошевелить. Никифор отчитывал его, говорил, что волку на чужой спине ехать стыд и срам.

К осени волчонок выровнялся, на зверя стал похож. Но ума не набрался: тюрики по избе катал, ножки у стола грыз. Бить — рука не поднималась, а окрика Серый не боялся, подбежит, проказник, лизнет руку и смотрит — дескать, я ничего, играю, жизни радуюсь. Никифор за уши его трепал, а сам думал, как Сенюшка живет. Бывало, прижмется маленький, глазенки чистые, доверчивые. Сафрон, говорят, наследником его величает, на еду и на одежду не скупится.

В последний раз Никифор заходил к тестю после сенокоса. Сафрон прямо сказал — дескать, не бегай зря, не тряси штанами, не отец ты парню, Александра в девках еще брюхо нагуляла. Полоснул по сердцу ножом лысый черт, квасу выпил и стал рассказывать, что руду оловянную нашли под селом, завод хотят ставить.

От жары да от горя Никифор совсем смешался, начал тестю доказывать, что богоматерь тоже в девках зачала. Сафрон за ворота его вывел — иди, сказал, домой полегоньку, молитвы твори, может, в разум войдешь, чучело. Шел по селу Никифор, слезы сдерживал, думал: и поговорить не с кем, горе поведать. Один как перст. Волк еще молодой, не поймет, а лес к чужому горю летом глухой, в ветра колючие и в морозы не верит. С неделю не мог успокоиться, чуть болезнь сердечную не нажил. Да вовремя о зиме вспомнил, она, лютая, Сафрона не лучше. Шесть елок сухих свалил, распилил на месте и к избе стаскал. На работе забылся. Сердечная боль с потом вышла. Хоть лето увидел, ухи поел.

Вскоре осень нагрянула. Начал волка учить, на птицу и зверя натаскивать. Серый в лесу слушался неохотно, а дома ласкался, мокрый нос в колени совал. Ладно уж, говорил Никифор ему, живи как нравится, по волчьей природе. Просыпался Серый ранехонько, в двери скребся. Никифор пускал его в избу, ворчал: «Опять выспаться не дал», а в душе радовался, что шумно в избе, как у всех настоящих людей, которые домом и семьей живут.

Пока печка топилась, успевали поесть и собраться. Невелики были сборы — взять сумку с едой да винтовку. Без еды нельзя, не поешь — под сердцем колет. Винтовку таскать по уставу положено. Лесообъездчик набежит случаем или другой какой чин. Первым делом спросит, в каком состоянии казенное имущество находится и способно ли к действию? Тут же надо артикул выкинуть и сделать прицельный выстрел по неподвижному предмету.

Время свое берет. Привыкать стал Никифор к винтовке, ругал ее реже и маслом смазывал.

Осень в тот год стояла сухая, ясная. Уходили из дому рано, едва начинало светать, возвращались затемно, ужинали с лампой. Серый под столом засыпал, во сне повизгивал, сохатые ему снились. Сидел Никифор в теплой избе и думал, что жизнь, слава богу, в колею вошла, только бы ничего не случилось, ни плохого и ни хорошего. На казенной службе трудно от случая уберечься. Хочешь не хочешь, а каждый месяц в контору иди, перед новым лесничим отчитывайся, что на вверенном участке недозволенных порубок не допустил, сосновые сеянцы выходил.

После доклада Герасим Степанович к своему столу

приглашал, жалованье накрывал счетами и приказ зачитывал, что «вверяется в обязанность чинам лесной стражи делать заявления о найденной берлоге, и если зверь окажется налицо или уйдет из берлоги по вине начальника управления земледелия и государственных имуществ господина Дубенского, то заявившему выдается вознаграждение в размере 30 рублей». Писарь предупредил, что за зверя менее семи четвертей уплачивается половинная такса, измерение производится по спине, начиная со лба между глаз и до основания хвоста, размеры пестунов и годовалых медвежат в расчет не принимаются, к коренной плате за них присчитывается по пять рублей.

Никифор повторял приказ, стараясь не сбиться, получал деньги и бежал в лавку за покупками. В селе не задерживался, знал, что не любит Серый на цепи сидеть.

Дома перед волком оправдывался, кормил сахаром, рассказывал новости, что писарь женился на богатой девушке, а лесничий совсем охрип, сизый стал от вина.

Так и жили. Незаметно зима подошла. Уснул лес надолго.

Иной раз не верилось, что сил у весны хватит такую уйму снега смолотить. Серый тонул в глубоком снегу, а дома не оставался. Волчья порода брала свое. Под елками белок караулил: может, шишку уронит какая и за шишкой сама спустится. Пытался и зайцев гонять. Только куда там: чем больше горячился, тем глубже тонул. Никифор толковал глупому, что никогда ему зайца не догнать и пытаться нечего, весну надо ждать, крепкий наст.

Дни шли, по утрам талым снегом пахло. Слабела зима, хоть и злилась ночами.

Однажды Никифор в селе с Матреной Семеновной встретился. Старуха в лавку москательную его завела, от людских глаз подальше, сказала, что ей все известно, а печалиться нечего, Сенюшка жив и здоров, тятю не забывает. Хотел он попросить Матрену гостинцы Сенюшке занести, но она заторопилась, дескать, апрельские дороги ненадежные. Не зря старуха беспокоилась, сам он еле добрался, вымок весь и лыжи испортил.

Вскоре дожди прошли, последний снег смыли.

С Егория вешнего как на острову жили, не только село, и к Безымянке не спустишься, вода кругом, любая

лощинка — озеро. А в селе, как он после узнал, инженеры были, объявление сделали, что оловянный завод строить не будут, руда оказалась без значения. Потом слух прошел: государь-император казенные земли отрубает, чтобы селились мужики некучно, по лесным урочищам.

На волостной сходке земский начальник растолковал, дескать, не государь-император, а общество должно выделенцев землей наделять. Тогда мужики заявили, что сами на отруба не пойдут и никому из общества выделяться не позволят. Герасим Степанович социалистов винил, дескать, они, прокаженные, мутят народ.

Теплые дни начались. Никифор часто в лесу ночевал, тихими зорями любовался. Серый всю ночь охотился, а днем брел за ним вялый, на кусты натыкался.

Лето зеленое, нехлопотливое прожили, мягкой осени порадовались, спокойно зимы дождались.

Бывало, Герасим Степанович, спросит, сколько лет сеянцам? Лет десять, пожалуй, минуло, думал Никифор, а утверждать коренно боялся. Кто его знает, года текут без отметин. Писарь сердился — не имеешь права, кричал, дураком быть на казенной службе! Непогоду можно переждать, перед писарем отмолчаться, на жизнь нет управы, ни кроткого и ни дерзкого она не щадит. Жили они с Серым по заведенному порядку, вечером из лесу усталые приходили и месту радовались, утром на окна глядели, что за погода на улице.

И вдруг такая тоска навалилась, мочи нет. Стыдно сказать, на колени не раз вставал, о лавку лбом бился и господа бога спрашивал: за что?

Ночью Александра снилась, вся в белом, косматая, волчьи зубы во рту.

Проснешься — еще хуже: вогульская девка в окне стоит, рубаха серебряными рублями обшита. Помаялся так, сердце наджабил, решил в церковь идти, в грехах каяться.

По пути в контору зашел. Герасим Степанович жалованье выдал и сказал, что лютует Сафрон, внук от него сбежал в неизвестном направлении. Выскочил Никифор из конторы, на крыльце винтовку наперевес взял, как объездчик учил. В таком воинском виде к Сафрону вломился, оружие на него наставил и закричал:

— Кайся, душегуб, последний твой час пришел!

Из кухни Авдотья выбежала, за грудь схватилась и

села на лавку. Сафрон к стенке спятился, руками позади себя шарил, тяжелый предмет искал.

Чем бы все кончилось, одному богу известно. Спасибо, Авдотья отдышалась, в чувство пришла — жив, сказала, углан твой, живехонек, в Просверяках он, у Матрены...

Глава одиннадцатая

И большое и малое в памяти остается, но редко открывает память все свои кладовые сразу. Щадит она человека. Нужны особые обстоятельства, чтобы запечатленное в памяти с настоящим слилось и живой болью стало. Никифор во всем обвинял сердце. Пока не заболеет, думал, тоской оно — прошлое только к случаю вспоминается. А придет срок — наплачешься, все вспомнишь и закричишь, как Захарий, по-дикому:

— Слышите, люди, вогульская девка смеется!

Боялся Никифор, что не согласится Семен в лесу с ним жить. Сказал ему прямо — сам решай, неволить не стану. Матрена Семеновна зашумела на них — дескать, срам слушать разговоры пустые, собирайтесь, и с богом.

Вел он парня на кордон, а сам думал, как еще жизнь сложится, восемь лет прошло, срок немалый. Серый встретил их вроде по-доброму, но не скулил и не прыгал, посматривал искоса.

День Никифор в избе топтался, чистоту наводил. Время подходящее выбрал, сказал Семену, что пора жаркая, нельзя службу забывать, хочешь, с нами в лес иди или дома оставайся.

Семен ответил как настоящий мужик: отдохнуть, дескать, и подумать надо.

Начали жить, друг к другу приглядываться.

Про Сафрона Никифор не расспрашивал, стороной узнал, как все получилось. Не жалел сил и денег на внука Сафрон Пантелеевич, одевал и учил, сладким куском баловал, надеялся, что помощник растет, капиталу наследник. Пока Семен мал был, все гладко шло.

Начал Сафрон его к делу приучать, увез на мельницу — будь, сказал, слухом и оком хозяйским. Семен с дедом не спорил, все в тетрадку записывал, только без всякого интереса жил, как подневольный. А в лавку сел,

за приказчика, совсем растерялся, и грамота не помогла. В копейках путался. Извелся весь, похудел. Стал в город проситься, дескать, на заводе устроюсь, буду вам деньги высылать.

Сафрон взбеленился — не допущу, заорал, не позволю, забыл, чей хлеб ешь, щенок!

Одним словом, как Матрена рассказывала, война у них началась, каждый на своем стоял. Сафрон за плеть взялся, в гроб, дескать, вколочу пролетария, а по-моему будет. «И его надо понять,— вздыхала старуха,— ведь тратился мужик, капитал расходовал, и все попусту...»

Дни летом длинные. Никифор успевал и постирать, и постряпать. Каждую неделю баню топил. Радовался, что сын в доме, душе родной человек. А Серый не любил парня, может, ревновал по глупости, а может, несердечность чувствовал, за хозяина обижался. Однажды Семен чашку его пнул — под ноги подвернулась. Волк на парня бросился, рубаху порвал.

Никифор побил волка, потом покаялся, да уж поздно.

Ушел Серый, как в воду канул.

Семен помаленьку обживался, подметал в избе, себя обиходил, за огородом смотрел. Часто про мать расспрашивал, говорил, что сельским не верит, злые они, наговорщики.

Никифор людей защищал осторожно, на жизнь спирался — дескать, в куче люди живут, вот и толкаются. Мать хвалил за красоту и за сердечность, рассказывал, как утром причесывалась, волосы у ней были светлые да мягкие, чистая русалка. Семен слушал, черные брови хмурил, значит, понять хотел, что за словами лежит. Честный парень, правду любил до глупости.

Дожди начались, самое тоскливое время. Тяжело без привычки. Семен из угла в угол ходил, на плохую погоду сердился. Никифор старался развеселить парня, были и небылицы ему рассказывал, песню пел про Казань-город. Начинал негромко: как во славном-де городе Казани, на широком татарском базаре, в лапоточках хмелюшко гуляет, сам себя хмель выхваляет...

Семен слушал, ладонью по столешнице шлепал, может, Пискуна вспоминал, бородатую няньку.

Никифор радовался, что расшевелил парня, коты недошитые отбрасывал и хвастал:

Нет меня, хмеля, лучше,
Нет меня, хмеля, веселяя,
Сам государь меня знает.
Все князья и бояре почитают.
Без меня, хмеля, свадьбы не играют,
Малых ребят не крещают,
Без меня мужики не дерутся,
Без меня мир не правят...

Песня Семена на ноги подняла, он на середину избы вышел, подбоченился.

Никифор вскочил с лавки, вокруг парня прошелся, лоскутком кожи помахивая, как платочком, пел громко, приплясывал:

Как один мужичок был садовник,
Он охоч был по садику гуляти,
Глубоки борозды копати
И меня, хмеля, в борозды сажати,
Мокрым навозом застилати,
В сердце мое тычины втыкати.
Тут я, хмель, догадался,
Кверху по тычине совивался,
Выпускал белояровые шишки.
Мои шишки мелкие сощипали,
На овине сухо-насухо сушили,
Как в цветное платье наряжали —
Во кули, во рогожи насыпали,
По торгам, по базарам развозили,
Богатым мужикам продавали,
Мужики меня в дом-избу привозили.
Тогда я, хмель, догадался,
В кадке с суслицем побратался,
В одном мужичке разыгрался,
Ударил его в тын головою,
О коровье кало бородою...

Пока Семен песню слушал, простым был парнем, веселой минутой жил, потом опять задумался, сказал, что дед Сафрон, сволочь, тоже веселые песни пел, а бил мокрой плетью с протягом. Никифор за коты взялся, за бабий обуток. Озлобили, думал, парня, наплевали в душу и вытолкнули. Живи как знаешь.

На покрова снег выпал и растаял. Еле холодов дождались. Зима, как назло, выдалась сиротская, оттепели да метели. Сиди дома, в окошко гляди на озябшие елки. Кабы Семена к делу какому-нибудь приохотить! А как подступишься? Корзины плести или катанки подшивать не заставишь. В богатом доме жил, на готовом

хлебе. Дед в купцы его пророчил, гордился, что на всю жизнь осчастливит. Сафрон не один такой, все так считают — дескать, моя правда истинная, а у прочих других, со мной не согласных, блажь в голове и умственное расстройство. Кто власть имеет — за плеть берется, смертным боем бьет и правым мнит себя, дескать, добра желаю. Волк поумнее, за своей правдой ушел, с сытой жизнью не посчитался, хозяина не пожалел.

Как-то за столом Никифор про Серого вспомнил, сказал, что плохо волку зимой, в холоде и в голоде живет. Семен ответил пословицей — дескать, сколько волка ни корми, все в лес смотрит.

Пословица складная, подумал Никифор, да только не про Серого она.

Помаленьку таять начало. Зима отступила, по ночам сердилась, а днем слезы лила. До весны дожили, до первых дождей, Семен про город заговорил, про большие белые пароходы — чистая публика, рассказывал, в красивых каютах ездит, лозлафит пьет и консоме.

Хоть и жалко было отпускать парня, а ничего не поделаешь. Какая жизнь для него на кордоне, летом лес сухой, осенью — мокрый, весь во пнях и кореньях.

Май прожили. Повел он Семена на пристань.

В несчастливый день угодили, рев и вой стоял на берегу. Война с Германией началась, бабы мужиков провожали, защитников отечества.

Пьяные защитники плясали лихо, топтали горе лаптями:

Разойдись, народ,
Попадья плывет!
Грузная...

Рекрут один, немолодой, лет тридцати, пристал к Семену, тряс его за плечи, требовал — земскому не верь, стой за крестьянскую правду! Никифор увел мужика к воде, помог умыться — не лезь, сказал, к парню, сделай милость, у тебя горе, а у нас вдвое, восемь лет не виделись и опять расстаемся.

Пароход выплыл из-за косы. Народ к мосткам кинулся. Пристанские кричали: «Полегче! Осади назад!» Куда там, разве удержишь! Застонали мостки, затрещали перила. Семен туда же бросился, в самую гущу, и потерялся в народе.

Пристанские торопились. Не успел пароход пристать как следует — прозвенел колокол. Началась давка. Зря толкаются, думал Никифор про новобранцев, казенные люди, без них не отчалят. Третьего отвального звонка он не слышал. Заревел пароход — Никифор вздрогнул и под бабий вой полез в гору. Крутая она, камень да глина, в мокрую погоду лошадям мука, на заднице к пристани спускаются. Влез на гору, отдышался и пристыдил себя, что про лошадей думал. В такое-то время! Сорвал с головы картуз — прощай, закричал, прощай, Сенюшка, не забывай тятю! Пароход уж на плес выходил, на середину Камы. Уехал Семен на белом пароходе свою правду искать, дай бог ему счастья.

Ночевал Никифор в лесу, у костра. Звезды летом ласковые. На другой день, к вечеру, домой пришел, посидел на лавке, повздыхал и за стряпню взялся. Плохо ли, хорошо ли на душе, а жить надо, службу справлять, маломальское хозяйство вести. Может, Семен вернется, в городе тоже несладко, там свои Сафроны есть. Жил, торопил лето, надеялся, что зимой Серый вернется, не век же ему сердиться. Следы не раз видел. Только чьи — не один Серый в лесу.

Два года прошло. Привыкать начал к одиночеству, свои песни складывал — как живет, пел, мужик смешной, шадровитый да косолапый, жизнью помятый, живет один, не тужит, сам себе служит, эх, калина, рябина моя, красна ягода.

Как-то весной, в дождливую пору, домой он рано пришел, увидел следы на крыльце, подумал, что не просто добраться к нему в такую пору, не каждый решится. В избе еще больше удивился — Семен за столом сидел, с ним мужик незнакомый. На столе самовар, значит, чай пили. Надо бы поздороваться, добрым словом гостей приветить, а он топтался у порога, мокрый картуз с руки на руку перекидывал. Семен первый заговорил — здравствуй, сказал, мы тут сами командуем, вымокли.

Семену он не ответил, сел на лавку и тихо по-бабьи заплакал для облегчения души.

Семен подошел к нему, спросил: «Чего ты, тять? Горе какое?» Никифор засмеялся, сказал, что сдурел от неожиданной радости, насмешил людей, дурак слезливый.

Переодевшись в сухое, принес две бутылки вина,

чашку кислой капусты, поклонился гостям. «Не осудите,— сказал,— с горем справлюсь, а к радости не привык, один, как медведь, живу, не чаял и не гадал Сенюшку увидеть».

Незнакомый мужчина бывалым оказался, распорядок в свои руки взял, налил вино в кружки.

На радостях Никифор забыл, что на вино не стоек, нараз полную кружку выпил и раскис, начал плакаться — дескать, волка до слез жалко, взвоет какой в лесу — сердце будто в яму провалится, дышать нечем.

Незнакомый мужчина колбасой его кормил — закуси, уговаривал, водка мясной пищи боится.

— Матвеем Филипповичем меня зовут, попросту — Митя. Помню, в кабак зашел в Гельсингфорсе, подсел ко мне шустрый такой — давай, говорит, морячок, выпьем, неласковую родину помянем. Соглашаюсь — давай помянем. Пьем. Он разносолы кушает, а я вилкой соленый горошек клюю. Шустрый расспрашивает, как дела на корабле, тяжела ли служба. Отвечаю спьяна, что бунтовать собираемся, завтра за Народным домом сходка.

Семен не удержался, начал полицейских агентов ругать.

Флотский сказал:

— И я так думал, Сеня. Проверили — свой. Умный человек, инженер. Приехал от восстания нас отговаривать. Не сумел. Двести человек на каторгу пошли...

Матвей Филиппович сходил за сумкой, достал старую газету, пробку из газеты сделал, заткнул недопитую бутылку и спросил:

— Ну как, честная компания, песню споем или спать заляжем?

Семен спать не пожелал и петь отказался, дескать, не до песен сейчас, время в обрез, момент ответственный, надо с тятей поговорить.

Флотский согласился — как, говорит, не надо, уважь отца, только кажется мне, Сеня, опять ты раньше времени баррикады строишь.

Обнял Никифор обстоятельного человека, похвастал, что после дождей все в рост пойдет, цветами разукрасится, рай-виноградонье, у престола господнева нету красы такой, как у нас в лесу.

Флотский к кровати его повел, на отдых. Никифор заупрямился — не хочу и только, пусть Сенюшка на

кровати поспит, он с дороги. Снял с полатей зипун и лег на лавку. Утром встал раньше всех, подошел к кровати тихонько. Семен спал на боку, лицом к стене. Флотский с краю примостился. Лет тридцати мужчина, подумал Никифор, крупноват и усы колючие старят. Вчерашнюю выпивку вспомнил, порадовался, что в надежные руки Семен попал. Есть же на свете люди, думал, сами живут в удовольствие и около них всем другим хорошо. Постоял над гостями, пошел печку затапливать, хотя кроме старой картошки и варить было нечего. Знал бы такое дело, не пришел бы с пустыми руками из лесу. А для себя жалко птицу губить. Пока стряпал, самовар кипятил, гости встали, пошли умываться на ключик.

За столом флотский сам над собой посмеивался, говорил, что непрошеный отпуск ему выпал, придется пестерями-лукошками обзаводиться, грибы-ягоды собирать. Семен стал кордон расхваливать, дескать, глухомань, бездорожье, почище Сибири, и до пристани всего двадцать верст, за день можно обернуться, оставайся, не пожалеешь.

— Как хозяин решит,— сказал Матвей Филиппович,— мужик я покладистый, но все может случиться, у властей руки длинные.

Никифор слушал его, а сам думал: «Чево тут решать, и плохому бы человеку не отказал».

День в разговорах прошел.

Семен войну ругал, империалистическую бойню, переходить, говорил, надо к мировой пролетарской революции, а заграничных вождей разоблачать, которые в патриотическом угаре и без классового чутья.

Флотский спрашивал — почему? Должна быть причина, докапывайся, не мешком же они ударены. Семен горячился, а Никифор на руки его глядел в подтеках и ссадинах, нелегко парень хлеб свой зарабатывал.

— Шовинисты они,— кричал Семен,— изменники мировому пролетариату!

Бог с ними, думал Никифор, с вождями угорелыми, ты бы, Сенюшка, на лавку присел, лишний раз тятей меня назвал, не зря ведь люди говорят, что правда без доброты сердечной, как земля сухая, сколько ни сей — всходов не будет.

Матвей Филиппович засветло Семена спать уложил, посидел у окошка и полез на печку спину греть.

Никифор спать не ложился. Какие ночи весной! Не успеешь глаз сомкнуть — утро.

Часа два поспал Семен, пришлось будить. Вышли до свету. До Каменного лога тропа добрая. Из лога поднялись — светать начало. Чтобы дорога короче казалась, Никифор о пристанских рассказывал. Один у пристанских разговор — любимовские пароходы хвалят, дескать, можно часы по ним сверять, из минуты в минуту, сволочи, приваливают. На реке, ясное дело, не заблудишься, рассуждал Никифор, а как вы с Матвеем Филипповичем добрались, кордон мой нашли, рисковые люди? Семен честно признался, что сам удивляется. Поплутали немного и к Безымянке вышли, шумит она весной, далеко слышно.

Шумит, соглашался Никифор, берега грызет, сердится, недолгой силой кичится.

Без отдыха шли, шелестели словами. В полдень на Каму вышли. Остановился Семен — береги, сказал, Филиппыча, ищут его. Подал руку и стал к пристани спускаться.

Глядел Никифор на сына, думал, что большой вырос, вытянулся, а в кости тонок, как барышня.

Обратно шел не спеша. Изба — не пароход, после третьего свистка не отчалит. Семьдесят лет простояла и еще столько же простоит. В весеннем лесу, как в необжитом доме, гомон и птичья суета. Забыл он сказать парню, чтобы про родной дом помнил. Мало ли что случится. Жизнь — не любимовские пароходы, с расписанием не считается.

К вечеру тропа у́же стала, пришлось палку срезать, от колючих лап защищаться. Матвей Филиппович ждал Никифора на крыльце — садись, сказал, отдохни, ночь теплая, избу я вымыл, картошку сварил, других запасов не обнаружил.

Никифор снял грязные сапоги, от еды отказался и пошел отдыхать.

Утром потихоньку собрался и ушел на службу. За день все передумал. Одному жить просто, натура распоряжается — когда к обеду приступить, когда спать ложиться.

Безымянка все еще в берега не вошла, кое-как с палкой перешел ее, к тракту направился. Новый лесничий приказал: мертвый лес на учет взять и семьям погибших воинов отпускать бесплатно. Лесу хватит, и па-

лого, и сухостоя. А как вывезти? Объездчики и те ругаются. Места, говорят, здесь гиблые, только лешим плодиться. Флотский рассуждения их одобрил — лешие, сказал, компания нам подходящая.

За неделю Матвей Филиппович два прясла поднял, порог в предбаннике заменил и весь огород вскопал.

Как-то Никифор сказал ему — отдохни, пожалуйста, не в работники ведь нанялся. Флотский лопату очистил, рядом сел и предложил — споем, Захарыч. Пел Матвей Филиппович задушевно, про товарищей своих, которые умерли во славу русского флота, и где лежат бедные, ни крест, ни камень не скажут.

Позавидовал Никифор ему, счастливым человеком назвал. Одно, сказал, непонятно, зачем тебе, Филиппыч, против власти идти, сам живешь обстоятельно и другим не мешаешь.

Матвей Филиппович рубаху поднял — полюбуйся, сказал, как счастливого человека обработали.

Годы прошли, и какие годы, всего навидался, а исполосованную спину флотского не забыл. С того дня Филиппыч разговорчивее стал. Не шумел, как Пискун, не ругался, говорил просто: тяжело трудящиеся люди живут, так тяжело, что ни плетей и ни тюрем уже не боятся. А иной раз улыбнется Филиппыч, обнимет его — эх, Захарыч, Захарыч, скажет, подумай, не будет зла на земле и горя, заживут люди, как братья, правда восторжествует, а она человеку хлеба дороже.

Слушал его Никифор, думал, что хороший человек и в хорошее верит. Однако опасался. За плохим не сразу пойдут, осмотрятся люди, подумают — туда ли ведет? За хорошим идут бездумно. Рассказывал Сенюшка, как большевики из пушечного цеха за рабочую молодежь вступились. Объявили заводскому начальству требование: укоротить подросткам рабочий день и платить за смену не меньше сорока копеек. Пока, сказали, наше требование не исполните — бастовать будем, на работу не выйдем.

Парню приятно, что хорошие люди за него вступились. Мы — сила, хвастал Семен, солидарность пролетарская нас объединяет и на борьбу зовет.

Никифор не утерпел — с кем, спросил, бороться собрался, Сенюшка, ведь ты молодой еще, кость не окрепла, а германец ражий, сало ест и печенье с дырочками! Семен закричал, как на чужого, дескать, такие вот обо-

ронцы, патриоты несознательные, единство раскалывают и мировому капитализму на руку играют.

Никифор покаялся тогда, что зря дорогова гостя расстроил. Што будет — никому не известно. Пока жив-здоров Сенюшка, и слава богу. Чтобы успокоить парня, стал на одиночество жаловаться — некову мне раскалывать, говорил, в дальности от людей живу, пеший да бывалый еще доберется, если время сухое, а конному пути нет. Слова говорил привычные, а сердце болело — уйдет, думал, Сенюшка, с хорошими людьми уйдет и погибнет, как Куприян Лукич в дальней стороне...

Вечера летом долгие. Филиппыч без дела тоскует, то одно, то другое вспомнит. Про море Никифор слушал с удовольствием. Сам просил про морскую службу рассказать. Уважь, говорил, только про каторгу не вспоминай, тяжело слушать, Семена во сне вижу, полосатый весь, на ногах кандалы звенят, ушам больно. Как-то незадолго до сенокоса пришел со службы, а флотского нет. Забеспокоился. Никогда такого не бывало, Матвей Филиппович — человек спокойный, осмотрительный, заблудиться не мог. В город, не простившись, тоже бы не ушел. Никак случилось что-нибудь...

Смеркаться уж стало, появился флотский с пустым лукошком, расстроенный. Случай, говорит, небывалый со мной случился, Захарыч. Сел передохнуть на валежину, чувствую — не один. Огляделся — шагах в десяти волк лежит. Нож со мной никудышный — только вшей бить. Признаться, струхнул. Стал палку присматривать потяжелее и вспомнил, что друг у тебя добрый был. Серый, зову, Серый! Привстал он, навострил уши. Вот, думаю, удача какая, волк к людям тянется, может, домой приведу, Захарыча обрадую...

Глава двенадцатая

Никифор топтался легонько, стараясь согреться, и на болото посматривал. Самое время сейчас сохатым под урочищем хорониться. Ночью, того и гляди, такая падерь начнется, упаси бог! Первогодка бы свалить, думал, возни меньше и мясо лучше жуется. Да как загадывать! Рука дрогнет от жалости или снег под ногой хрустнет, вот и пропала охота. От прошлого тоже скоро не отвяжешься, станешь к кустам приглядываться — перед глазами Филиппыч стоит, колючие усы поглаживает. С ча-

сок еще постою, решил Никифор, и домой побегу, до потемок глухих успею.

Уговаривал его в то лето Матвей Филиппович пол перебрать в избе. «Простоит,— отмахивался Никифор,— сто лет стояла, на будущий год займусь».

Зимой царя с престола сбросили. Какие уж тут полы! Чуть не каждый день в село бегал, митинги слушал. Ошалели от воли богоявленские. Бедные богатых ругали за эксплуатацию, а те кричали, что комиссары временные тоже не поросята, кормить их выгоды нет!

На митинге Никифор с тестем столкнулся. Состарился Сафрон Пантелеевич, высох и почернел, а привычек своих не бросил, обижал людей с удовольствием. Никифор поздоровался с ним. Сафрон картуз снял, до земли поклонился — Никишка, заорал, зятек ненаглядный, беднее да дурнее тебя по всей волости не найти, готовься, мать такую, на поприще! Пошумел Сафрон и по старой привычке распорядился — не тряси, сказал, худыми штанами на митингах, иди ко мне в работники, с хлебом будешь. Хоть и не любил он Сафрона, за Сенюшку на него обижался, а пришлось согласиться, нужда заставила.

Дня за три до встречи с Сафроном заходил он в контору. Писаря не было. Пьяный лесничий в кабинет его позвал, отругал Львова, дескать, не князь он, престола защитник, а смутьян и лавочник, порядка в России не будет. Живи сам, сказал он Никифору, как умеешь, на контору не надейся, а я в звонари пойду, в колокола буду бить.

С тестем Никифор договорился быстро. Сафрон за ценой не стоял — батрачить охотников не было. Промелькнуло лето в крестьянских хлопотах. Опал лист, закружилось воронье над уметами. Возил Никифор на копыльных нартах заработанный хлеб, радовался — может, Сенюшка нагрянет или другой какой добрый человек, голодными не останутся. Укрыл мешки с хлебом старой лопотью, начал перед зимой выхваляться — налетай, набегай, говорил, сила темная, захлестни крылом солнце красное, заморозь речки быстрые, остуди землю-матушку.

Подошла и зима. Морозы начались лютые, а дома не усидишь. В селе, как на ярмарке,— кто во что горазд. Победнее которые, радуются — землю получили.

А богатые злятся, грозят — дескать, чужой кусок в горле застрянет, подавитесь.

Раза два в Совет заходил, председателю жаловался, что нехорошие люди из окрестных деревень молодой лес рубят. Председатель с маху решал: наведем, шумел, революционный порядок в лесу, от нас никакая елка не отвертится! И тут же признавался: «Трудно, товарищ, новый мир строим, все заново». Никифор понимал его — как не трудно: старое разбили, новое не наладили. Домой шел без охоты — изба пустая, даже кошки нет. Не раздеваясь, садился на лавку — одолели богатых, думал, ну и слава богу, может, Семен нагрянет, поживет дома недельку-другую...

Стоял Никифор, затаившись под елкой, вспоминал прошедшую зиму, горевал и радовался. А день угасал, снег стал серым, почернели кусты в болоте. Сохатые появились неожиданно. Впереди шел молодой кургузый бык. За ним две лосихи с телятами-первогодками. Никифор выстрелил, увидел, как осел бычок, подогнул передние ноги, оттолкнулся и бросился к осинникам, напрямик, по глубокому снегу. Не уйдет, думал Никифор, надевая лыжи. Пока выбрался из скрада, перезаряжал ружье, лосихи с телятами ушли по краю урочища, а раненый бык сумел пробежать не меньше ста сажен.

Преследуя бычка, Никифор успел заметить темную кровь на снегу, значит, задел легкое. Перед осинником бычок заметался, нашел крепкую бровку и по малому снегу ударился к лесу. Никифор на ходу сбросил зипун и тоже побежал к старому лесу, наперерез бычку. Пробежал саженей двести, хотел с маху перескочить ложбину и не сумел. Падая, услышал хруст, не понял еще, какая беда случилась, копошился в яме, старался поскорей вылезти.

Бычок подходил к старому лесу, а Никифор стоял по пояс в снегу и держал на руках, как ребенка, сломанную лыжу. Камусовая обшивка не порвалась, а березовая голица треснула на сквозных щелях, под катанком.

Густели сумерки. Чернел вдали большой лес, горой возвышался над серым болотом. Лось давно уж в лесу был. Жалел Никифор его — от такой раны, думал, не выживают, помучается, бедный. С трудом из ямы выбрался и по лыжне, уминая рассыпчатый снег, потащился обратно, зипун искать.

Пока дошел — стемнело. Ночи он не боялся, забота грызла, как добраться до дому, Сенюшку накормить, отвязать Юлия Васильевича, чтобы не мучился зря. Мерзнуть начал, казенный зипун плохо грел. Стал спиной к урочищу, прикинул, как линию держать, с пути не сбиться, что впереди версты на две болото с ивняком и худыми сосенками, за болотом лес родной, там будет легче, теплее. Сначала пытался брести по глубокому снегу, как по воде, потом на лыжу лег, руками греб и ногами дрыгал, но подвигался плохо.

И все время думал — как они там без меня, господи? Хоть и торопился домой, но не рвался вперед по-дикому, щадил больное сердце. Понимал, что брести еще долго придется.

Темная морозная ночь наступала на него со всех сторон, не суетясь, воинским порядком. Может быть, все бы и обошлось, да про траву вспомнил. Сунул руку за пазуху, хотел за мешочек с одолень-травой подержаться, успокоить себя. Слыхал он и от Захария покойного, и от других бывалых людей, что одолень-трава любую беду отведет. Собирал ее летом, сушил под крышей, в тени, зашивал в мешочек и всегда при себе носил, верил, что с одолень-травой никакая беда не страшна.

Рука все еще за пазухой шарила, а он уже понял, что потерял одолень-траву. Последняя надежда осталась: может, в том месте, где зипун сбрасывал, и мешочек обронил. Брести по старому следу оказалось не легче. Саженей пять прошел и задохнулся. Отдыхать пришлось, стоял по пояс в снегу, за сердце держался.

За спиной прошуршало, кто-то полз за ним.

Долго в темноту вглядывался — зверю, думал, на болоте зимой делать нечего, оборотень какой-нибудь, злая нечистая сила. Опять про одолень-траву вспомнил, вслух выругался, да что толку — от судьбы не уйдешь. Она уже к сердцу подкралась и давит, и гладит его, как коровье вымя.

Луна из-за туч выплыла, два огонька зеленых блеснули. Он выстрелил, бросил ружье и попытался бежать, но скоро из сил выбился, на снег лег. Полежал недолго, замерз, под зипун, видно, снег набился, обледенела рубаха, тело жгла, будто холодным железом. Стал вперед продвигаться, только бы не замерзнуть на проклятом болоте. Наугад брел, последние силы тратил, руками размахивал, заставлял тело жить, утра дожидаться.

Согрелся немного, вспомнил, как Матвей Филиппович с двумя красными солдатами Сенюшку на санках привез, почти бездыханного, сам мало побыл, поговорить не успели, только и сказал, что скоро вернется. Изба уже выстыла, думал Никифор, передний угол местами заиндевел. На Юлия Васильевича вся надежда, может, уговорит парня, мертвые ведь одного цвета — желтые. Развяжет Семен господина лесничего, как-нибудь проживут, хлеб есть, капусты и картошки хватит. А ему бы до родного леса добраться, костер развести, полежать на пихтовых лапах в тишине, на покое.

Значит, брести надо, сколько-нисколько подвигаться.

И он брел, про Юлия Васильевича думал, что человек он обходительный, благородного вида, а беда за ним по пятам идет. Только начал Сенюшка поправляться — пришел, нежданный и негаданный, устал, говорит, от всего на свете устал, от крови тошнит, есть ничего не могу. Белых стал хаять,— дескать, злые они, неумные, а шапку с красной лентой увидел — и за наган схватился.

Пришлось связывать. Откуда прыть взялась! Юлий Васильевич — не ребенок, хоть и не широк в плечах, но мужчина рослый, жилистый.

Связал он господина лесничего, руки за спину гнул, а сам извинялся — не сердитесь, говорил, время такое, белые солдаты по тракту идут, не за себя боюсь, за Сенюшку...

Ночь в силу входила, стужи ей мало казалось, жгучего ветра добавила. Последний раз Никифор недобрым словом судьбу помянул, она вроде Юлия Васильевича, мягко стелет, да жестко спать, и сам того не заметил, как сел. Устраиваясь поудобнее, копошился в снегу, спину прятал, ночью на открытых местах спине боязно. Пока в сознании был, сердце уговаривал: «Сослужи последнюю службу, до утра бейся». А согрелся в яме — и забываться начал, отца Андрея увидел, обрадовался — батюшка всегда ласковые слова говорил. Только удивительно было: поп губами не шевелил, а слова его про райское житье Никифор слышал.

Потом дрожь по телу прошла, страхом пахнуло. Встать попытался и не смог — ни руки, ни ноги не слушались. Вот беда какая, думал Никифор, и боли радовался, она уснуть не давала. С дремотой сладкой боролся — не заметил, когда ветер утих. В яме уютно ста-

ло, как в избе, чисто вымытой в летнюю пору. Душновато только, и комары звенят надоедливо. Откуда комары взялись, подумал Никифор. Но окно закрыл, подошел к Александре, стал уговаривать: не умирай, просил, милая ты мне.

Александрушка улыбалась по-доброму и говорила, что не ее воля, срок пришел короткому счастью.

Серым холодом потянуло, дверь настежь открылась, на пороге Матвей Филиппович в белом фельдшерском халате — не реви, говорит, новая жизнь началась, Захарыч, полностью справедливая, без богатых мужиков и без начальства. Подал он Александре лекарство в высоком стакане, сказал, что никому умирать не позволим, живи, бедная женщина, ребенка доглядывай, корми скотину. Матвей Филиппович губами не шевелил, как отец Андрей, а слова его Никифор понимал, будто въявь слышал.

Совсем жарко стало, сенокосное лето началось, на полянках лесных синие колокольчики звенят и звенят без устали. Большаковские работники с топорами крадутся к сосновым саженцам. Никифор кричит — не губите, окрепли сосенки, с землей сроднились. А они, большаковские работники, бумагу ему суют — читай, дескать, приказано чисто-начисто оголить землю, чтобы росли на ней без помех оловянные заводы.

Юлий Васильевич появился, холеный и в парусиновом кителе, побросали большаковские работники топоры, покатились кулями в Каменный лог.

А с горы Александра спускается, расстроенная,— пора, говорит, Сенюшку в морскую гимназию определять.

В гимназии, как в конторе, душно, пол горячий, дверь красной клеенкой обшита. За столом в капитанской фуражке пожилой человек сидит, а на диване, развалившись, Юлий Васильевич с сыном от городской жены. С господином лесничим не потягаешься, подумал Никифор. От обиды сердце заболело, мочи нет, дышать трудно. Потолки низкие, пол пышет жаром сухим. Юлий Васильевич с дивана встал, заслонил свет оконный. Хотел Никифор оттолкнуть его, все силы напряг и надорвался — нестерпимой болью по сердцу хлестнуло. Померкло все, будто в темный колодец свалился. Лежал, дышал осторожно, боялся боль разбудить. А память ни с чем не считалась, сама по себе жила, больное сердце

тревожила. Корил память Никифор, а сам ждал, что пожилой человек скажет.

Пожилой человек улыбнулся, усы погладил — было время, сказал, господа капитанствовали, сейчас другое, чаяния народные сбылись и воплотились. Надел пожилой человек на Сенюшку капитанскую фуражку, посадил за парту и стал учить мореходному делу. Засмеялся Никифор, обнял Александрушку, повел лесом зеленым по любимым местам. Шел счастливый, в обнимку с женой, каждой елке низко кланялся, спасибо говорил за тепло и ласку. Вышли к морю синему, в лицо ветер дует горячий, гонит к ним белый пароход. На пароходе Сенюшка капитанствует, молодой еще, безусый, во флотской одежде. Александра радуется, шепчет на ухо, что Сенюшка барином стал, и по лицу гладит. Руки у ней холодные. Никифор увернуться хочет от холодных рук и не может — сил нет, шея не слушается, будто чужая. А пароход уже рядом, паруса у белого парохода, как крылья огромные, море и землю закрыли — и вдруг вспыхнули жарким пламенем, прозвенели и потухли...

Глава тринадцатая

День погас быстро. Наступили сумерки, серые, надоедливые. Они долго не густели. Юлий Васильевич вспоминал детство, старые часы в гостиной, священника Волоскова, тихого человека и экклезиаста, дерзнувшего постичь всю мудрость земли, какая есть и была под солнцем.

— Не умер, ваше благородие? — спросил Семен.

Он ответил, что умирать не собирается, просто задумался, академию вспомнил, актовый зал, синие кресла и скамейки, поднимающиеся амфитеатром.

— Валяй вслух! Про академию!

Он стал рассказывать, что в актовом зале висела копия с картины Альтдорфера, святой Георгий на ней был в красных доспехах. Семен перебил — святого, сказал, в революционную материю не оденут.

Юлий Васильевич свалил с себя тяжелый тулуп и повернулся на бок. Левая рука его оказалась за спиной. Зато правой он смог дотянуться до кружки. Теплая вода пахла морёными травами. Он пил без удовольствия и злился, что не может заинтересовать парня, в мелочах путается. Напился, опять лег на спину. Лежал, сухие

сумерки разглядывал, полегоньку кашлял и старался не думать о проклятой веревке.

— Признавайся, ваше благородие, по какому делу в избушку пожаловал?

— Причин много, сразу не скажешь. Поступки наши предопределены прошлым.

— Дезертировал, значит, воевать надоело.

— Зачем мне дезертировать? Ведь отступают-то красные, ваши.

— Надеешься, сволочь!

Юлий Васильевич вспылил, обругал парня «хамом» и долго не мог успокоиться.

Семен кричал:

— Подкопим силу и ударим по белопогонникам! Точно говорю, пух полетит, как из поповской перины!

— Опоздали! Пермь взята, Вятка на очереди.

— Не хвастай, сдаются ваши, полками к нам переходят.

— И пусть переходят! Не жалко! — отругивался Юлий Васильевич, а сам думал, что зима нынче злая, коварная, весь декабрь метели мели, и январь не лучше, все может случиться.

— Хватит, пошумели,— сказал он Семену.— Черт с ней, с Вяткой! Впереди у нас с тобой не годы — считанные часы.

— Испугать норовишь? Не старайся! Тятьке я верю, не тебе он чета.

— Я просто работник, нужный людям. Всю жизнь в лесу служил. Глупо служил, надо признаться. Время было такое. Лес защищали, как крепость, до последнего патрона.

— Не верти языком, лес сам по себе. Мы не с лесом воюем.

— Рано или поздно война закончится. Лес придется рубить, и надо его рубить. Обязательно надо. Вот в чем дело, Сеня! Старые деревья захламляют лес, мешают расти молодым.

— Руби на здоровье.

— Война ничего не изменит. Не изменит главного в жизни! И после войны придется пахать, сеять, рубить лес, строить дома и дороги.

— Для себя строить можно.

— Вздор, новая сказка! Для себя я берег лес? Для себя строили каменщики Петербург и Москву?

— Ясно, для народа, для всех бедных людей. А эксплуататоры все захватили! И лес твой, и землю, и каменные дома. Оттого и революция началась. Скажем, я хочу на морского капитана учиться, на больших кораблях по синему морю плавать. Нельзя, черная кость, неумытое рыло!

— А если ты не черная кость? Не сын Никифора?

Юлий Васильевич ждал, что скажет Семен. Но тот молчал, шуршал туеском.

Стало совсем темно. Пока спорили, ночь подкралась. К ней тоже надо привыкнуть, убедить себя, что тьма вокруг не бездонна. Над головой крыша, по бокам крепкие стены. Вспоминалось, что дорога в избушку началась в Уфе. Высокообразованный Кроль спрашивал Вольского: «Ну, какое же это правительство, если оно перед кем-то ответственно?» Ворошить недавнее прошлое, да еще ночью, Юлию Васильевичу не хотелось. Но Семен не отвяжется, пока не узнает, зачем белый офицер к ним пожаловал. Душа пристанище ищет — не ответ. Теперь все ищут — кто хлеб, кто крышу, кто новые иллюзии.

— Когда мы возвращаемся домой, мы возвращаемся в детство. Ты слышишь, Семен? Мне некуда возвращаться, давно уже некуда! Я останусь здесь, буду кормить и поить тебя, и выносить туесок.

— Ошалел, ваше благородие? Чево городишь? Придет тятька, развяжет. Сходишь на улицу и опростаешься.

— Я так, не об этом. Священника Волоскова вспомнил. Плохое не будет хорошим, и мертвые не воскреснут.

— Тятька, поди, уж в Каменный лог спустился. Гляди, домой прибежит...

Юлий Васильевич корчился и стонал. Ему не нужны были ни вечные истины, ипостаси духа, ни Россия с ответственным правительством. Он хотел на улицу.

— Помоги, Сеня! Нож на столе, может, дотянешься. Сил больше нет!

— Ишь, чего захотел! Разворотили бедро, а теперь «помоги!».

— Господи! Да ведь не я же...

— Не могу, сам знаешь.

Юлий Васильевич хотел выругаться и неожиданно засмеялся, почувствовав облегчение. Тело его на несколько секунд стало невесомым, ликующим. Подтекающая под спину моча была просто мочой, не трагедией.

Он думал, что зря мучился, дело обыкновенное. Чтобы забыться, с отцами церкви спорил — нет, дорогие пастыри, наша душа тогда божественна, когда тело свободно... Что-то Семена не слышно. Неплохой он, в сущности, парень, думал Юлий Васильевич. Надо сказать ему что-нибудь приятное, похвалить красных. Проходимец Гайда карьеру у них не сделает, и Колчак хорош — на съезде уральских промышленников цитировал морской кодекс арабов. В такое-то время! Верховный правитель всея Руси!

Юлий Васильевич повздыхал о несчастной России, поерзал на войлоке, нашел сухое место... Верховный правитель уменьшался в росте, полнел, раздувался, стал похожим на уродливого карлика. Юлий Васильевич падал в черную глубину, вздрагивал, просыпался ненадолго, чтобы снова сорваться, лететь куда-то вниз, вместе с войлоком, с нарами, с тяжелой избой...

Проснулся он неожиданно, с ясным сознанием и с полной уверенностью, что Никифора нет. «И не будет»,— сказал он себе, подтянул ноги, сколько позволяла веревка, повертелся на нарах, понял: самому не освободиться, привязан крепко. Выхода нет... Какой-то другой человек, живущий в нем, необразованный, нечиновный, все это предчувствовал и старался войти в доверие к Семену. Этот другой хотел жить. Только жить! Во что бы то ни стало, любой ценой! Юлий Васильевич не любил и стеснялся его, всю жизнь боролся с ним. Этот другой был груб и прямолинеен, смеялся над честью и совестью, порядочность считал утонченным эгоизмом. Сослаться на «раздвоение личности» Юлий Васильевич не мог, поскольку раздвоения не было. Был один человек — напористый, оскорбительно искренний. Он, не колеблясь, разбудил Семена, сказал ему, что Никифор не пришел и не придет, надеяться нечего.

— А время сколько? — спросил Семен.— Может, вечер еще...

— Утро, Сеня. Светает. Вторые сутки пошли. Что-то случилось с Никифором, ждать бесполезно.

Семен не сдавался, вслух думал, сам себя уговаривал — на охоте, говорил, всякое бывает, иногда приходится и переждать ночь, костер разводить под елкой.

— Тятька и летом плутал. До женитьбы еще. Мамку, говорит, мамку твою сильно полюбил, оттого и с до-

роги сбился. Любить, поди, хорошо! Как думаешь, офицер?

— Любят живые. Живые, Сеня!

— Заладила сорока Якова! Не обманет тятька, не выдаст, на карачках домой приползет.

На улице шумел ветер, раскачивал елки. Они безнадежно и вяло скрипели.

Юлий Васильевич лежал с закрытыми глазами, ни о чем не думал, в душе жила злая уверенность, что Семен поможет освободиться, иного выхода у него нет. Когда рассвело, повернулся на бок, увидел на столе плетеную хлебницу, в хлебнице нож с большой черемуховой ручкой.

— Что будем делать, Сеня?

— Тебе ловко, разрезал веревку и пошел. До белых недалеко.

Юлий Васильевич глядел на нож, примерялся: если Семен одной рукой в тюрик упрется, то другой до плетенки дотянется. Поломается, конечно, пока не замерзнет, без этого нельзя, пролетарский долг обязывает. Ведь барин плох уж тем, что он барин, зато бедняк непременно хорош. Юлий Васильевич засмеялся, икая и всхлипывая, оборвал смех и объяснил Семену, что с ума не сошел, просто вспомнил не вовремя про дулебов и вятичей.

Семен ругал непогодь, думал вслух:

— Наверняка заблудился тятька, не туда ударился.

— Дня через два к деревне какой-нибудь выйдет. Ты это хочешь сказать?

Семен промолчал. Где-то тятька его плутает, бога молит и своих лесных заступников, чтобы помогли к дому выйти, Сенюшку напоить-накормить, офицеру не поддаться. О себе не думал — на ребят надеялся, придут, как обещали, а тятьку жалел, где-то мается, бедный. Слово дал, если тятька жив останется, домой придет, сказать ему правду, что любит крепко, но дурака валял, хотел грозным казаться, настоящим бойцом революции. Пока о тятьке думал, душой болел, метель вроде утихать начала, светлее стало в избе. Из-под лавки серый катанок выглядывал, будто кошка.

Офицер опять заговорил — просил «все взвесить, понять, иного выхода нет».

— Убить, может, и не убьешь, ваше благородие. Раненый я тяжело, белым не страшен. Но и выхаживать

меня, боевую красноармейскую единицу, на ноги ставить, офицеру резона нет.

Изба выстывала. Лоснился пол от холода. Оставшееся тепло к потолку поднялось, пользы от него мало.

Юлий Васильевич ежился и сопел, пытаясь согреться. Нет смысла, думал, спорить с Семеном, доказывать ему, что человек он, а не красноармейская единица. Расхваливать жизнь во всех ее проявлениях тоже бесполезно. Семнадцатилетний парень в смерть не верит, она для него — бытие в ином качестве. Есть у парня уязвимое место...

— Ничего не поделаешь, Сеня,— сказал Юлий Васильевич,— с пролетарским происхождением придется тебе расстаться.

— Сплетням не верю.

Юлий Васильевич нерешительно покашлял и стал рассказывать, как познакомился с дочерью Сафрона Пантелеевича, сельского торговца. Рассказывал спокойно. Перебирал в памяти прошлое, излагал факты без гнева и пристрастия, только сдувал с них лирическую пыль.

— В те годы мы искренне верили, что дулебы и вятичи — соль соли земли. Богатые обречены историей на пустую и преступно порочную жизнь. Генеральские дочки, молодые священники, студенты, врачи и звездочеты мечтали раствориться в дулебах и вятичах. И я, грешный человек, мечтал об этом. Благо и случай представился — Саша полюбила меня. Разумеется, без книжек не обошлось. Молодость нелогична. Мечтая о родстве с дулебами, как о спасении, в то же время старался облагородить их дочь. Саша в опрощение мое не верила, ученых книжек не читала. Она хотела стать барыней.

Семен сказал, что оговорить можно любого, если подлецом быть, совести не иметь.

Юлий Васильевич обиделся, хотел встать, рванулся и застонал от бессильной злобы и унижения.

— Бодливой корове бог рога не дает! —смеялся Семен над ним.

А он вертелся под мерзким тулупом, кричал, что забеременела и родила Александра до свадьбы. Семен что-то говорил ему. Он не слушал — будьте любезны, кричал, будьте любезны, июнь, господа, лето, травы некошеные, девица упрямо и бессовестно лезет, девица хочет стать барыней...

— Не надо,— просил Семен,— не надо про мамку!

Но Юлий Васильевич остановиться уже не мог. Кто устоит, кричал, трепет и страсть, молодое тело, будьте любезны, будьте любезны...

Семен тоненько, по-детски, плакал и твердил, что про мамку нельзя, мамка хорошая.

Обессилев от собственного крика, Юлий Васильевич замолчал, заерзал по войлоку, забиваясь с головой под овчинный тулуп, как в нору. В норе пытался ужаться, стать маленьким, незаметным, сердился на свои длинные ноги и ругал того, другого, живущего в нем, который вел себя гадко и непристойно. Слушая горький ребячий плач, он плотнее прижимался к нарам и, страшась за себя, за свой мозг, стал вспоминать последние подписанные им циркуляры о бесцельной и убыточной сдирке мохового и травяного покрова на мокрых неудобных участках. Нашептывая под тулуп циркуляры, не переставая думал — что же теперь будет? Как подступиться к Семену? Сдаться на милость победителя он не мог, поскольку победителя не было. Никто не мог гарантировать ему жизнь... Никто, кроме сына! Неужели поздно, и Семен ничего не простит, ничему не поверит? Но ведь прошлое, любое прошлое уходит безвозвратно, как бы умирает, становится небытием, его нельзя ставить в ряд с настоящим, как холод с теплом, смерть с жизнью...

Семен начал говорить первый, просто и без ругани; сказал, что заревел от обиды.

Юлий Васильевич вздохнул с облегчением, выполз из-под тулупа, стал извиняться.

— Постой, ваше благородие, хотел я, сознаюсь, нож тебе бросить. Думаю, тятькин знакомый, к белым, может, и не убежит.

— Ну конечно же, Сеня. Не побегу я. Зачем? Сам понимаешь, некуда мне бежать...

— Подожди, сказано. Сволочь! Задавил, думаешь, парня. Сиротой сделал. Все отняли, гады! Не отдам тятьку, слышишь! Сам погину, и ты сдохнешь.

Семен помолчал, собрался с силами и сказал твердо:

— Сдохнешь, гад! Точно говорю!

— А ты! Ты! — закричал Юлий Васильевич, порываясь подняться.

— Ишь, затопырхался! Я жить буду. Восьмые сутки идут, а на десятые Матвей Филиппович заявится, ротный командир, в тыл пойдет он с ребятами...

Уставший от страха, измученный тщетными усилиями, он не верил Семену и не слушал его. Он с ужасом думал о смерти, мучительной, безобразной, и уточнял по привычке, что красивой смерти не бывает, иллюзии живых не в счет. Ненавидя смерть всей жизнью своей и памятью, он искал от нее спасения, до боли напрягал свой мозг. Порывался встать с проклятых нар, уйти, спрятаться. От бессилия кусал остервенело тулуп, в воспаленном мозгу были сплетались с небылицами. То видел отца, подкатывающегося, как мячик, то Семена в мундире чиновника. Искренне удивился, что Семен переехал, живет на потолке и хвастает — дескать, назначен я председателем Всероссийской контрольной палаты по высочайшему повелению.

Юлий Васильевич выплюнул кислую шерсть, лег на спину и понял, что разговаривал с ним не Семен, а отец, потирая руки и радуясь.

— Итак, милейший,— ворковал отец,— итак, приступая к обязанности председателя контрольной палаты, объявляю, что сын мой, Юлий, любит народ на фоне лугов и полей. Пейзаж, так сказать, любит. Живой пейзаж.

Посмеиваясь и воркуя, отец прохаживался по кабинету, тряс полами новенького мундира, а Юлий Васильевич, злорадствуя, ждал: вот появятся печальная матушка и тихий священник Волосков, мягкий, как налим.

— И сказал я себе,— забубнил священник, обнимая сконфуженную супругу председателя контрольной палаты,— и сказал я себе, что веселие — благо! И потянулось сердце мое к веселию, как плоть к вину. Мудрый, говорю я, весел, и не надо скорбеть сынам человеческим, пока они живы...

Когда прояснялось сознание, Юлий Васильевич будто просыпался, разглядывал мутный потолок, засаленную матицу. Холод заставлял его двигаться, думать, возиться с тулупом. Но беспомощность приводила в отчаяние, и откуда-то снизу, от живота, поднимался темный страх, тяжелый, как глыба, страх обжигал мозг нестерпимой болью, глушил, подгребал под себя сознание — и опять начинались галлюцинации, ходил на хвосте тихий и мягкий налим, кланялся, скрипел рясой, проповедовал.

— И все, что просили глаза мои,— я имел, и все,

что хотело сердце мое,— получал. И, поглядев на труды многих лет, изумился...

Густели тяжелые сумерки. Надвигалась еще одна ночь. Страшная, безнадежно холодная.

Юлий Васильевич не вспоминал о Семене, не окликал его. Забыл, наверное. Когда отступало безумие, старался согреться, ерзал на нарах или корчился под тулупом. Галлюцинации его не пугали, он переставал вздрагивать, когда слушал в самом себе бас священника или грозный окрик экклезиаста. И только удивлялся, что мозг его служит безумию, имитируя жизнь в необъемных, как бумага тонких, но ярких видениях.

Глава четырнадцатая

Большой гривастый волк почуял утро, привстал, упал снова, уткнувшись носом в снег. Нехотя отряхнулся и побрел по утоптанной человеком тропе. Утром стало еще холоднее. Слюна у Серого замерзла и повисла под мордой, как стеклянная борода. Когда он мотал головой, стеклянная борода, шурша, осыпалась. Волк прислушивался, нюхал воздух.

Человек лежал шагах в тридцати от леса, в неглубокой впадине, лежал на боку, наполовину засыпанный снегом.

Перед впадиной Серый уткнулся носом в тропу и, не поднимая лобастой башки, бросился к человеку. Он скакал, повизгивал, тянул человека за окоченевшую руку, долго лизал холодное колючее лицо. Волк почуял смерть человека, завыл, подняв морду к холодному, начинающему светлеть небу. Может быть, Серый оплакивал друга, может быть, выл потому, что был волком, и дикий вой его вырвался из глотки, неосознанный, как сновидения.

По умятому снегу бежали еще три волка. Первой трусила волчица. Подбежав к Серому, она куснула его за шею и, отскочив, ласково осклабилась, завиляла задом. Она приглашала играть. А Серый выл, захлебываясь и всхлипывая. Сконфуженная волчица стала отряхиваться, вылизывать шерсть на груди. Перед ней прыгали и грызлись два молодых волка. Когда волчица, запрокинув красивую голову, завыла, они тоже подняли морды к глухому еще, страшному небу.

Медленно всходило неяркое солнце.

Серый перестал выть, полизал задубевшую руку, уже пахнувшую морозом, и затрусил к лесу. На бегу всхлипывал и потихоньку скулил, но шел уверенно, выбирал прогалины с крепким настом. Набежав на лыжню, он долго принюхивался. Запахи оказались чужими. Он посопел, пофыркал и свернул в сторону, к логу. Спускаясь, оглядывался и беззлобно рычал — семья его отставала. Волчица бежала нехотя, а молодые волки на ходу мышковали.

В конце лога перед незамерзшим ключом Серый опять наткнулся на лыжню. Попятился от нее, сердито рыча. Волчица пыталась увести его, вертелась и прыгала, убегала по логу вверх. А он рвался вперед, к знакомой избе, к живому Никифору, которого помнил и любил. В смерть Серый не верил, не понимал ее, в его цепкой звериной памяти остались запахи — живые следы незаглушенного детства.

Перемахнув лыжню, он выскочил из лога, похватал холодный воздух, отряхнулся и лег, положив на лапы горячую морду.

Тихая, занесенная снегом изба топилась. Пахло сладковатым дымом, подгорелой картошкой. Серый морщил нос, поглядывал. Он ждал, когда выйдет из избы не окоченевший на болоте, а другой, настоящий Никифор, в лохматой шапке и в засаленном зипуне, поглядит, вздыхая, на небо и направится к лесу. Серый подбежит к нему, лизнет руку...

Из избы вышел парень с винтовкой, увидев волка, запрыгал, как петух, и замахал руками. Серый глядел на него равнодушно. Он ждал Никифора.

Парень сбегал в избу, привел еще двоих. Они тоже прыгали в снегу, размахивали руками, но кричать громко боялись.

Безголосые парни грозили серому хищнику и винтовкой, и кулаками, бросали в него снегом и щепками. Но хищник лежал как приклеенный. Обругав упрямого волка «белогвардейцем», парни ушли в избу.

Часовой поднялся на крыльцо.

Как только парни ушли, осторожная волчица подбежала к Серому, покрутилась и легла рядом, свернувшись калачиком.

Неожиданно потемнело. Пошел густой крупный снег. Серый привстал, поднял морду к небу, осевшему до земли, и завыл. Столько было боли в волчьем вое, тос-

ки и отчаяния, что парни в теплой избе, наверное, замолчали и задумались. А пожилой человек, поглаживая колючие усы, наверное, сказал что-нибудь о Никифоре. Или ничего не сказал, только поглядел на постаревшего Семена, на притихших ребят и велел им садиться к столу. Ребята ели, а он думал — они проживут другую, лучшую жизнь...

Серый выл долго, может быть, прощался с Никифором, а может быть, жаловался на студеную и голодную зиму. Выбившись из сил, он умолк, позобал холодный снег, покрутился и лег, свернувшись, как волчица. Он сразу уснул, во сне умиротворенно урчал. Наверное, снился ему веселый Никифор, в белой рубахе и в казенных сапогах.

Звякнула льдинка на ключике, Серый вскочил, прислушался и, успокоившись, сладко потянулся. Помахивая тяжелым хвостом, старый волк радовался, что увидел друга, пахнувшего лесными травами, живого и ласкового.

Сквозь снег и густые сумерки пробился осторожный и слабый огонек.

Серый вздохнул и повел семью в осинники, искать заячьи лежки. Чтобы жить — надо было охотиться.

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Глава первая

Все реже и реже попадались им деревни с полосками жухлой, худородной земли. Все реже и реже видели они солнце.

— Куда же мы топаем, Яков Сергеевич? — спрашивал Григорий начальника экспедиции.

— К людям,— отвечал тот.

Но день проходил за днем, и ничего не менялось. Все тот же угрюмый лес, все те же болота.

И дожди, дожди, дожди. С утра неистовые, с ветром и с шумом, днем бусые, нудные. За две недели Григорий привык к ним, утренний дождь называл «атаманом», а дневной — «подкулачником». И вдруг — тихое светлое утро, чистый успокоенный лес. На радостях он свалил в костер все оставшиеся с ночи дрова.

Костер долго шипел, плевался искрами, потом черная куча осела, и огонь рванулся к небу. Стало жарко. Мужики зашевелились, двое поползли спросонья под ноги к лошадям.

— Дуришь все! — заругался Иван Егорович.— Спят люди, а ты без понятия.

— Небо, Иван Егорович, синее.

— Ненадолго... Кашу не забудь согреть, караульщик!

Григорий сказал, что каша согрелась — мужиков можно будить, сунул горсть сухарей в карман и отправился один по грязной надоевшей дороге.

Он шлепал по воде, орал красноармейские песни. Дорога казалась ему сегодня ровнее и суше, хотя кочек и ям было не меньше и версты через две пришлось садиться, выливать из сапог воду.

Портянки сохли, он сидел босой на валежине у дороги и думал, что брать полковника Залесского всего лучше ночью, у костра, навалившись артелью...

Показался обоз. Запахло лошадиным потом.

За последней волокушей шагал, сутулясь, Яков Сергеевич, глубоко засунув руки в карманы выцветшей комиссарской тужурки.

Натянув волглые сапоги, Григорий вышел к нему.

— Как думаешь, Яков Сергеевич, сумею я в Челпановском с десяток парней собрать?

— С Иваном Егоровичем поговори.

— Бука твой Иван Егорович. Мычит да кряхтит, вот и весь его разговор.

— В Усолье ты чем занимался?

— Работал, безбожную пропаганду вел. Здорово я с попами спорил о Христе и разных таинствах. Не было, говорю, Христа! Бабьи, говорю, это сказки, опиум народа.

— А Магомет — тоже сказка?

— Не знаю об нем. Татарский бог, говорят. А как его уязвить?

— Да, был такой, воин во славу аллаха из рода Гашамидов.

— Расскажи! Я здорово на всякую грамоту жадный.

Яков Сергеевич улыбнулся и начал рассказывать. о Магомете.

Помаленьку темнело. Просини на небе заволакивались тучами. Лес мрачнел.

Дождь хлынул с ветром и шумом, тот самый дождь, который не успел их вымочить утром. Откуда-то вынырнул Иван Егорович и увел начальника. Григорий остался один, ругался, отплевывался от дождя, думал: сказку ему рассказывал Яков Сергеевич или в самом деле есть такая земля, горячая, как речной песок летом? И люди на ней другие, небо любят... Он поднял голову, хотел поглядеть на русское небо. Дождь хлест-

нул его по глазам. Он выругался и погрозил кулаком Магомету.

Шаг за шагом, верста за верстой. Дождь все сыпался и сыпался с потемневшего неба. Старая таежная дорога качалась из стороны в сторону, оставляя на поворотах длинные глубокие ямы. Вода в ямах кипела от дождя, а была холодной, как в колодце.

Обоз часто останавливался. Григорий помогал мужикам вытаскивать тяжелые волокуши из ям, поднимал на ноги белолобого мерина. Упрямый мерин ложился через каждую версту.

После обеда дождь стал реже и крупнее и к вечеру стих.

Яков Сергеевич остановил обоз.

Пока Григорий таскал дрова и разжигал костер, мужики распрягли лошадей, начали собираться к огню. Топтались, грели спины, ругали погоду и мерина.

— Убить его мало!

— Не желат мерин на новую власть работать.

— По хозяину...

Пузырилась и шипела каша в котле. Яков Сергеевич помешивал ее оловянной ложкой, хвалил:

— Аромат! Царская, можно сказать, еда!

— Расскажи про этих...— попросил Григорий начальника.— Ну, которые небо любят.

— Не до них, Гриша. Кони из сил выбиваются.

Григорий и сам видел: тяжело лошадям, дрожат они, бедные, от усталости, жалко смотреть. А куда денешься? Надо идти. Осушат болотину — тогда другое дело.

Он так и сказал, что лет через пять все болота осушат и построят настоящую дорогу.

Мужики засмеялись.

— Пуп надорвешь, парень!

— Погинешь.

— Да земля-то ведь наша! — не сдавался Григорий.— Не бросать же!

— Эх парень... От нашей земли, как от хворой бабы, ни тепла, ни приплоду.

— Живут же люди!

— Маются...

Григорий спорил с ними, а сам думал: треснуть бы одного наганом по башке, да нельзя — народ они, и Яков Сергеевич рядом.

Поужинав, мужики ушли поить лошадей. Григорий нарубил мягких пихтовых лап, подсушил их над костром и лег. Ночь навалилась черная, безглазая. Где лес, где небо — не разберешь. Яков Сергеевич кашлял у волокуш, проверял, не лопнули ли веревки на возах, не сполз ли брезент? «Комиссар тоже называется,— ворчал Григорий,— про Магомета знает, а мужики при нем сомневаются, контру разводят».

Иван Егорович принес воду в кожаном ведре, поставил к костру и предупредил:

— Мотри, не лягайся. Прольешь!

Григорий спросил его, есть ли в селе комсомольцы и Советская власть.

— Пятый год в Челпановском одна власть, Мишка Шаруй называется,— ответил Иван Егорович.

Не нравился Григорию суровый и неразговорчивый помощник Якова Сергеевича. С виду медведь и по характеру такой же...

Закачалась и поплыла серая, в черных кочках дорога. «Мишка, значит? Молодой?» — спрашивал, засыпая, Григорий. Окружили его черные лохматые елки и навалились — мокрые, смолистые, пропахшие едким дымом.

Глава вторая

Спиридон Шаруев любил пошуметь, покуражиться, но мужик он был добрый, простой и охотник удачливый. Лет за шесть до германской войны пришел он както с весенней охоты и увидел в улице, напротив своих ворот, белый сруб. Сосед его, Тумак, ставил новую пятистенную избу. Родная изба показалась Спиридону еще темнее, еще неуютнее. По пьяному делу он хвастал: «Тумак супротив меня как лапоть перед сапогом!» Трезвый садился к волоковому окну, глядел на новую избу соседа и думал, что опять обошел его Тумак, обошел не уменьем, а хитростью — на вогульские слезы построил избу.

Продал Спиридон лошадь, залез в долги, а белую пятистенную избу поставил, окна в окна с соседом. Понадеялся на новый путик[1] в верховьях Ижвы, думал вернуться оттуда к рождественским праздникам с со-

[1] Путик — промысловая тропа.

болями. А принес одну куницу да полсотни белок. Посадил его за стол чердынский «благодетель», чаем напоил с кренделями, сладким вином попотчевал и подсчитал должок — сто сорок пять рубликов! Шесть сотен белок без малого по старому счету. Три года надо охотиться, чтобы такой долг выплатить. А семья? Они тоже пить-есть хотят! Мишке девятый год пошел, гляди — ружье запросит.

Стал помаленьку Спиридон Шаруев забывать дедовские обычаи, охотился в чужих угодьях, в чужие ловушки заглядывал. Подкараулили его зырянские охотники, смертным боем били, еле живой в село приполз.

Две недели лечился Спиридон водкой, встал кое-как на ноги и опять убрел в тайгу.

Годы шли. Новая изба потемнела, осели углы. А расплатиться с чердынским «благодетелем» Спиридон не сумел, хотя на охоте себя не щадил, вылезал из лесу худой, обросший диким волосом, до того страшный, что Матрена, увидев его, кричала не своим голосом:

— Чур меня! Чур!

С неделю жил дома, в бане парился, потом убегал по крепкому насту в Низовья — бить лосей, поднимать из берлог медведей, таких же, как сам, худых, очумелых и грязных.

Сосед его за эти годы обнес новую избу саженным заплотом и поставил на дворе два крепких амбара. Слыл сосед кулаком, давал за пушной товар охотникам половинную цену. Зато был под боком, в любое время иди — выручит: и муки даст, и соли. Спиридон ругал соседа «кровопийцем», на волостном сходе, осенью, с кулаками полез на него, а в ларь свой заглянуть позабыл. Стал на охоту собираться, а Матрена в рев:

— Что есть будем с Мишкой? Пять фунтов муки осталось!

Пришлось идти к Тумаку, чуть не в ноги кланяться. Покуражился над ним сосед, отвел душу.

Зиму Спиридон охотился, а весной ушел на заработки.

Матрена с парнем дома остались. За пригоршню муки, за щепотку соли избы мыла соседям, ребят чужих нянчила, на облавные охоты ходила с мужиками верст за семьдесят.

В марте наезжали в село приказчики чердынских «благодетелей» — с хлебом, с солью, с припасами. Мат-

рена получала от кривого приказчика сорок фунтов муки, два фунта соли и поклон от мужа. В иное лето сельские мужики сами спускались до Чердыни. Как-то зашел к ней Сидор Матвеевич, поздоровался, положил узел на стол и сказал:

— От Спиридона гостинцы!

Посылал Спиридон сыну связку кренделей и букварь, а жене непонятную штуку из голубого атласа, аршина полтора в длину. Матрена так и сяк вертела подарок — что за притча такая? Куда бы ее приспособить? Вместо кокошника на голову набросила и спросила Сидора:

— Баско?

Сидор Матвеевич похвалил:

— Снасть подходящая. Чердынские барыни этой снастью титьки подвязывают...

Матрена заплакала:

— Нам есть нечо, а он смешки строит, окаянный!

Через три года Спиридон домой пришел. С новостью: война с германцем идет!

На другой день мужики собрались к часовне, спорили долго, жилистыми кулаками трясли, пока Сидор Матвеевич не надоумил:

— Крестинья родить собралась,— сказал он,— а мы орем. Не дай бог, девка родится...

Поняли мужики, что войны им не избыть, зря глотки дерут, зря руками машут. А дома работа, июль на исходе, пора вешала ставить, снопы сушить.

Приглядывалась Матрена к мужу, гадала: чего это с ним? Как подменили мужика, третий месяц дома живет — и не бивал! Мишка иной раз закричит на нее, Спиридон одернет:

— Не командуй! Мать тебе не прислужница.

А как-то пришел домой, обнял ее, будто невесту, и сказал ласково:

— Трудно тебе, мать! Ох трудно!

Поняла Матрена тогда, что не жилец Спиридон на земле, не добытчик. Так и случилось: с покрова ушел на охоту и не вернулся.

На другую осень Мишка на отцовские угодья собрался. Из села вышел — навстречу старый Тумак.

— На Ижву? — спросил сосед.

Мишка не потаился, сказал, что на Ижву идет, на отцовские старые угодья.

— Ну, мотри! — пригрозил ему сосед и пошел, шарашась, в село.

Два месяца прожил Мишка в лесу, охотился на старых путиках, холоду и голоду натерпелся. И без толку. А весной еще горе — сохатый собаку зашиб. Пришлось Мишке по отцовской дорожке идти, в работники наниматься.

Ушел он летом, посуху. Матрена одна осталась в большой скрипучей избе. Осень и зиму промаялась, в марте пошла к кривому приказчику.

— А ты по чо? — закричал он на Матрену.— Знать не знаем твоего зимогора!

Она вытерла слезы пустой наволочкой и домой отправилась. Еле дошла, а идти-то всего через улицу. До самых потемок просидела на лавке под иконами. С божницы глядел на нее Микола-заступник, черный, как цыган, с недобрыми раскосыми глазами. Родная изба казалась большой и неуютной, как казарма. Она жалела старую низенькую избу с теплой печкой, с косыми оконцами. В такой бы и доживать ей свой вдовий век да богу молиться. Вспомнила еще — новая изба Спиридона сгубила. Так, сидя под иконами, и уснула Матрена.

Утром пришила она к холщовой суме лямку из голубого атласа, мужнин подарок, и пошла просить милостыню Христа ради.

Глядя на заколоченную избу Матрены, охотники еще ниже кланялись Тумаку. А он думал, что конец Шуруям — ни семени, ни племени от них не останется.

Да просчитался...

В восемнадцатом году нагрянул летом в Челпановское Аппога с отрядом. И Мишка с ним, на белом коне. В тот же день согнали охотников к школе выбирать председателя. Поспорили, пошумели мужики и выбрали Михаила Шаруева.

— Без Мишки нам не прожить! — сказал Сидор Матвеевич.

Аппога погрозил Сидору плетью и уехал.

Вечером молодой председатель волисполкома положил на стол справа наган, слева — печать и вызвал старого Тумака.

Тумак в школу пришел, но сдавать хлеб и припасы отказался.

— Ты спроси народ,— сказал он Михаилу.— Как народ решит, так и будет. Нынче народ хозяин.

— Ну, погоди, сволочь! Погоди... Я тебя колупну! — пообещал Михаил на прощанье соседу.

— Голодранец! — отрезал Тумак.

На том и расстались.

Глава третья

Пролетели, каркая, над обозом вороны. Тропа стала суше и шире. Под ногами звонко потрескивали сучья.

«Ну, отмаялись,— радовался Григорий,— обжитые места начались, теперь уж дойдем».

В низких местах дорога опять покрывалась водой, вязли сапоги в болотной жиже и пахло застойной сыростью. Но Григорий не унывал. Хуже не будет, самое тяжелое позади. И приметы успокаивали. Все чаще и чаще попадались им пни с желтыми торцами, срубленные на дрова сушины, клочки сена, повисшие на сизом багульнике. Значит, недалеко жилье какое-нибудь.

К обеду обоз подошел к селу. У заколоченной часовни встретили их две бабы. Молодая смотрела с удивлением, а старуха сердито.

Григорий оглядывал село. Избы стояли приземистые, с большими крытыми дворами. Суковатые заплоты из кругляшей поднимались чуть не до самых крыш и закрывали окна.

Обоз остановился у большой старой избы. Разукрашенные петухами ворота были раскрыты настежь и еле держались на одной верхней петле.

Яков Сергеевич зашел во двор. Мужики остались у волокуш отгонять собак. Григорий ждал: сейчас соберутся люди, обступят их и станут расспрашивать. Но к обозу никто не подошел. Село показалось ему таким же глухим и неприветливым, как надоевший лес.

— Умерли, что ли, все? — удивился Григорий.

— В одиночку живут.

— Скрытники.

— Здесь, парень, так. Што ни мужик — то вера, што ни баба — устав,— объяснили ему чердынские мужики.— Ходи тут с оглядкой!

На крыльцо вышел Яков Сергеевич и позвал:

— Зайди, Гриша.

В избе познакомил с хозяином:

— Сидор Матвеевич. У него и жить будешь.

Хозяин стоял у стола и резал хлеб, прижав каравай к рыжей спутанной бороде.

Григорий поздоровался.

— Садись, молодец, к столу,— пригласил хозяин.

Яков Сергеевич залез в угол, под иконы. Григорий сел с краю. Высокая, в черном платке старуха поставила перед ним чашку щей и ушла на кухню.

— Баба ето моя,— сказал Сидор Матвеевич.— С мирскими не ест, не пьет и шерсти не бьет. Молчальница она у нас, все к смерти готовится. Сорок лет готовится, а я смотрю.

— Даша где? — спросил его Яков Сергеевич.

— За орехами укатила. Прибежит, не сумлевайся. И в ково пошла, задуй ее ветром! Воин настоящий.

Яков Сергеевич улыбнулся, сказал, что помнит Дашу маленькой девочкой в сарафане.

— Все спрашивала меня: «И почто ты, дяденька, такой ледащий, кровиночки в тебе нет?»

Григорий хлебал щи, поглядывал на хозяина. Волосы у Сидора Матвеевича черные, нос сизый, а борода красно-рыжая, как огонь. Пестрый он с виду...

— С Мишкой-председателем Дашка ходит,— сообщил хозяин.— Жду, какова зверя в подоле принесет.

Поужинали и пересели к порогу. Григорий достал кисет.

— Не курят здесь в избах,— сказал Яков Сергеевич.

Григорий встал.

— Подожди, поговорим... Ухожу я завтра, Гриша. С Иваном Егоровичем останешься здесь... Не горячись, приглядывайся к людям.

— Не маленький, с восемнадцатого года мотаюсь по деревням. Всяко бывало! В Куличах, помню, собрал мужиков на митинг, выступаю, а сам думаю: не уйти живым, кулачья много.

— Складно сказываешь, молодец! Послушаю.— Сидор Матвеевич вылез из-за стола, подошел к ним.

— Говорю мужикам: кто сеял больше двух десятин, вставай направо, кто меньше — налево. Бедняков, ясное дело, завсегда больше получается.

— Хитер ты, парень! Хитёр! — засмеялся Сидор Матвеевич.— Мишке, председателю нашему, пара... До германской еще, помню, в Челпановское к нам приехал поп, царство ему небесное. В одну избу сунется — закрыто, в другую — собаки. Бабы его за версту обходят,

старики-скитники чуть не в рыло плюют. Две зимы промаялся батюшка и руки на себя наложил, повесился, царство ему небесное, на сосне.

— Я не поп! Ерунду мелешь.

— Не кипятись, молодец. Наша жизня серьезная. Не девка наша жизня, враз ее не облапишь.

Григорий сказал, что старая жизнь кончилась, Советская власть трудовой народ на светлую дорогу выводит.

— Выводи, молодец, выводи. Я погляжу.

— А ну тя...— Григорий выругался, сорвал с гвоздя фуражку и ушел из избы.

На улице было холодно. Начинало темнеть. Лошадей завели во двор, а волокуши все еще стояли у ворот.

Григорий спустился с крыльца, увидел, что две волокуши разгружены. Мужики, окружив Ивана Егоровича, требовали чаевые. Он объяснил им, что в контракте чаевые не записаны.

— А ты плюнь, Егорыч, на контракту,— уговаривали они его.— Плюнь, сделай милость!

Иван Егорович пошел в избу за начальником. Один из мужиков сказал, оправдываясь, Григорию:

— Опять же мы трудовой елемент.

Увидев начальника, мужики сняли шапки. Он заплатил им за разгрузку, сказал, чтобы запрягали пораньше, и отпустил. Они гурьбой пошли к Тумаку.

Яков Сергеевич глядел им вслед, ежился на холодном ветру, поднимал плечи.

— Боишься — загуляют? — спросил его Григорий.

— Устали они, Гриша. Ты с хозяином не спорь. Человек он верный. Ну, а думать по-твоему он не обязан, сам понимаешь.

— Иди отдыхай! Иди! — гнал начальника Иван Егорович.— Выспаться тебе надо.

Яков Сергеевич ушел в избу. Григория Иван Егорович повел в клеть, перевешивать муку и товары.

Глава четвертая

Михаил сидел на пороге своей зимовки и ждал, когда потухнет над лесом кроваво-красная полоса зари.

Он всегда уходил из зимовки в сумерках, пробирался до засады осторожно, звериными тропами.

Заря погасла, запахло сырой осокой. Он закрыл

дверь, спустился в лог, перешел вброд неглубокую речку... Две ночи просидел он на рассохе[1], сегодня третья.

В лесу темно, как ночью. Непривычному человеку и десяти шагов не пройти, а ему лесные дороги знакомы. Где яма, где поворот, где валежина ощетинилась сучьями — он знал с детства. Нужда гоняла его по таежным чащобам.

Шел он быстро. Прошел версты полторы, остановился. Торопиться некуда. Рассоха рядом. Он поглядел на белесое еще небо и сел курить. Когда совсем стемнело, прокрался в елушник и залег на всю ночь. Лежал, думал, что рассоху старый Тумак не минует, отсюда на три стороны дороги идут — и на Ижву, и в скиты, и к зырянам. «Ну, тряси пестерь свой,— скажет он Тумаку,— покажи, што недобитым офицерам понес».

Думы думами, а ночь подоспела холодная. Зипун у Михаила городской, на рыбьем меху. Опять мерзнуть! Воюет он с Тумаком не один год, а придавить не может. Вывертывается старый, политику соблюдает, нос держит по ветру: в девятнадцатом раздал хлеб и припасы охотникам, сам лесовать подался, в двадцатом сына женил на бедной девке. Михаил шумел на собрании, рубаху рвал, да что толку. В тайге тот хозяин, у кого хлеб и порох. Половина села в неоплатном долгу у Тумака, кормильцем и благодетелем его величают...

Начали мерзнуть руки, Михаил грел их под рубахой, боялся: онемеют пальцы — и курка не взведешь.

В полночь заухал филин. Пестрый заяц выскочил на лунную полянку и сразу пропал, как в землю провалился.

Перед рассветом стало еще темнее. Даже поляну на рассохе не видно, пройдет рядом человек — и не заметишь. Михаил вылез из елушек, только сел на палую осину, услышал: идет кто-то по лесу! Сполз он с осины, прижался к земле... Неужто Тумак? Не зря, значит, три ночи мерз.

Начало светать, елки нехотя расступались, освобождая поляну. «Поблазнило мне»,— решил Михаил, хотел опять сесть на осину... и увидел человека. Человек, не таясь, выходил на рассоху.

— Стой! — крикнул ему Михаил.— Стой, говорю!

---

[1] Рассоха — развилка дорог.

Человек сначала припал, потом вскочил, бросился бежать, но не в лес, а по дороге к селу. Михаил догнал его, ткнул кулаком в спину, придавил, стукнул разок о крепкую дорогу — и узнал Пильку-зырянина.

— Вставай, дурень!

Пилька отбивался руками и ногами, ругал его разбойником и татем.

— А ты не броди по ночам,— оправдывался Михаил.— Ночь ведь, личность не разберешь.

Пилька попрекнул его председательством и, охая, поднялся.

— Жив, ну и ладно,— сказал ему Михаил.— Куда собрался?

— Советская власть называешься,— заныл Пилька,— налетел, как тать в нощи, башку расшиб. Как есть разбойник.

— Замолчи, говорю, и отвечай на вопросы! Куда идешь? Ну!

— Комиссар Морозов в село пришел. С хлебом, с припасами, как в позапрошлом годе.

— Не врешь? Смотри у меня!

Михаил ждал экспедицию позже, по снегу.

— Ей-богу, Миша...

— Я тебе не Миша, скитский угодник.

— Истинно говорю, Михаил Спиридонович! Истинно.

Пилька стал рассказывать, что отцу Сафронию видение было, сама богородица объявилась в сиянии. Михаил не стал слушать придурка, заторопился в зимовку.

В густом лесу стояли еще предрассветные сумерки, а в прогалинах и на полянах трепетал синий утренний свет.

Отмахиваясь от елок, ныряя под вереса, Михаил шел по знакомой дороге ходко. «Попляшешь у меня, старый! — грозил он Тумаку.— Теперь и мы с хлебом! Не пропадем!»

Только у лося дорога прямая, а малые звери прямых троп не любят. Охотники тоже. Пока он до речки добирался, успел и Тумака придавить, и на Даше жениться. «Боевая будет жена,— радовался Михаил будущему своему счастью.— Ядреная, и в городе с такой не стыдно». Лесом шел уверенно, думал гладко — как катыши катал из хлебного мякиша. А стал из лога подниматься — вдруг холодом обдало всего, затряслись руки. Подошел он к зимовке, оглядел запор на дверях

и понял: был кто-то! Успел уйти или не успел? На всякий случай достал из кармана наган, другой рукой нащупал деревянную скобу и рванул дверь...

Глава пятая

Проснувшись, Григорий увидел гладкий потолок, усеянный золотыми тараканами... Всю ночь полз он по зыбкой и скользкой тропе, на поворотах тропа поднимала змеиную голову и стряхивала его в болото. Он задыхался в болоте, кричал, а голоса своего не слышал. И люди не слышали, бежали мимо него, по своим делам.

В избе светло, надо вставать, а вставать не хотелось. Давно он не спал в тепле, на сухой постели.

Свалив с себя тяжелый тулуп, лег грудью на брус и огляделся. В избе вымыто было, прибрано. Блестела столешница, блестели крашеные лавки и пахло дресвой. У окна сидела девушка, одна, пригорюнившись. «Даша,— догадался Григорий,— на отца похожа, белобрысая».

— Выспался, гостенек? — спросила Даша.

— Поспал...

— Вставай тогды, есть будем. Давно тебя жду. Да спал больно сладко, пожалела будить.

— Уехали?

— Про начальника спрашиваешь? Давно. Спала я еще.

Григорий слез с полатей, умылся и сел за стол. Она принесла ему вчерашних щей, поставила плошку с хлебом и ушла к окну.

— А ты чево? Давай вместе.

— Ела уже, не потчуй.

Он ел, а Даша сидела на лавке у окна, ждала кого-то или грустила. «Зря отец зовет ее воином,— подумал Григорий.— Тихая она, молчаливая».

— Тоже, поди, вогулов любишь? — спросила Даша.

Он ответил, что и вогулы — люди, только раньше их купцы вином спаивали, обманывали всяко.

— Невидаль какая. Срам слушать! — Она принесла кружку теплой браги.— Пей! Чего уставился? Так я, промеж себя балабоню.

— Что Яков Сергеевич наказывал?

— Некогда ему с нами, темными, разговаривать. Одно у него на уме — вогулы! А я-то ждала, ждала...

Григорий отодвинул пустую кружку, постучал пальцами по столу, как Яков Сергеевич, и спросил:

— Учиться думаешь?

— Сдурел! Замуж я выхожу.

— Выходи, мне чево... Председатель ваш где живет?

— Пойдем, покажу.

Набросив на голову платок, Даша вышла с ним на крыльцо.

— Вон, видишь, две кедры стоят? Палку возьми, чужих наши собаки не любят.

Над селом плавали рыхлые серые тучи. Порывистый ветер поднимал с земли сухие листья, и они долго кружились над дорогой.

Изредка проглядывало белесое солнце, но и оно не радовало, казалось ненадежным.

Грустной была безлюдная улица. Серая трава, серые заплоты. Только высокие кедры темнели перед председательской избой. Чистые, спокойные, они стояли у ворот, как часовые. Григорий прошел под ними, открыл скрипучую калитку.

К крыльцу были настланы жерди, перед покосившимися ступеньками валялся сухой пихтовый веник, наломанный еще с лета.

В переднем углу сидел за столом худой узколицый мужик, в белой, давно не стиранной рубахе. Григорий поздоровался с ним.

Узколицый оказался учителем. Звали его Владимиром Андреевичем. Он сказал, что хозяина нет и, когда будет, неизвестно.

— Борется Михаил Спиридонович! Извините.

Григорий сел на лавку, поближе к столу, и стал расспрашивать, как живут люди в селе, что говорят, о чем думают.

— Кто его знает, бороды у всех,— отвечал неохотно учитель.

— Ты же молодой, грамотный!

Учитель улыбнулся, поднял над столом белые руки и замолол чепуху, что все пройдет, все минет, все будет невесомо, что ищет он в этом мире прекрасных и вечных начал.

Григорий встал и надел фуражку.

— Куда вы? — засуетился учитель.— Я вам почитаю. Хозяин придет...— Он схватил с подоконника книжку.— Послушайте: «Здесь тишина цветет и движет тяжелым

кораблем души, и ветер, пес послушный, лижет чуть пригнутые камыши, здесь в заводь праздную желанья свои приводят корабли, и сладко тихое незнанье о дальних ропотах земли...»

Григорий разглядывал грозные плакаты Революции, развешанные по стенам, и думал, что зря хвалили учителя в Усолье, еще в помощники ему прочили.

На почерневшей от копоти божнице вместо икон стояли в ряд знакомые книжки, слева от них висел бородатый Маркс в рамке, справа — молодой красноармеец ковырял штыком империалистическую свинью.

Учитель читал про жар-птицу, у которой перья горят и не сгорают. Глаза его, большие и грустные, как у роженицы, обволакивались слезами.

Григорий понял, что ничего толкового он не услышит, и ушел на улицу.

Ветер стал крепче, с шумом рвал последние листья с берез, тряс черемухи. Григорий глядел на безлюдную пустынную улицу, на темные заплоты, на притаившиеся за ними дома, вспоминал веселые усольские улицы, красный флаг над белым крыльцом. Вспоминал собрания, бурные сходки, дружков своих. С друзьями-товарищами, думал он, и бороться веселее, и жить проще...

У ворот его ждал Иван Егорович, в начищенных сапогах, в новом суконном костюме.

— С учителем беседовал? — спросил Иван Егорович.

— А ну его к лешему! С ума спятил или притворяется, не поймешь!

— Пуганый он, стрелял в него Степан за Марию.

— Любовь, что ли? Как думаешь?

— Кто его знает. Старики в таких делах не отгадчики.

— А ты чего вырядился?

— В гости идем. К охотникам или торгашам — хоть как назови, не ошибешься. Я рядиться буду, а ты приглядывайся, учись. Поначалу зайдем к конкуренту, Чучканов ему фамилия, а по прозвищу он Тумак.

Глава шестая

В сенях их встретила бойкая маленькая старушка и запричитала:

— Заходите, гости дорогие. Заходите. Обрадуйте хозяина.

В избе пахло топленым маслом и какими-то травами, икон в переднем углу не было. «Голбешники»,— догадался Григорий.

Они сели на лавку, старушонка пошла за хозяином.

Григорий разглядывал избу богатого перекупщика. Полати в пол-избы, кровать покрыта пестрым холщовым одеялом. Вдоль стены широкая лавка, над лавкой — пестери, капканы и разная лопоть, как у всех. Только нет у охотников большого посудного шкафа в переднем углу...

Из кухни вышел лысый старик в длинной холщовой рубахе, в стоптанных бахилах, покосился на Григория и спросил Ивана Егоровича:

— Пива попробуешь, начальник? Аль откажешься?

— Угощай!

— Эй, Марья! — закричал старик.— Пива неси!

Пересели к столу, из кухни вышла черноволосая девушка. Она поставила берестяной туес на стол и встала около хозяина, прямая и тонкая, как свеча. «Ну и красавица,— удивился Григорий,— в жизни не видел...»

— Иди к бабам,— приказал девушке хозяин, взглянув на покрасневшего гостя, и стал разливать пиво в высокие деревянные кружки. Руки у него были толстые, темные, как старые корни.

После второй кружки хозяин вытер рукой мокрый рот и наклонился к Ивану Егоровичу.

— Цену свою говори, начальник.

— Цена прежняя. Припасы в долг. Хлеб, соль на семью, как было.

Григорий сидел именинником, улыбался, глядел на блестевшую плешь хозяина. Крепкое пиво разливалось по телу приятным теплом, голова кружилась... «Дочь она или внучка старому Тумаку? — думал он.— Синеглазая...»

— Мало даешь припасов, начальник. Прибавь,— уговаривал Ивана Егоровича хозяин.— Разве за мной пропадало?

— Мало, говоришь? Три года тебе с сыновьями лесовать — и еще останется.

— Всякий Демид себе норовит. Не сумлевайся, пушнину получишь сполна.

— Пушнину тебе охотники принесут.

— Ха-ха-ха! — засмеялся старик, качаясь на лавке.—

Али ты меня за охотника не почитаешь? Забыл, вместе на зверя ходили?

— Ну, прощай. За угощение спасибо.

Заскрипел стол. Иван Егорович положил на столешницу руки, хотел встать.

— Пивка! Пивка испейте, гости дорогие,— засуетился старик.

Как дошли они с Иваном Егоровичем до дому, Григорий не помнил.

Проснулся он поздно. Старики уже сидели за столом, ужинали.

Даша подала ему на полати братину квасу и, посмеиваясь, спросила:

— Болит башка-то?

— Болит,— сознался Григорий.

— Ну, выпей тогды. Да спускайся, ждут тебя мужики.

За столом его встретили дружным смехом. Сидор Матвеевич заливался раскатисто и звонко, как молодой, тряс рыжей бородой, размахивал руками. Иван Егорович гудел басом и спрашивал:

— Не устоял, Григорий? Не устоял, значит?

Хозяин хвастал, что челпановское пиво не чета городскому, на лесных травах настояно, что подходить к нему надо исподволь, без привычки не одолеть.

— Привыкнет,— защищал Григория Иван Егорович.— Нам еще долго по гостям ходить.

В сенях что-то упало, дверь открылась, в избу ввалился широкоплечий парень в легком городском пиджаке, в старых порыжевших бахилах и в шляпе.

Даша взвизгнула и убежала на кухню.

Не снимая шляпы и не здороваясь, парень подошел к столу и спросил Ивана Егоровича, когда тот передаст муку и припасы Советской власти.

— Яков Сергеевич для меня Советская власть,— ответил ему Иван Егорович.

Парень повернулся и пошел к дверям, у порога остановился, сказал:

— Помощник твой пусть завтра придет ко мне.— И вышел, хлопнув дверью.

— Каков у меня зятек! А? — Сидор Матвеевич даже привстал.

Глава седьмая

На другой день с утра Григорий отправился к председателю. Договорились они быстро. Григорий показал ему усольский мандат, в котором уездные власти предписывали председателю Челпановского волисполкома содействовать подателю сего в розыске неозначенного лица. Григорий объяснил ему, что «неозначенное лицо» — полковник Залесский, матерый белогвардеец, каратель и сволочь.

— Офицерья недобитого много в скитах, знаю. А про полковника такого не слыхал. Нам, главное, Тумака подстеречь! Он их всех кормит.

Григорий рассказывал, как полковник из соликамской тюрьмы утек, как дружка Семена тяжело ранил на переправе, у Вижаихи.

А Михаил твердил одно:

— В Тумаке все дело! В ём, Гриша. Ты Ивану Егоровичу скажи: продаст хлеб Тумаку — пусть на себя пеняет.

— Дочь у него красивая.

— У Тумака? Не дочь она ему, сноха будет. Степанова молодуха. Марией зовут. Нездешняя она, с Низовьев. Из бедной семьи, а шалая. С березами обнимается... Давно я слежу за Тумаком, да хитер больно, осторожен. Редко сам в скиты ходит. Все село у него в руках. Есть кого послать.

На прощанье Михаил сказал Григорию, чтобы заходил, наведывался.

— Есть кой-какие сведения...

Понравился Григорию челпановский председатель. «Крепкий парень,— думал он, шагая по селу,— врагам спуску не даст». И пустынная улица показалась ему приветливее, и хмурое утро не злило. С осени чего спрашивать! Сыро, ветрено, на то и сентябрь.

Он прошел мимо распахнутых ворот Сидора Матвеевича, у последней избы остановился, стал вспоминать: где живет Тумак?

Во дворе за старым покосившимся заплотом звенела и визжала пила.

Григорий пнул ворота, зашел. Невысокий мужик, без шапки, в длинной синей рубахе, пилил дрова, пилил один, двуручной пилой. Увидев его, мужик бросил пилу, утерся рукавом и закричал:

— Заходи, покурим!

Он подтолкнул Григорию еловый кругляк, сам сел на такой же и сказал:

— Митькой меня зовут, Ереминым...

— Меня Григорием...

— Знаю! — закричал мужик, хотя сидели они рядом.— Мы все знаем! У нас мышь бежит да оглядывается.

Митька начал рассказывать, как угощал Якова Сергеевича старой сохатиной.

— Ешьте, говорю, дорогие гости, коли зубы не жалко!

Григорий слушал, посмеивался. Веселый мужик этот Митька. Молодой, лет тридцать ему с небольшим, борода легкая, светлая, волосы кудрявые, сто лет не чесаные, а глаза голубые, с хитринкой. Одеть такого получше да помыть — писаный красавец будет.

— Ты чего это один взялся? — спросил его Григорий.

— Баба у меня на сносях. Вот оно дело какое...

— Давай помогу,— предложил Григорий.

Митька охотно согласился.

Пилили часа три, без отдыха, толстые смолистые кряжи. Григорий давно сбросил пальто и фуражку, а гимнастерка все равно промокла от пота, хоть выжимай.

— Ну тя к лешему! — закричал Митька.— Заморился я совсем. А ты, Гришуха, пилить ловок! Молодец ты пилить!

Митька сходил в избу за квасом.

Они напились и сели курить. Григорий стал осторожно расспрашивать его о скитниках, о белогвардейских офицерах.

Митька со всем соглашался:

— Есть такие у нас! И скитники есть, и офицеры. Раз я иду капканы ставить. Снежок еще мелкий, рассыпчатый. Тропинка узенькая, туды-сюды качается. Вдруг навстречу мне енерал на белой лошаде...

— Генерал? Ты что, пьяный был?

— Может, и не совсем енерал, а поп. Кто его знает, на лбу не написано. Я, значит, в елки запал, прижался. А он как заорет на весь лес: «Выходи, Митька! Мать такую... Не таись от начальства! Озолотю, кричит, варнак ты такой-сякой, эдакий!» Нет, думаю, меня не ульстишь. Другого кого золоти, а я лучше капканы на ли-

сиц буду ставить. Я без енералов могу. Мне начальство не нужно ни худое, ни доброе. Думаю себе едак, а сам от енерала в лес пятюсь. Тем и спасся.

Посмеялись, допили квас. Митька принес жердь, подкатили последний кряж к козлам.

— А полковник тебе не попадался? — спросил Григорий.

— Как же! — Митька бросил жердь.— В прошлом году было, выхожу на елань, за Поженками...

— Только не ври. Я ведь серьезно спрашиваю. Прячется тут у вас один. Зверь, белогвардеец. Сколько он рабочего народа загубил...

— Поймать хочешь?

— К слову пришлось. Чево я один сделаю, без охотников? А вы терпите их, кормите, поди, еще.

— Мы терпеливые, в лесу живем.

Держась за пилу, Митька рассказывал, как ходил целый месяц за сохатым, как сохатый, не выдержав преследования, сдался, лег брюхом на снег и по-собачьи пополз к нему. Митька снял ремень, накинул ему на рога и повел домой, придерживая свободной рукой штаны...

— Опять врешь. Давай лучше пилить.

Во двор вошел приземистый белобрысый мужик без шапки, новый полушубок нараспашку. Митька бросил пилить, разогнулся.

— Тятька тебя зовет.

— Видишь, работаю, Степа.

— Мотри, дело твое.— Поскрипывая новыми сапогами, мужик пошел к воротам.

— Сволочи! Енералы на мою голову! — Пиная кругляши, Митька бегал вокруг козел.— Должен я Тумаку, кругом должен!

Побегав, успокоился и взялся за пилу. Но, дернув два раза, бросил.

— Пойду я, Гришуха...

— Да плюнь ты на Тумака! Допилим, тогда и пойдешь.

— Тумак вытрется, а я с голоду околею. Надо идти, раз зовет. Ты, Гришуха, душу-то не раскрывай перед каждым. Сволочи мы!

Глава восьмая

Охотники готовились лесовать: спускали с конюшен трехсаженные нарты, катали дробь, чинили обутки.

Бабы сушили сухари.

Иван Егорович ходил «по гостям». Григорий с утра до вечера вешал муку, соль, свинец. Иной раз они вместе шли к охотникам. Принимали их по-разному: в одной избе радушно, в другой — недоверчиво. Но поили везде. Григорий старался много не пить, приглядывался к людям. Чужих он не встречал, но они были. Хозяева держались с ним настороженно, прятали глаза, когда он заговаривал о скитниках.

Однажды застали они худую глазастую старуху в большом черном платке. Платок под квадратным подбородком туго заколот булавкой, лицо желтое, сморщенное, как лежалый огурец. Старуха тихо сидела на лавке в заднем углу, положив на колени руки.

— Старица,— шепнул Григорию Иван Егорович и поздоровался:

— Анфиса, здравствуй!

— Прости, Христа ради, и благослови,— ответила старуха по-кержацки.— Все ходишь, Иване?

— Кормить надо охотников. А ты в скитах, Анфиса?

Старица ему не ответила. Он постоял над ней и ушел к столу, торговаться с хозяином.

— Родные у тебя есть? — спросил Григорий старуху.— Где живешь-то?

— Братья и сестры, родимый! Братья и сестры.

— Далеко шла? Устала небось?

— Крестителя помнила, родимый! Крестителя.

Подошел хозяин и увел его к столу.

— Дома — как хочешь, товарищ, а в гостях — как велят,— сказал он Григорию.

Раза три Иван Егорович уезжал на Одины. Григорий до обеда отвешивал охотникам хлеб и припасы, с полудня закрывал клеть на замок и шел к Михаилу. Встречала его Матрена Ильинишна, не похожая на сына ни видом, ни характером. Ходила она неслышно, всех слушала, со всеми соглашалась и поминутно крестила беззубый рот.

В последний раз Григорий застал ее на коленях. Она молилась. На божнице перед иконами горела лампада, книжки валялись на полу. Увидев его, старуха до того

испугалась, что не могла встать. Подползла к Григорию и стала просить:

— Не говори ему! Не говори, Христа ради!

Ушел он от нее с тяжелым сердцем, долго бродил по селу, вспоминал о своей матери. Не такая она: брат в окружкоме работал, целым краем командовал, а сапоги в сенях снимал...

В белом полушубке шла навстречу Степанова молодуха. Григорий свернул с дороги, подошел к чьим-то воротам, взялся за кольцо. Она прошла, он опять вышел на дорогу. «Еще подумает: Степана боюсь!» От стыда и обиды даже жарко стало. «Черт ее носит!» — выругался Григорий.

В избу он не зашел, открыл клеть, сел на мешки, думал, без причины радуясь, о Степановой молодухе, сочинял встречи с ней, будто случайные, и посмеивался над собой: «С ума сошел! Чужая баба, почти незнакомая».

Неожиданно появился Михаил и повел его к Улебу Захаровичу.

— Ты Улеба уважь. Пролетарский мужик. Тумака больно не любит.

Старый охотник встретил их просто: не хитрил, не изворачивался.

— Яков Сергеевич от голодной смерти меня спас в восемнадцатом,— сказал он.— Што добуду — все ваше. Знатную собаку я нынче купил.

Он угостил их пивом, выпил сам и разговорился. Стал вспоминать старину: ругать ее не ругал, но и не хвалил, как другие. По его словам, в старое время зверя и птицы в тайге было невпроворот. И зверь был самостоятельный, серьезный был зверь...

— Дед мой, ребятки, первую белку в лузан[1] не клал, оставлял лесному хозяину.

— Ты про старика расскажи,— попросил Михаил.— Который свинец принес.

— Можно,— согласился Улеб.— Но давно это было, шибко давно. Пришел к нам в село старик. Седой, волосатый, не то колдун, не то схимник. Собрались мы к часовне на диковинного старца поглядеть. Поклонился он и говорит: «Недолго мне жить осталось, люди. Примите, Христа ради, похороните по крестьянскому обы-

[1] Лузан — охотничья одежда с большим карманом.

чаю». Молчат, помню, охотники, думают. У всякого в избе хлеба нелишка. Свои старики — обуза. Хоть и древен старец и умирать грозится, да кто его знает? Скрипучее дерево дольше живет. А год выдался тяжелый. Бобра давно выбили, белка ушла, за куницей с двумя собаками неделю ходишь. Всякий и думает: чем платить купцам-перекупщикам за хлеб, за соль, за припасы? Уж шел бы лучше старец в тайгу да и помирал себе на здоровье... Видно, понял старик, что не домой пришел, достал из-за пазухи белый камень, поднял его над головой, людям показывает. «Уж не бить ли нас собираешься, старый?» — посмеялся кто-то. «Нет,— говорит,— не собираюсь. Хотя в молодости и бивал дураков, не скрою». Оказалось, не с пустыми руками он к нам пришел, есть чем заплатить ему и за хлеб-соль, и за могилу. Будто рядом с избушкой его свинцовый камень объявился. И тово камня на тысячу лет хватит. Не верим мы. Белый камень разглядываем: кто на зуб пробует, кто как... Старик в сторону отошел: дескать, глядите сами, врать мне перед смертью резону нет. Пошумели, поспорили, помню, мужики и решили: послать с ним двух охотников. Пусть он охотникам место укажет. Если правду говорит — тогда миром кормить старика до смерти и похоронить по крестьянскому обычаю. Ходили охотники без малого месяц, принесли фунтов тридцать свинцового камня. Не обманул старик, довел, а обратно идти у старика сил не хватило. Они похоронили его у Белых Камней, по крестьянскому обычаю. Большой сосновый крест поставили на могиле. Сколько охотников побывало там в старинные годы! Сколько бедняков только и держалось даровым свинцом! А любопытных купцов-перекупщиков на той дороге пуля ждала, тяжелая, из свинцового камня. Шли годы, ребятки, зарастали лесные дороги, умирали старые охотники. Молодые забыли дорогу к Белому Камню. И лежит, ребятки, великое богатство по сю пору в тайге без пользы, как заколдованное...

Домой Григорий пришел затемно. Светец уже зажгли. Сидор Матвеевич сидел за столом, посмеиваясь, слушал, как ругаются бабы на кухне. Даша спорила с матерью, кричала, что не хочет в девках сидеть, за Мишку-председателя хоть убегом, но выйдет.

Иван Егорович босой стоял у рукомойника и выжимал портянки.

— Ты где бродишь? — спросил он Григория.

Григорий ответил, что был у Улеба Захаровича, сказки слушал.

— К Улебу надо. Первостатейный охотник. Про Крестинью я совсем забыл, беда прямо! Яков Сергеевич наказывал сходить к ней непременно. Сходи завтра, поговори с бабой. Скажешь, чтобы мешок под муку взяла.

Под дождем да на ветру Григорий Улебову сказку помнил, а согрелся — и забыл. В тепле о другом думалось... Будто в Усолье он, в окружкоме у брата. За красным столом люди сидят, смотрят на него, ждут. Григорий докладывает, что задание выполнено, матерый враг трудового народа полковник Залесский живьем взят...

Глава девятая

Слышала Крестинья, что в село обоз пришел, что у Сидора Матвеевича остановились советские торговцы, но идти за хлебом боялась. Пока хозяин на печи кашлял, брала она в долг и хлеб, и сахар у них, все надеялась, что встанет ее охотник, лесовать будет. А как похоронили хозяина — и руки опустились. Спасибо, хоть мясо приносят охотники. Мяса еще на неделю хватит, а соли щепоть осталась, два раза щи посолить.

Только накинула она платок на голову, Анфиса в избу зашла.

— Куда собралась, Крестиньюшка?

— К торговцам, матушка Анфиса. Хочу ради Христа соли у них попросить. Одна щепоть соли осталась. Комиссар городской — доброй души человек. Он не откажет, пожалеет ребят моих.

— Опоздала, Крестиньюшка. Нету его в селе, комиссара-то. Говорят, дальше ушел. Не то к вогулам, не то к зырянам направился. За него тут антихрист один делом правит. Комсомолец зовется. От такого и милостыню взять грех.

— Господи, как жить будем!

— Душу надо спасать, Крестиньюшка. Плачет душа-то, слезами обливается, тяжело ей, горемычной. Помолимся, Крестиньюшка, припадем к господу.

Упала Крестинья на колени рядом со старицей, кладет земные поклоны, просит господа спасти ее от сетей антихриста. Да разве спасешься от дьявола? Слуги его вездесущи: в лесу — леший диким голосом кричит, в

зыбуны манит, в бане — банный только и ждет, чтобы християнин в третью перемену мыться пошел, душеньку свою загубил, а тут еще комсомолец объявился. Лицом, говорят, чист, как ангел, а душа у него антихристова.

Голос у Анфисы напевный, ласковый. Про Окулю старица рассказывает, что приняла она венчик мученический, спасла душеньку. Не пила, не ела сорок ден, от грехов мирских очистилась, лежала в гробу счастливая...

Ушла Анфиса-старица, а Крестинья на полу осталась лежать. Ребята тоненько ревут, за юбку тянут, а ей кажется, будто ангелы в серебряные трубы играют. Забыла она и нужду, и голод, легко стало на сердце. Мужа увидела: сидит он за столом веселый, горячие щи хлебает. Она рядом, к плечу прижалась, счастливая. А потом будто весна началась, теплые ясные дни. Увидела она себя молодой, среди подружек на зеленой лужайке. Вдруг старец Сафроний откуда-то вышел, к ним идет, страшный, борода до колен. Девки в него желтыми цветками бросаются. Боится Сафроний цветов, отмахивается, пятится к лесу, трясет головой, как мокрый пес... И сразу темно стало, закружилась голова, и чувствует Крестинья, будто валится в яму. Стены у ямы холодные, гладкие, ухватиться не может, и воздуху нет, дышать ей нечем.

Очнулась Крестинья, а встать не может — руки и ноги тяжелые, будто пудовые гири на них висят. Открыла через силу глаза, огляделась: в своей избе лежит, на лавке, а над ней Мария стоит, Степанова молодуха. Глаза у Марии большие, темные, как озера глубокие.

— Поешь, голодная ты! — Мария помогла ей сесть на лавку, сунула в руки ломоть хлеба.

Поела она хлеба, выпила теплой воды и про ребят вспомнила. Тишина в избе, одни тараканы шныряли в пазах, осыпая на пол сухой мох. Огляделась, ребят увидела за столом. Подкармливала ребят Степанова молодуха, а все равно не любила ее Крестинья, знала, что красивые бесу служат.

— Экспедиция пришла,— сказала Мария.— Сходила бы ты к ним.

— Не надо мне ихнева хлеба! — закричала на нее Крестинья.— Не возьму хлеб от антихриста!

— Иван Егорович свой человек, охотник...

— А другой с ним? Знаю, я все знаю! Душеньку погубить легко.

— Ребят пожалей, Крестя!

Она хотела ответить Степановой молодухе божьим словом, но не успела. В избу ввалился парень с мешком муки.

Парень свалил мешок у порога, вытер фуражкой потное лицо и сказал:

— Муку принес. Три пуда. За мелочью сама придешь к нам.

Глава десятая

Даша готовилась к свадьбе.

Фекла Петровна винила во всем хозяина, не разговаривала с ним, совала чашку щей и отворачивалась.

Сидор Матвеевич пугал ее:

— Придется нам теперя, Свекла Петровна, старые иконы из избы выносить и портрет Мишки-председателя на божницу ставить.

— Бог не допустит,— шептала хозяйка.

— Поглядим.

Пол в избе выскоблили добела и настлали половики. Сапоги приходилось снимать в сенях. На стол подавали солонину, черствый хлеб стучал о столешницу, как кость. Сидор Матвеевич говорил, что началась «барская жизня».

Вечерами в избу сходились девки, подружки Даши. Они садились с прялками на лавки, на тюрики и пели про «девичью долю — злую неволю». Григорий слушал девичьи песни и думал, что Дашу никто не неволит, сама идет. А мать совсем извелась, высохшей тенью по избе бродит.

Как-то собрался он к Митьке в гости. В избу ввалились девки, за ними вошел учитель и сел у порога.

— Хозяина не жди,— сказал ему Григорий.— Уехали они с Улебом.

— Я так, песни послушать. Грустные песни, знаете.— Учитель вздохнул.— Как Мария поет! Как поет! Красавица...

Григорий сел на лавку, не раздеваясь и не снимая фуражки. Учитель поглядел на него с удивлением, но ничего не сказал.

Они сидели молча бок о бок, слушали девок. «Не

видать мне солнца красного, не плясать весной с подружками»,— пели они.

Мария пришла тоже с прялкой, сняла белый полушалок и потерялась среди поющих подружек.

Без него ль то мне тошнехонько,
Без него ль то мне грустнехонько...

Темнело. Окна стали серыми, будто завесили их неотбеленным холстом. Даша зажгла лучину и воткнула ее в железный светец.

Срываясь с лучины, длинные желтые капли падали в осиновое корытце с водой.

Мария подвинулась с прялкой к свету. Девки пошептались с ней. Она встала, оправила черную кофту и запела:

Сыну чужого отца говорю:
— Муж дорогой, не надо тебе
Крепкой жерди —
Словом легким,
Как лебяжий пух,
Ты меня выкорчевал...

Григорий слушал незнакомую песню, глядел на Марию. А она, вытянувшись, закинув голову, ласково жаловалась кому-то.

Ты унес девичество мое,
Запахнувши в одежду свою...
На своих коленях унес,
Прижимая.
На губах своих,
Подувая.
На ладонях тяжелых,
Играя...

Поет Мария, слова выговаривает четко, понятные слова, русские, а напев чужой, дикий. Так поют, наверное, вогульские девки, качаясь перед чувалом, жалуются своему богу...

Ты развеял по лесу
Глухому
Мою радость,
Мое счастье.

Мария села. В избе стало тихо. А учитель все еще тянул шею, как гусь.

Ветер стучал в окна. Незамазанные стекла звенели. «Хочет меня мамонька замуж выдать,— запели девки,— за того за детину недоростка...»

Григорий не слушал их, глядел на Марию. Лицо у нее белое, а глаз не видно — лучина неярко горела.

— Пойду я,— сказал он учителю.— Душно что-то мне, и сердце давит...

Ветер как будто ждал его, окатил холодом, хлестнул по лицу мокрыми листьями и сорвал фуражку. Григорий успел схватить ее и, пятясь от сумасшедшего ветра, укрылся за избой.

Стучали и визжали ворота, бились о заплоты черными крыльями черемухи. Прижавшись к теплой стене, он ждал Марию, хотел доказать ей, что не боится ее Степана.

Она вышла одна. Прикрываясь от ветра прялкой, побежала. Мелькал в темноте белый полушалок.

Григорий догнал ее и встал на дороге. Мария узнала его, остановилась.

— Чего тебе? Смотри, ветер какой!

— Поговорим.

Она неожиданно засмеялась, схватила его за рукав и потащила к чужим воротам.

— Ну, говори!

Григорий сказал ей, что после такого ветра погода обязательно выправится, дожди кончатся, выглянет солнце.

Мария молчала.

Он сказал, что любит слушать песни, и тоже замолчал.

— Так и будем стоять? — спросила она.

— Красивая ты.

— За красоту и Степану отдали. Я пойду, отпусти руку-то, раздавишь.

— Я с тобой! Вместе...

Мария засмеялась.

— Смешной! Куда вместе-то? В лес только.

Она ушла.

Григорий остался стоять под чужими воротами, не понимая, зачем он бежал за ней, зачем неподходящие слова говорил, зачем в непогодь, ночью, оказался на другом конце села.

Глава одиннадцатая

Заглянув утром в полупустую клеть, Григорий увидел Ивана Егоровича. Помощник начальника экспедиции сидел на кулях против мутного окошка, на коленях у него лежали пустые кожаные мешки.

— Думаю вот, Гриша. Мука осталась и соли с куль, припасы. Отдавать Тумаку или попридержать пока?

— С ума сошел! — заругался Григорий.— Врагу! Перекупщику! Не ждал я от тебя...

— Не горячись, парень. Какая нынче охота будет, один леший знает. А у Тумака пушнина дома, в амбаре.

— Сбить замки у него, и делу конец.

— Скоро решил. А чья там еще пушнина, знаешь? То-то. Башки нам с тобой скорей собьют охотники... Будем Якова Сергеевича ждать. Как он скажет. Пошли.— Иван Егорович закрыл клеть, положил ключ в карман.— Теперь ты вольный казак. Гуляй!

И Григорий «загулял» по тайге, с берданкой.

Стояли ясные холодные дни. Земля подстывала за ночь, к полудню потела, становилась скользкой.

Он бродил с утра до вечера по гулкому лесу, пугал тяжелых осенних птиц, но стрелять боялся. Не за этим пришел он в тайгу.

— Опять незадача! — огорчался Иван Егорович, заглядывая к нему в сумку.— На старые репища сходи, Гриша. Непременно сходи!

Старик часто парился в бане, обмяк телом и характером, рассказывал Григорию про свою непутевую молодость и вздыхал:

— О-хо-хо, Гришенька. Правда, она как палка о двух концах.

Не раз Григорий встречал на улице Марию. Она не останавливалась: улыбнувшись ласково, уступала ему дорогу.

После каждой встречи у него теплело на сердце. Осенний лес казался приветливым и красивым. Ярким пламенем вспыхивала на серых взгорьях осина, блестели елки, чисто вымытые дождями, блестела земля... И сразу все блекло, когда встречал он Марию с белобрысым Степаном. Он сам себе был не рад в такие дни. Злился на дождливую осень. Горько и обидно было, но обиду ревностью назвать стыдно. Кто он Марии! Поживет и уедет.

Как-то, увидев их вместе, он свернул к школе...

За заборкой из нетесаных досок гудели ребята, как весенние осы. С учителем сидел скуластый парень в синем потрепанном зипуне. Учитель называл его Пилькой.

Парень оказался любопытным и услужливым, сразу вызвался вести Григория на репища.

— В скитах бывал? — спросил его Григорий.

Пилька молчал. За него ответил учитель:

— Он в скитах и живет. Сирота он. А люди блаженным его считают, смеются.

— Сведешь меня в скиты?

— Он боится,— ответил за парня учитель.

— Ты што, немой? — рассердился Григорий.

— Не поспеваю я,— сказал парень.— Торопишься ты, слова у тя прыгают, как дробины по столу. Ты мне подумать дай. Отец Сафроний меня за скорость словесную святой книгой по башке лупит.

— Какой Сафроний?

— Известно, старец. В скитах спасается от грехов мирских.

— А ты какого черта связался с ним! Молодой парень, а ерундой занимаешься. Поди, и в бога веришь?

— Верю и сумлеваюсь...— Пилька виновато улыбнулся.— Отец Сафроний говорит, что бог един, но в трех лицах. Охотнику такова не понять.

— И понимать нечево, вранье! Я тебе настоящие книжки дам, про народ.

— И я услужу тебе, услужу, Гриша! А с богом повременим. Я ведь зиму и осень в лесу. Навалится ночь темнущая, глаз коли. Одному страшно, а с богом нас двое, выходит...

Григорий обругал тогда Пильку дураком и скитским прихвостнем, разругался с учителем.

На другой день одумался, бросился искать парня и не нашел. Парень исчез из села.

Осенние вечера долгие. Сумерки начинались рано: сначала ютились по углам, незаметно густели и вылезали на середину избы.

Даша убегала на посиделки. Хозяин с Иваном Егоровичем начинали вспоминать молодые годы. Вспоминали с удовольствием: и зимы были теплые, и люди покрепче, не шатались от елки к сосне, старину блюли — как старики расписали жизнь, так и жили, хорошо или плохо, а новых порядков не выдумывали.

А Григорий толкался в темной избе, не зная, куда себя деть. Он злился на стариков, хотя понимал, что не они виноваты. Бродить с берданкой по лесу и дурак может. Полковник не лось, следов не оставит...

Скрипнула дверь, забрел к ним Улеб Захарович. Хозяин зажег светец, пригласил гостя к столу. Улеб Захарович отказался, сел под матицу и завел разговор о старине, которая хоть и ничего была, но долго, проклятая, тянулась.

— Теперя, Сидор Матвеевич, время другое, по старинке нельзя. Скажем, Даша твоя — невеста...

— Сбился, сват,— захохотал Сидор Матвеевич.— Ой, сбился! Жениха по обычаю не расписал. А может, не кудряв он и без ружьишка?

Улеб Захарович сказал, что всему свой черед, сначала о невесте выспрашивают.

Сидор Матвеевич не соглашался с ним. Они заспорили. «Куда бы сходить?» — думал Григорий и топтался у порога.

В избу вкатился еще один гость: с аршин от полу, в большой лохматой шапке и в полушубке до пят. Григорий посадил его на лавку, принес кусок сахару.

Гость зажал сахар в маленьком кулачке, оглядел недоверчиво Григория и сказал:

— Михаил Спиридонович велел тепло одеваться.

Глава двенадцатая

Он шел по лесной дороге, стучал сапогами. Задубевшая за ночь земля еще не успела оттаять.

Кое-где вспыхивала на обочинах рябина.

Потянулся осинник, дорога стала мягче, только шуршал, перекатывался под ногами палый лист.

Показались поляны с пустыми остожьями. Сено здесь вывозили, не оставляли в зародах до зимы.

Начались лога, лес стал темнее, глуше. Дорожка закачалась из стороны в сторону, юркнула под сизые вереса и пропала.

Григорий сел на валежину курить. «Сам сбился,— думал,— или вчерашний паренек напутал». Вспомнив о маленьком госте, улыбнулся. Тоже, нашел Михаил посыльного, шапка да нос...

— Здорово!

Григорий вскочил.

Шагах в трех от него, на той же валежине, сидел Михаил, одетый по-зимнему, с ружьем.

— Не охотник ты, Гриша.

Михаил вел его по глухим, еле приметным тропам, вел уверенно. Таежный лес не казался таким уж страшным, непроходимым. Кончалась одна тропа, они находили другую. Прошли версты четыре, поднялись в гору и уткнулись в непролазный чащобник. Михаил не остановился, попер по чащобнику напролом. Григорий пробивался за ним. Саженей через тридцать они вышли к избушке, приземистой, кособокой, с плоской односкатной крышей.

Михаил открыл низенькую скрипучую дверь и нырнул в избушку.

— Залезай, гостем будешь! — кричал он оттуда Григорию.

В избушке было сумрачно, пахло тряпьем и плесенью. Напротив двери круглое окошко, справа высокие нары, печка-каменка слева в углу.

— Поедим и заляжем до вечера,— сказал Михаил, доставая из сумки хлеб.— Выспаться надо.

— Ты расскажи...

— Чего рассказать... Тумака пойдем караулить.

— А я думал... в скиты поведешь. У меня, сам знаешь, задание.

Михаил разостлал на нарах тряпицу, вытряхнул из сумки мясо и нарезал хлеб.

— Ешь давай.

Поели. Михаил рассказывал ему, что прячется в скитах, посреди болот, всякая нечисть: недобитые офицеры Миллера, толстомордые каратели из полицейских и полоумные книжники разного толка и жития.

— Всех их, Гриша, не переловишь.

— Терпеть, по-твоему?

— Почто терпеть? И полковник твой, поди, не одни шишки жрет. Тумак его кормит! Понял?

Михаил сдвинул ветхую лопоть к стене, сунул под изголовье наган, закрылся полушубком и скоро захрапел.

Григорий долго не мог заснуть. Вспомнил, как хоронили Семена в дождливый день, как телега с гробом завязла в грязи. На кладбище говорили речи, и он гово-

рил — клялся, что отомстит за дружка. А Тумак кормит убийцу, хлебушко ему носит.

«Ладно, старый, ладно! — грозился Григорий.— Пуля для тебя припасена».

Только пригрелся, засыпать стал, Михаил разбудил его. Оделись и вышли из избушки.

Начало темнеть, подмораживало, но трава была еще мягкой, под ногами не скрипела.

Спустились в лог, перебрели речку. Прошли не больше версты по густому серому осиннику и свернули влево, к селу.

— Гляди под ноги,— предупредил Михаил.— Черт тут работал.

Долго брели по сырому захламленному буреломом лесу. Темно было, как в глухую полночь. Тоскливо. Под ногами трещали сучья.

Остановились перед мелким ельником. Михаил сказал, что за ельником развилка. Рассохой называется, от нее дорога на болото идет, в скиты.

Стоя покурили, пряча огонек в кулак.

Выплыла луна, большая, круглая. Михаил выругался и зашел в тень, под елку.

— Брать живым будем,— сказал он Григорию.— Не стреляй. Хочу днем на Тумака поглядеть. Рыло к рылу.

В ельнике тепло, земля мягкая, сырая. Да и развилка как на ладони, залитая бледным неровным светом, исполосованная тенями. Тени покачиваются, набегают одна на другую. Григорию кажется: не тени пляшут на рассохе, а страшилища обнимаются.

Потемнела поляна. Луна, видно, за тучу спряталась.

Ждать пришлось недолго. Тумак появился один, шел торопливо, согнувшись...

Выскользнув из елушек, Михаил встал на дороге, Тумак метнулся в сторону и наскочил на Григория.

— Не пляши! Попался.— Михаил снял с него тяжелый пестерь, связал руки и сказал Григорию: — Побежит — стреляй!

— Не Тумак ведь ето! Не Тумак! Митька, сосед твой!

— Вижу, не кричи... В избушке разберемся. По этой дороге хорошие люди не ходят.

Они шли обратно по тому же захламленному лесу. Кочек и ям стало больше. Крепкие корни поднимались дужьем над тропой. Михаил материл бога и царя. Мить-

ка часто падал. Со связанными руками поднимался он долго, качаясь, как лошадь, из стороны в сторону. «Чево он молчит? — думал Григорий.— Сказал бы правду — и делу конец!»

Митька вставал, они брели дальше. Лес щетинился сучьями, негромко гудел, придавленный темнотой. И вдруг расступился. Густая, непроглядная тьма кончилась, они вышли к осиннику. Рука на весу занемела, Григорий спустил взведенный курок, сунул наган в пальто, в боковой карман.

По светлому осиннику пошли быстрее, спустились в лог, перебрели неугомонную речку и стали подниматься в гору.

На полянке опять было светло как днем, а избушка казалась совсем черной.

Михаил велел Григорию караулить арестованного, снял со спины пестерь и полез в избушку.

В избушке блеснул огонь. Михаил разжег печку и позвал их. Григорий пропустил вперед арестованного, залез сам, закрыл дверь на большой железный крючок.

Михаил сидел возле печки на чурбаке. Пестерь стоял на нарах, лыко лоснилось и поблескивало на свету.

Григорий сел на нары. Митька прижался спиной к стене и опять опустил голову.

— Куда направился? — спросил его Михаил.

— Знаешь куда, к отцу Сафронию.

— Так.— Михаил встал, порылся в пестере, достал две банки пороха, небольшой кожаный мешок. Не торопясь развязал и высыпал из мешка на нары свинцовые пули.

— Сволочь! — закричал Митька.— Енерал выискался. Ну нес! Нес!

— Поори, поори... в последний раз. Судить тебя, гада, будем по форменному закону.— Михаил шагнул к нему.— Первый вопрос, Еремин. Кто послал тебя к бандитам? Отвечай.

Митька молчал.

Михаил задал ему еще несколько вопросов: кто встретит? где? кому порох и пули понадобились?

Митька глядел в пол.

— Так. Молчать будешь?

— Не знаю я ничего, Миш. Ей-богу! Тумак послал с пестерем. Унеси, говорит, отцу Сафронию пестерь с сухарями.

— Врешь. К бандитам ты шел...

Митька сплюнул и заорал:

— Ну какая мне корысть? Какая? Говори! Бандиты меня не поят, не кормят! С Тумаком воюешь — воюй, а меня не трожь. Не трожь! Худо будет.

Они заспорили, вспомнили зыряновские путики, комиссара Аппогу, лосиные урочища. Митька остервенело ругался, клял Михаила и новую власть...

Григорий настроился поговорить с ним по душам, рассказать про дружка Семена, пристыдить мужика, но будто черт его под локоть толкнул. Он вскочил с нар, затрясся от злости — и откуда она взялась,— закричал на Митьку:

— Подсобник бандитский! Полковник где? Говори, гад! Где Залесский?

И Митька закричал на него, грозил ему, что живым из тайги не уйдет.

Михаил выстрелил в потолок.

Они замолчали, разошлись. Один — на нары, другой — к стене.

В печке потрескивали дрова. Стало жарко в избушке.

Запахло гнилью — сохли на земляном полу объедки, грязная ветошь...

Михаил встал, расстегнул полушубок и огласил приговор, что за пособничество врагам трудового народа житель села Челпановского охотник Еремин приговаривается к расстрелу.

— Исполняй приговор,— сказал он Григорию.— Выводи арестованного!

Глава тринадцатая

Народу собралось на свадьбу много. Человек двадцать сидели за столом, остальные толпились у порога.

Красный от жары и пива, жених невесело улыбался. Невеста обходила гостей с железным подносом.

— Пива, Матрена, пива неси,— командовал Улеб Захарович.— Не дай бог, неполная кружка кому нальется.

Сидор Матвеевич порывался плясать, но его отговаривали:

— Не смеши людей, дождись большого стола.

Фекла Петровна пришла на свадьбу дочери в черном, сидела грустная, как на похоронах. А бабы пели над

ней: «У белой березоньки вершину сломали. Стой, стой, березонька, без вершины. Живи, живи, матушка, без дочери».

— Девки! Девки, запевайте,— суетился Улеб Захарович.

Я ленива была, ленивица,
Я сонлива была, сонливица,
У своего кормильца-батюшки,
У своей любимой матушки
Не вставала я спозрань поутру,
Не ходила на чист ключ по воду...

Григорий поглядывал на жениха. Михаил не хотел «крутить свадьбу по старинке». Но Даша на своем стояла — играть свадьбу по обычаю, как водится у хороших людей. И Григория уговаривала дружкой быть, да, спасибо, Иван Егорович вступился:

— Не знает он, Даша, свычаев и обычаев наших.

Не поймешь старика: любит Дашу, как родную, а на свадьбу не пошел, сказал, что голова от пива болит.

— Пей, Григорий,— кричал захмелевший Сидор Матвеевич.— Думать опосля будем. Опосля! Русский мужик завсегда так: сперва помрет, а потом думает, хорошо ли жизнь прожил?

Григорий пил, пил не меньше других, а забыть не мог той ночи. Вывел он Митьку из избушки, в логу развязал ему руки...

«Была я пташечка, ой да перепелочка,— запела Даша.— Куда я, вольная, полетела, где местечко возлюбила, там и села».

Забежала на свадьбу Мария, с подарком подружке.

Григорий отодвинул Сидора Матвеевича, совсем захмелевшего, вылез из-за стола и пошел, расталкивая гостей, в сени. Шел и слушал. Девки начали новую песню:

Не плачь, не плачь, душа красна девица,
Не батюшка, не матушка замуж выдали —
Сама ты, девица, похотела,
За бурлака низового похотела,
Хвалилась: у бурлака денег много.
У него один алтын во котомке
Да кленовая дубина за плечами...

Мария недолго побыла на свадьбе, торопилась, видно, домой.

Григорий остановил ее в сенях. Она не удивилась, только сказала:

— Глаза у тебя нехорошие, Гриша.

— Подожди, не пьяный я. Пью вроде, веселюсь, а не пьяный.

— Ну и ладно. Пьяный мужик хуже зверя...

Она стояла близко. Сумрачно в сенях, а он разглядел: глаза у ней добрые, родные, только грустные.

— Не уходи,— просил он.

Она ласково потрепала его за волосы, хотела что-то сказать. Из избы вывалился Сидор Матвеевич. Хватаясь за стены, он пробирался по узким сеням «на волю».

Мария ушла.

Сидор Матвеевич обнял Григория и, всхлипывая по-бабьи, заревел:

— Не лапоть с ноги, дочь! Дочь отдаю, парень. Дочь!

Григорий успокаивал старика. Пьяные бабы в избе, приплясывая, пели:

Теща зятя угощала,
Ой да угощала,
«Уж ты кушай, зять, пожалуй,
Ой да пожалуй!
Уж ты кушай, не величайся,
Ой да не величайся,
Над моею дочерью не коварься,
Ой да не коварься...»

Сидора Матвеевича совсем сморило.

— Девки, они, задуй их ветром, сивые,— бормотал он, наваливаясь на Григория.— Цыц, у всякой отец есть. Я те покажу — убегом...

Григорий посадил его к стене и вышел на улицу. Не успел он сказать Марии, что думает, тоскует о ней. Замечтается иной раз, и покажется ему, что вовсе она не Степанова молодуха, а усольская девушка, и гуляют они вместе за строгановской конторой, в зеленом саду.

Тепло было на улице. Отогревшаяся трава искрилась на солнце, поблескивала. Он дошел до Митькиной избы, заглянул в ограду. На козлах лежала нераспиленная сушина. Нельзя было отпускать Митьку.. И в Чердынь вести — двести верст! Кабы не бросился он тогда бежать... А все одно не по закону вышло... Не так бы надо... Не так!

Ушел Григорий от Митькиной избы в лес. На ходу

меньше думалось, да и день выдался ясный, погожий. Не бывало осенью здесь таких дней, охотники говорят.

Он долго бродил по редкому ельнику, вышел на поляну. Торчали на ней пустые пни с ободранной корой, гнилые сучья, валежины. Один кедр остался на поляне, не срубили его. Шишек на нем не было, зато ярка зеленая рубаха из сочных и толстых иголок.

Григорий пошел обратно, кое-как выбрался на дорогу и увидел Анфису. Он узнал ее сразу, хотя в лесу она держалась прямо и шагала бойко, как молодая. «В скиты идет,— догадался Григорий,— в самое логово!»

Глава четырнадцатая

Обочины мягкие, по ним можно было идти, не пугая старуху. Когда Анфиса оглядывалась, он прятался за вереса или западал в ямах. Прошли версты четыре, Анфиса свернула с дороги в лес. Григорий — за ней и сразу провалился в глубокую яму с водой, чуть не по пояс, едва вылез.

Старица шла бойко, знала, видно, дорогу. Он старался далеко не отставать от нее, прыгал с кочки на кочку, часто оступался и падал.

Болото кончилось сразу. В конце поляны стояла избушка, без пристроек, похожая на черную старую баню. Перед избушкой две сосны, как ворота. Анфиса нырнула под них.

Григорий погладил в кармане наган и направился к избушке. Двери открылись легко. У мутного продолговатого окна сидел грязный худой старик. Анфисы в избушке не было.

Григорий поздоровался с ним.

— Кто ты? Чево тебе?

— Не бойся, дед, охотник я. Зашел обогреться.

Старик глядел на гостя, моргая большими набухшими веками, и молчал. «Зря назвался охотником,— подумал Григорий,— без ружья, без сумки, одетый по-городскому». Но старик спорить с ним не стал, перекрестился и уткнулся в книгу. Большая, темная, она лежала у него на коленях, как икона.

Григорий сел на кругляш, разулся, выжал портянки, повесил их на сапоги.

— Баба к тебе шла, дед, не видел? — спросил он старика.

Старик или не услышал, или притворился глухим, продолжал читать. Одет он был в длинную холщовую рубаху, грязную и порванную в нескольких места. Пахло от него, как от прелых портянок.

Спрятаться Анфисе было негде. Избушка небольшая, сажени две в длину, посередине каменка, как в черной бане, вместо стола нестроганая доска прибита к стене и нары, покрытые стеганым истлевшим одеялом. «Молчит, а много ведь знает, старый черт!» — подумал Григорий и попросил напиться.

Старик молча показал на деревянное ведро в углу.

Григорий натянул сапоги на волглые еще портянки и встал.

— Уходи,— сказал ему старик.

— Нехорошо, дед! Устал я, а ты гонишь. А может, я хочу с тобой о спасении души поговорить.

— Уходи, слуга антихриста! Изыди с глаз моих!

— Насчет слуг брось! Нету их — ни господ, ни слуг. Рабочий класс Россией командует. Советская власть у нас. Новая власть, народная.

Услышав о новой власти, старик оживился.

— Слыхал, говорил мне граф, говорил такое. Не поверил я ему. Злой человек граф Павел, злой. Ругал меня тут. Россия, говорит, гибнет, а ты с тенями прошлого воюешь. В антихристову веру меня склонял!

— А давно у тебя он был?

— Весной был граф Павел, еще сосна цвела. А в каком годе — не помню. Злой человек граф Павел, злой. На книги мои плевал, ногами топтал.

— Поповские книги у тебя?

— Тьфу ты, окаянный! Тьфу! — заругался старик.— Старые у меня книги, истинные.

— Ладно, ладно. Книги мне твои не нужны. Один здесь живешь?

— Один. А ты откуда, парень? Не видал вроде таких.

— Охотник. Ты лучше скажи, куда Анфису спрятал?

— На охотника не похож будто.— Старик перекрестился.— Ох-хо-хо, таятся люди друг от друга, а печать антихристову не скроешь. Исполнилось число звериное 666.

— Одурел ты, дед, сидя один. Число звериное выдумал.

В окне мелькнула тень. Птица пролетела или чело-

век заглянул — Григорий не понял, хотел подойти...

— Кто выдумал? Кто? — закричал старик.— Сие пророк Даниил речет, в истинных книгах записано. Вот! — он ткнул пальцем в книгу и начал громко читать: — «Зане же пастыри хотя и будут, но овца овцу будет пасти, но не будут овцы имети повиновения и мнози скрывать будут струпы греховные и мнози грехи ни во что вменять и мнози от християн впадут в растленное житие, жены же, не срамяся самого господа, будут иметь образ бесовский, главы не покровенны, имущи на головах роги скотские и змеиные, и уподобятся бесам и лица будут мазати вампами и власы вонями на прелесть погану, одеяние будут носить необычное...»

— Хватит! — Григорий отобрал у него книгу.— Давай о деле поговорим. Офицеры к тебе ходят?

Старик стал перед ним на колени.

— Книгу отдай, добрый человек! Отдай,— просил он, протягивая руки.— На што она тебе, антихристу окаянному?

Григорий бросил на пол тяжелую книгу и вышел из избушки.

Он несколько раз обошел избушку, искал следы, приметы какие-нибудь. «Хитрит старик, дураком прикидывается. Не сквозь землю же Анфиса провалилась!»

Старик опять сидел у столика с черной книгой на коленях.

— Говори, где Анфиса? Ну!

— Изыди! Печать антихристову не скроешь.

Григорий достал наган. Пустые глаза книжника ожили, запрыгали в них острые зеленоватые огоньки. Но старик не заговорил. Он свалился на пол, дернулся, вытянул вдоль тела руки и затих.

— Никак сдох, старый! — Григорий вылил на него ведро холодной воды.

Старик открыл глаза и привстал. С его грязных, нависших на лицо волос стекала на пол вода, из черного беззубого рта ползла пена. Страшен был старый. Не дай бог, ночью такой приснится!

Григорий помог ему встать.

— Испугал ты меня, дед! Прямо умирать собрался, руки вытянул и глаза закрыл.

— Изыди, шпынь! Отвяжись, нехристь, зимогор окаянный. Леший тебя задави...

— Ладно, старый, ухожу. Не ругайся!

Обратно Григорий шел по болоту не торопясь, боялся заблудиться, да и мокнуть не хотелось: вода в ямах студеная.

Меж кочек и гнилых пней пробиралась узенькая, еле приметная тропка. В болотине вертелась, как змейка, а по сухому подлеску бежала ровная, гладенькая. «Скоро на дорогу выйду»,— подумал Григорий, завидев березы. Занес ногу, но ступить не успел, его чем-то хлестнуло по спине...

Падая, он услышал выстрел.

Холодная жижа жгла тело. Лежа, он всадил шесть пуль в кусты. Ему показалось, что стреляли оттуда. Но никто не ответил, никто не вскрикнул, никто не выбежал из темных кустов.

Он вылез из ямы, встал на ноги — и только тогда почувствовал режущую боль в плече. Вытер мокрые руки полой пиджака, поглядел на березы и пошел напрямик, к дороге.

Шел осторожно. Стоило ему оступиться, и боль оживала, жгло плечо огнем. Он стонал и дико ругался.

Ранили его саженях в ста от дороги, а добирался он до нее долго. Вышел, хотел рану перевязать, но не мог дотянуться.

Дорога прямая в село, ровная, но шел он по ней тяжело, часто останавливался, подолгу отдыхал, схватившись за сук. Из последнего лога он выползти уже не смог, до середины дополз и скатился обратно.

Глава пятнадцатая

Полковник Залесский сидел на нарах в избушке старца Сафрония и пил мутную теплую воду из деревянной кружки. Сбоку от него, на грязном истлевшем одеяле, лежал мелко наколотый сахар. Не глядя, он нащупывал длинными пальцами самые мелкие куски и отправлял их в рот.

Из печки валил дым и собирался под потолком.

В избушке было тепло, а по полу полз от дверей холод. У полковника стыли ноги в мокрых сапогах. Но он давно привык и к холоду, и к грязи. Никто бы не узнал сейчас в этом заросшем волосами мужике гвардейского офицера. Ему и самому казалось порой, что прошлое — только глупый счастливый сон.

— Возлюбят люди конское рыскание,— читал нарас-

пев Сафроний,— бесовские игры и пляски сатанинские, отдадут родители чад своих антихристу браком.

Первое время полковник не терпел густой вони в темных избах скитников, его тошнило от их еды. Он ругал старцев и плевался.

Как-то Сафроний сказал ему:

— Чего бесишься, офицер? Пошто в кладезь плюешь?

Старик говорил правду, горькую правду. У сектантов и пустынников он нашел хлеб и крышу. Они прятали его в своих грязных избах посреди непроходимых болот. Они помогли ему собирать в глухой северной тайге остатки дворянской России — жалкие остатки! Он видел власть старцев над темным народом, спрашивал себя: почему дед и отец его не пускали попа дальше передней? Он вспоминал прошлое и ругался: «Дурачье божьей милостью! Белая кость!»

— Будет составлена сладость из песка и костей мертвенных всяких нечистых и крови скотской, дабы никто не избежал от руки его,— читал Сафроний.

Залесский допил воду, завернул остатки сахара в тряпицу, сунул ее за пазуху и вышел на улицу.

Он ждал старого Тумака с хлебом, с новостями, с порохом, в сотый раз оглядывал узкую сухую веретею... Свои и чужие узнали дорогу к Сафронию. Не зря он ушел жить в самые дальние скиты, куда боялись заходить даже охотники...

На веретию вышли два человека, по виду здешние, из села.

Пятясь, полковник зашел за избушку и залег в лесу.

Лежать долго ему не пришлось. Он услышал голос Сафрония. Старик звал его в избу.

— Здравствуйте, добрые люди! — поздоровался полковник с охотниками, переступая порог.— Зачем понадобился?

— Будь здоров! — ответил ему один. Другой, помоложе, промолчал.

— Кому служите, человеки! — закричал Сафроний на мужиков.— Кому? Антихристу? Горе вам, горе! Спасаться надо, не ищите, сказано, ни Рима, ни Иерусалима, ни больших собраний. Рече господь наш: где тысячи тысяч и тьма тьмами — несть меня там.

— Дозволь, отец, с господином поговорить,— перебил старца седой охотник.— Разговор у нас к нему.

— Я слушаю вас.— Залесский сел.

Старый седой охотник подошел к нему, оглядел, будто хотел надолго запомнить, и сказал:

— Кто ты, дела нам нет. Но мужиков, которые с обозом к нам пришли, не трогай. Хребет сломаем!

— Да что вы, мужики! Что вы! Господь с вами, не моя вина, не моя,— запричитал полковник по-стариковски и сам на себя удивлялся: он ли это говорит! — Не видел я комсомольца, не знаю...

Не дослушав его, охотники ушли, низко поклонившись Сафронию.

Полковник встал. Руки у него дрожали, на лбу выступил пот крупными холодными горошинами. Горошины росли, становились горячими и заливали глаза. «Началось»,— подумал он и заметался по избушке. Рухнул стол, покатились кругляши по неровному земляному полу.

Сафроний уполз в угол, закрылся книгой и со страхом глядел на господина Залесского. Старик по привычке клял царство антихриста и пугал крестным знамением бесов, вселившихся в офицера.

Полковник наткнулся на дверь и выбежал на улицу. Он метался по лесу, как слепой, хлестал крепкокорые елки, разбивая в кровь руки, падал, проваливался в ямы, выползал, громко стонал и скреб ногтями землю. И, обессиленный, свалился в болото.

Медленно возвращалось сознание: он почувствовал боль, поднес ко рту разбитые руки и осторожно стал слизывать с них теплую солоноватую кровь.

В лесу было тихо и торжественно, как в пустой церкви. Он выполз из ямы. Прислушался. Тишина мертвая — ни звука, ни шороха. Только любопытные белки на осинах качаются.

Полковник вернулся в избушку, выпил воды и повалился на нары, лицом в грязное тряпье.

Сафроний долго стоял над ним, ругался.

Первый приступ бешенства свалил Залесского четыре года назад, когда одетые в английские шинели зыряне сдались красным отрядам, бросили его одного в тайге. Он чудом спасся тогда от комиссара Морозова, случайно наткнулся на скит...

Он вспомнил, как униженно оправдывался сегодня перед мужиками, и застонал, вцепившись зубами в гнилое тряпье.

Глава шестнадцатая

Старый Тумак пришел только на другой день, к вечеру, и пришел не один. С ним зашел в избушку незнакомый молодой мужик. Увидев их, полковник по привычке сунул руку в карман и отступил.

Тумак заметил:

— Не бойсь, ваше благородие, сын ето. С собой взял Степана. Одному этако не унести!

Охотники сняли заплечные пестери, поздоровались с господином офицером и поклонились Сафронию:

— Прости, ради Христа, отец, и благослови!

— Бог простит! — кивнул им старец. Он стоял на коленях перед каменкой, загребал доской угли.

— Тут все, ваше благородие,— сказал старый Тумак, показывая на пестери.— И хлеб, и соль, и припасы.

— Спасибо. Я не забуду, отблагодарю по-царски, когда наше время придет.— Полковник достал из кармана две золотые десятки и протянул: — А пока возьми.

Тумак завернул деньги в платок и, распахнув полушубок, спрятал их под рубаху.

— Какие новости в селе? — спросил полковник.

— Одна. Ты ее лучше знаешь.

— О чем говоришь, Корепаныч? Не пойму...

— Молодец! Знать, значит, не знаешь. И ведать не ведаешь.— Тумак, посмеиваясь, сел на нары.— Садись, господин офицер, расскажу, как помощники твои стреляют. Увязался комсомолец за Анфисой. Она в дальние скиты шла. Заметила Гришку-то и свернула к отцу Сафронию. А у него Кирило твой сидел. Ты его дьяконом зовешь, а мы галахом. Человека ему убить — раз плюнуть. Охотники в третьевошнем лете на него облавой ходили, да ушел, дьявол — не хуже он мужиков наших парму-то знает, лет уж десять по скитам шатается. До тебя еще у нас объявился. Забежала, значит, Анфиса в избушку и в ноги к отцу Сафронию: прости, дескать, антихриста из села привела, по пятам шел. Встает твой Кирило и говорит, что господин офицер, ты, значит, приказ дал ему — убить комсомольца...

— Врет он.

— Не знаю... Вредный комсомолец-то. Все ищет чего-то, принюхивается... Вышли они из избушки вместе: Анфиса дальше пошла, в скиты, значит, а Кирило в болоте залег.

Подбежал Сафроний, зашлепал босыми ногами по полу, закричал:

— У меня он был! У меня. Про графа спрашивал, с оружием бросался. Все Пильке скажу. Все скажу!

— Не жди Пильку, отец, с комсомольцем он.

Сафроний не понял.

— Бог простит Пильку за антихриста. А я помолюсь! А я помолюсь! — кричал он, наступая на Тумака.

— Снюхался, говорю, твой Пилька-зырянин с Гришкой.

Сафроний сел на чурбак, закрыл лицо руками и, качаясь, начал причитать:

— Не спастись миру от козней антихриста, в сетях его запутаются маловерные на погибель свою, на веселие сатанинское.— Вдруг резко поднялся и сказал неожиданно твердо и зло:

— Смерть ему, развратителю и смутьяну!

Тумак осторожно спросил:

— Кто грех такой на душу возьмет, отец?

Сафроний подбежал к столу, полистал книгу и, низко склонившись над ней, стал читать: «И хулил сын израильтянки имя господне и злословил. И привели его к Моисею и посадили его под стражу, доколе не будет объявлена им воля господня. И рек господь Моисею: выведи злословящего из стана, и все слышавшие пусть положат руки на голову его, и все общество побьет его камнями, и сынам Израилевым скажи: кто будет злословить на бога своего, тот посеет грех свой; и хулитель имени господня должен умереть».

Сафроний закрыл книгу, повернулся к ним и сказал:

— На исполнителе воли господней греха нет!

Старый Тумак перекрестился:

— Господи, прости и помилуй! Вышло, значит, нам, господин офицер, полное разрешение.

Полковник усмехнулся, но промолчал.

— Только второй раз стрелять в комсомольца опасно,— продолжал рассуждать Тумак,— не дай бог, мужики узнают. Сам по себе Гришка этот медного гроша не стоит. Пустозвон...

— Где начальник его? — спросил полковник.

— О Якове Сергеевиче спрашиваешь? В тайге, к вогулам подался.

— Бывший комиссар?

— Морозов, ваше благородие.

Полковник неожиданно захохотал, всхлипывая, как припадочный. Тумак спокойно глядел на него и прикидывал в уме: с кем связался, какой от всего этого будет прок?

Полковник успокоился и сказал:

— Убрать!

— Понимаю, ваше благородие. Только тебе это сподручнее. У тебя и люди есть для такого дела.

— Когда комиссар вернется?

— Неизвестно пока. Узнаю, ваше благородие.

Офицер ходил по избушке, а Тумак думал, что Гришку убрать — плевое дело. А за начальника охотники спасибо не скажут.

Полковник остановился, спросил:

— Легко ранен?

Тумак ответил, что рана пустяковая, но крови потерял парень много.

— Не сразу хватились мужики, на свадьбе гуляли, ваше благородие. Теперь Пилька его лечит.

— Поговори. Раненый умрет — дело божье.

— Нет, офицер. Пилька для такого дела не подходит. Добрый он, для всех добрый. Вот Анфиса...

Степан сидел на пороге и угрюмо глядел в пол. Зачем только связался отец с этим узкомордым! Не доведет каторжный офицер их до добра.

— Анфиса сейчас где? — спросил полковник.

— У меня,— ответил старый Тумак.— К Гришке пошлю. Пусть лечит.

— Пойдем, што ли! — торопил Степан отца.— Далеко нам. Затемняет в лесу.

— Успеется.

— Пойдем, тять. Не бери грех на душу, не наше ето дело...

— Дурак ты, Степан! Я за кого беспокоюсь? За тебя, дурья голова. Как слепой живешь, ничево не видишь... Уведет комсомолец Марию. А все Дашка, сводница!

Старый Тумак взглянул на сына и осекся.

Побледневший Степан дрожащими руками застегивал новый полушубок.

— Чево ты? Чево! Не дури! Бабы болтают...

Степан пнул дверь и выскочил из избушки.

— Стой! Стой, говорю! — кричал старый Тумак, выбегая за сыном.

Глава семнадцатая

Лоснясь, покачивался потолок. Пробегали по нему деловитые тараканы. В родном доме, в Усолье, их было немало, каждую зиму приходилось вымораживать. Отец тараканов не любил, ловко сшибал их со стола щелчком и спрашивал мать:

— А богу они зачем? То-то, почил бы господь от трудов на денек пораньше — меньше бы было всякой нечисти на земле...

Умер отец молодым, задохнулся в соляном амбаре. Лет восемь было Григорию. Ходили они в то лето на луга, цветы собирать. Красные, синие, желтые...

— Чево тебе? Пить, может, хочешь? — Над ним наклонился Пилька и, придерживая его легонько за грудь, сказал: — Лежи так пока. Раненый ты.

— Помню... Кто из лесу-то приволок?

— В логу нашел я тебя бездыханного. Тяжел ты, Гриша. Молодой, а мясистый.

— Кто меня?

— А леший знает. Кто стрелял — примет не оставил. Лежи.

— Отец у меня веселый был, насмешник. «Бог — не квартальный, за всем не усмотрит!» — любимая у него поговорка была.

— Не тронь бога-то. Чево он тебе?

— Испугался! Я бы тебя припер!

— Лежи, не ерепенься.

— Слышь, Пиль! Слышь!

Григорию хотелось поговорить, рассказать про мать, какая она была добрая у него да ласковая, на Марию похожа, только волосы совсем белые.

Пилька сидел рядом, на тюрике, но отвечал неохотно.

Вспомнил Григорий родную избу, мать, седую и строгую, за столом. Она вяжет мягкие исподки ему и поет про солдата, как провожала невеста солдатика на службу царскую, дале Питера. Григорий и мать воочию видел, и песню ее отчетливо слышал. Снаряжу солдатика, пела мать, хорошенько. Провожу солдатика далеконько. Дале города, дале Питера, к самому морю синему. Не шуми ты, море синее, не хлещи волной берег каменный, отпусти домой друга милого...

— Пиль, а Пиль! Ты песни про солдата знаешь! Не хлещи волной берег каменный, отпусти домой друга ми-

лого, ему надо со мной свидеться, с отцом, с матерью побеседовать, сыграть свадьбу веселую.

— Чево ты, какая свадьба? Жар у тя!

Григорий закрыл глаза, опять мать увидел, черноволосую и совсем молодую. Только не дома она, не в избе, а в лесу осеннем, глухом и мокром. Он просит ее песню любимую допеть, а мать пятится от него в ужасе.

— Не бойся! — кричит он матери.— Григорий я! Григорий! Сын твой.

— От воды быстрой, от огня чистова, от латырь-камня крепкова...— шептал над ним Пилька. Волосы у Пильки белые и, наверное, мягкие. Григорий улыбнулся ему, хотел погладить белые Пилькины волосы, а рука — как чужая, не слушается. Хлопнула дверь, посыпались с потолка тараканы, сухо стуча по тулупу. Один на лицо свалился и пробежал быстро по щеке на подушку.

Григорий тряхнул головой, открыл глаза и увидел перед собой Анфису.

— Есть-то хочешь? — спросила она.

— Не просит еще,— ответил ей Пилька.

— Худо ето, худо! — запричитала старица.— Еда человеку силу дает, а сила-то всякую хворь убивает. Ничево, принесла я снадобье.— Она достала из-под платка небольшой горшок.— Выпьет парень, поспит и еду запросит.

Григорий слышал, как переливала она снадобье, шептала молитвы. Он вспомнил болото, избушку, отца Сафрония... Надо спросить Анфису, куда она спряталась тогда? Где была?

Старица подошла к кровати неслышно. Пилька приподнял его, поддерживая за плечи, Анфиса поднесла кружку. Лекарство пахло лежалым сеном.

Откуда-то появилась Мария, без платка, в красной кофте, вышибла из рук старицы кружку.

Пилька бросился к ним.

Опрокинувшись на спину, Григорий застонал, но его не услышали.

Мария гнала Анфису из избы. Та грозилась:

— Погоди, Мария! Степан тебе такова не простит.

Боль обдала жаром и засела в плече надолго. Горячим стало плечо, будто его кипятком обварили. Григорий от боли ослаб, глухо слышал слова.

— Пошто ты ее? — спрашивал Пилька.— Знахарка ведь она, травы знает, ведунья.

— Белынь-трава, отрава,— шептала Мария.— Слышала я, Тумак посылал. Тесто я ставила за печкой. Бессовестные они, хуже зверей.

Пилька наклонился над ним.

— Спишь, Гриша?

Он не ответил ему, только улыбнулся. Пилька покачал головой и отошел.

В избе стало тихо. Тишина ползла из углов, пробираясь к кровати. Григорий отодвигался от нее к стене, осторожно, чтобы не задеть рану.

Глава восемнадцатая

Он проснулся, свалил с себя тяжелый тулуп и в первый раз сел на кровати.

Пахло горячим хлебом. Изба показалась ему незнакомой. В переднем углу большие, как сани, кросна, на лавках капканы с белыми длинными хвостами из сыромятной кожи.

Два старика, склонившись над столом, негромко разговаривали, бороды — у одного рыжая, у другого черная — мели столешницу. Григорий рассмеялся, глядя на них.

Иван Егорович услышал, подошел к нему.

— Ну, как дела, Гриша?

— Есть я здорово захотел.

— Слава богу, значит, на поправку пошло. Окрепнешь!

Иван Егорович позвал хозяйку.

Фекла Петровна принесла чашку щей и ярушник. Едкий сивый парок шел от горячего ярушника. Здесь редко ели такой хлеб, хозяйки считали мягкий хлеб неспорым.

Григорий ел через силу, жевал вязкий яровой хлеб. Знал, что надо есть, а то не поправишься, в тайгу не пойдешь.

Присев к нему на кровать, Иван Егорович рассказал новость. Пропал Еремин, вторую неделю дома нет. Может, на Ижву ушел или в Низовья подался, а Степанида ревет, как над покойником.

Григорий отдал чашку.

— Мало поел. Ну, отдыхай.— Иван Егорович ушел к столу беседовать с хозяином.

Они высчитывали, когда вернется Яков Сергеевич.

— Пока снег не падет, ждать нечево. Григорий успеет на ноги встать.

— Встанет, задуй его ветром! Зятек мой в город собрался и Дашка за ним балабонит. Не век, говорит, в лесу жить, не медведи мы...

Григорий слушал их, завидовал. Хитро живут старики, по сухой обочине ходят. Ошибутся где, плюнут — сделанного, скажут, не воротишь — и больше не думают. А он сколько о Митьке беспокоился! Теперь уж баста, шабаш! Нечего казнить себя. Закон здесь один: кто ково. Не набрел бы на него, случаем, Пилька...

— Слушай, Гриш! — закричал Сидор Матвеевич.— Улеб хотел вечером забежать к тебе. Уходит он завтра на Вишеру.

— Спит. Не шуми.

— Восьмой десяток пошел Улебу, задуй его ветром, а как молодой бегает. Близкое ли дело — Вишера! Зимовка у него на Улсе.

Григория разморило после еды, спать потянуло. Он слышал, как вышла из кухни Фекла Петровна, начала скатывать половики. Он закрыл глаза, и опять дурь навалилась: горит осенний лес, падают елки, коряги-страшилища ворочаются и кряхтят в черном дыму.

Проспал он без малого сутки. Улеб Захарович сидел у них вечером долго, сторговал у хозяина новые лыжи с оленьим подволожьем, выпросил у Ивана Егоровича про запас лишнюю банку пороха.

— Не горюй! — успокаивал утром Сидор Матвеевич Григория.— Не простясь, Улеб в тайгу не уйдет.

И верно — зашел старик попрощаться. В полном снаряжении пришел к ним, в бахилах с отворотами, в длинном холщовом запоне, опоясанном ремнем.

— Лузан износился, зашивает старуха,— сказал он Григорию.— Я к тебе... Не увидимся, знать-то, скоро ты в город укатишь. Лихом не поминай! Круты мы, а душа у нас человечья. Идешь иной раз по лесу: бело, морозно. И думается... Всякий человек, Гриша, чепочкой к жизни привязан. Одному она до крови шею натрет, другому — друг милый и помощник.

Прибежала Даша — и сразу к нему:

— Живой, Гриша? Бабенка одна справляется о тебе. Скажу — выздоравливаешь... Ты бы, тять, отдал нам телку, без коровы я не привыкла.

— Веди! — Сидор Матвеевич махнул рукой.— Чем только кормить будете?

Даша пошарила на поличке, заглянула на полати и пожаловалась:

— Полушалок оставила, совсем новый полушалок!

Улеб Захарович покашливал, глядя на молодушку.

— Етой, Гриша, чеп шею не сотрет.— Он встал, сначала попрощался с ним за руку, потом ушел к старикам.

— Увидишь, тять, принеси полушалок-от.

— Матери наказывай.

Даша ушла. Тихо стало в избе.

Григорий хотел встать. Но Иван Егорович не дал:

— Лежи, не железо кипит.

Григорий и сам чувствовал, что хоть рана и затянулась, не болит, но силы не те. Под тулупом лежит и мерзнет. А в лесу как? Намается Улеб Захарович!

Вечереть начало: темнели стены, холод поднимался с полу, лез под тулуп, студил ноги. Засыпал, как в яму проваливался. Снился ему зимний лес. Бело кругом, убродно. Притихла тайга под снегом, успокоилась. По белому гладкому снегу следы, как веревочки, тянутся, он за ними идет, за куницей гонится, с горы на гору, из лога в лог. Куница на елку прыгнула, припала к суку, затаилась, одни глаза поблескивают. Синие глаза у куницы, знакомые. Прицелился Григорий. Выстрелил. И закричал. Мария перед ним стоит, на лице кровь.

Проснулся Григорий, увидел Ивана Егоровича у кровати, спросил:

— Один он пошел?

— Улеб-то? А ково ему надо? С собакой. Пес у него, Гриша, первостатейный. Умный, рассудительный пес, хоть в начальники ставь — не ошибешься.

Григорий улыбнулся:

— Заместо Якова Сергеевича.

Старик пощипал бороду, сел к нему на кровать, поправил одеяло.

— Хочу я, Гриша, поговорить с тобой...

Глава девятнадцатая

— Жил я, Гриша, в деревне, под Чердынью, а лесовать поднимался по Колве верст на сто и боле. Здесь бывал не единова, с Тумаком не раз зверя обкладывали. Заходит как-то под осень ко мне человек в комиссарской

тужурке и просит проводником быть. «Пока, говорит, до Челпановского села дойдем, а там видно будет. Обоз с нами небольшой, всего два воза». Согласился я, а сам про себя думаю: какова лешева ево в тайгу понесло, намаюсь я с етим городским комиссаром. Дорога сюда — видел какая! Дня четыре шли ничего: я впереди, значит, а он за второй волокушей топает. На пятый болота начались, сами по колено в воде, да, мало того, еще и лошадь по брюхо увязнет — вытаскивать надо, а нас двое. Каторга настоящая! Злость меня взяла: думаю, пропаду я с етим сумасшедшим начальником, погибну. Бросить сразу постыдился, што ни говори, а живая душа. Да и придраться не к чему было: он вместе со мной маялся, из одного котелка ели, под одним дождем мокли. Решился я на хитрость и говорю ему, што спутался, не по той тропе повел. Он молчит. А я опять за свое: есть, говорю, тут в стороне деревушка, на Колве, верст двенадцать отсюда, дня за два доберемся. Ты, говорю, товарищ начальник, как знаешь, а я больше не пойду, сил моих больше нету. Улыбнулся он, помню, и спрашивает: «Проводники в той деревне найдутся?» Как, говорю, не найдутся, охотники в наших краях лес знают. «А сколько идти до той деревни без обоза?» — спрашивает. К вечеру, отвечаю, дойдем. Гляжу, поверил мне начальник, остановил лошадей, сел и сапоги снимает, добрые у него были сапоги, старой выделки. Снял он сапоги, отдал мне. «На,— говорит,— Иван Егорович, на обмен. Мои крепкие, воду не пропускают. А мне сидеть здесь и в твоих не сыро». Ну, не посмел я отказаться, взял сапоги, а на сердце муторно, будто отца родного граблю, в глаза начальнику не смотрю. На прощанье он мне руку пожал, как товарищу, и спросил: «Сейчас деньги возьмешь, Иван Егорович, за труды или когда проводника приведешь из деревни?» Отмахнулся я — какие тут деньги! Свернул с тропы, иду лесом: то в яму свалюсь, то елка меня по морде огреет. Терплю все, об одном думаю: человек людям припасы везет, охотников спасает, можно сказать, от голодной смерти, а я к нему хуже разбойника! И доверие не от глупости у него, не может подумать хорошей души человек, што обману я его при таком деле, подлецом окажу себя. Отошел я версты две, чую — сапоги давят. Сел, перемотал портянки... Одним словом, вернулся я, Гриша. Начальник лошадей кормил. Подошел я к нему и говорю: «Имя твое забыл и от-

чество. Извиняй!» Через неделю к селу подошли, обнял меня Яков Сергеевич, улыбнулся и молчит. Устал он. Я тоже молчу — нечево мне было говорить, Гриша. Нечево! Встретили нас в Челпановском бабы да ребятишки. Охотники по избам сидели — не с чем им к нам идти. Без припасов — какая охота! Один Тумак круг волокуш ходит, как купец к товару приглядывается. На другой день по избам пошли. Начали с Крестиньи. Бывал ты, за часовней изба ее. Она на лавке от горя качается, а ребятишки на полу, грязные и до того худы — смотреть страшно. Поздоровались, поставили мешки на лавку и ждем. Крестинья глядит на нас по-дикому. Одурела баба от голода. Слышим, кто-то закашлял на печке. Спросил Яков Сергеевич о хвором. Запричитала Крестинья: «Хозяин с зимы не встает. Как жить будем! Согрешили мы перед господом. Дров нету, хлеба нету. Умирать мы собрались, добрый человек, да смерть наша заблудилась в лесу...» Подползла к нам девочка лет пяти, взял ее Яков Сергеевич на руки. А у ей, помню, голова мотается, как цветок на худом стебле. Оставили мы Крестинье тогда муки фунтов тридцать, соли. Она от радости и спасибо забыла сказать. В тот же день, кажись, зашел я к Митьке Еремину. Так и так, говорю, бери в долг припасы, весной рассчитаешься. «А какой резон вам, добрые люди, в долг мне давать,— спрашивает Митька,— коли вы за свое добро у Тумака первостатейную пушнину можете иметь?» Говорю Митьке, что не по-старому мы торгуем, по справедливости, как новая власть учит. А Тумак, мол, с тебя за наши же припасы вчетверо больше сдерет. «Тумак — он ерой! — смеется Митька.— Токо не верю я всему етому. Кабы в дураках не остаться!» Разругался я с ним. Хлеб, говорю, тебе в рот толкают, а ты плюешься — мякина, говоришь. На другой день председатель коршуном на нас налетел. Я, кричит, здеся Советская власть, уездом поставленная. С Мишкой спорить — што свинью на белку натаскивать. Гляжу на начальника. Он достает документы. Вы здесь хозяин, будете за главного, я буду вашим помощником. Мишке што надо? Блезир соблюсти, вид иметь. А делом потихоньку Яков Сергеевич правил... С той осени и хожу. Думаю иной раз: не бобыль ведь я, старуха есть, своя изба — чево по тайге шататься на старости лет? — Иван Егорович вздохнул и спросил Григория: — Устал? Заговорил тебя?

— Слушать — не дрова рубить.

— Так оно, Гриша. Я в молодости тоже кулаками махал. А потом вижу, правда моя горем людям оборачивается, тяжким злом. В монастырь даже собрался, да лес не отпустил. Не могу я без лесу... В Усолье уедешь, за Якова Сергеевича держись. Крепко держись. Его добро худом никогда не окажется.

— Он комиссаром был...

— Много их было. Тужурку надел, сбоку наган повесил — и власть...

— Верно, задуй его ветром! — закричал Сидор Матвеевич. Он давно топтался около них.— Зятек у меня с восемнадцатого комиссарит...

Сидор Матвеевич никому больше слова не дал сказать, расписал челпановского председателя, как суздальскую икону.

— В левольверте все дело! — кричал старик.— Не было бы у моего Мишки левольверты, и он бы человеком был!

Глава двадцатая

Даша мыла и чистила избу. Старые рубахи, чучела птиц, книжки, капканы, патронташи, годами лежавшие на лавках и подоконниках, были свалены в угол.

Вернувшись из школы, Владимир Андреевич сложил все свое добро в сундучок и сел у порога. Пройти к столу он боялся. Молодая хозяйка расстилала половики.

В тот же вечер засияли на божнице вымытые иконы. Владимир Андреевич глядел на них и думал, что надо уходить. А куда? Пять лет прожил он у Шаруевых, привык и к молитвам старой хозяйки, и к скрипу рассохшихся половиц, любой гвоздь в стене мог найти ночью на ощупь...

Выручила его Даша. За ужином сказала ему, что договорилась с Крестиньей.

— Тяжело ей одной. А ты хоть и плохонький, да мужик!

Он поблагодарил Дашу за хлопоты и полез спать на печку.

Утром, взяв свой сундучок, отправился на новую квартиру.

Холодно и сыро было на улице. Не грело осеннее солнце. Блестели заплоты и сизые лужи на дороге. С севера ветер дул колючий, студил руки, под пальто забирался. «Есть ли дрова у Крестиньи? — думал Владимир Андреевич.— За неделю подстынет, первый снег выпадет, и зима навалится».

За избой Тумака улица под гору скатывалась. Не так ветрено стало. Запахло дымом и печеным хлебом.

Навстречу ему шла Мария с мужем. Он поздоровался с ними. Степан буркнул что-то, а Мария поклонилась с улыбкой. «Опять неладно у них»,— подумал Владимир Андреевич.

Крестинья ждала его. Стол был накрыт скатертью, кровать застлана овчинным одеялом. Он поставил сундучок под лавку, снял старое пальто.

— Не обессудь, учитель,— сказала ему новая хозяйка, приглашая к столу.— Бедные мы.

Он ел. Она рассказывала, что трудно ей одной с девками, что летом еще так-сяк, а зима страшна, долгая да студеная.

Владимир Андреевич слушал, жалея ее, а сам лицо Степана забыть не мог. Опять злобствует мужик, глаза дикие. Как в прошлую осень... Кинулся тогда Степан с ружьем на него, к Марии приревновал. Врать ему Владимир Андреевич побоялся, сказал правду — любит Марию, радуется, что живет рядом женщина красоты сказочной и сердце ее открыто всему живому и доброму. «А ты не поймешь,— сказал он тогда Степану.— Жила бы Мария, жила счастливо, больше мне ничего и не надо...»

В школу пришел Владимир Андреевич поздно. Ребята его заждались. Усадил он их на лавки, велел слушать... «На далеком скалистом мысу отрывисто и резко кричит всю ночь одинокая птица»,— читал он ребятам, а сам опять думал о Тумаках. Погубят они Марию, изведут постами да молитвами. Другая бы давно завяла, надломилась, как деревце неокрепшее...

Зашел Пилька к нему, сел за перегородкой. Сидел тихо, слушал, какие птицы гнездятся на горных вершинах, какие звери живут в горах.

Владимир Андреевич дочитал, отпустил ребят домой, позвал Пильку и спросил, поймал ли он филина.

— В селе-то! — засмеялся Пилька.— Григория я лечу. Поправляться начал, по избе ходит.

— Радуешься?

— Весной я серого зайчонка выходил. Сколько радовался! А Гриша — парень, человечья душа... Баб я, Андреич, за селом встретил. Веселые, за орехами покатили.

— И Мария пошла?

— Впереди бежит,— ответил Пилька ему и попросил: — Сходи к Степаниде, попроведай. Худое она надумала. Сама не ест и ребят не кормит.

— Разве она послушает!

— А ты соври ей, будто видели охотники на днях Митьку в лесу. Жив-живехонек, но похудел больно и волосьми оброс.

Поговорили. Про Митьку вспомнили: тяжело жил мужик, а врал складно.

Пилька сходил за дровами, растопил печку и ушел к Тумакам перестилать полы в старом амбаре.

Владимир Андреевич остался один, листал «Географию» Кронберга, вздыхая, слушал, как шипят и потрескивают еловые поленья. Без ребят в классе пусто и холодно. Углы потемнели, в окна дует. Тоскливо одному в школе. И уйти нельзя, пока печка не протопилась. Ходил он по классу, глядел из окна на мокрые березы и думал, что недобрая нынче осень: войны нет, кончилась вроде, а тревожно все, неспокойно на сердце.

Он заглянул в печку — таяли золотистые угли, пора было закрывать трубу.

На новую квартиру Владимир Андреевич не зашел, спустился по большой дороге в поскотину и сел на опушке леса, под верес.

Лес стоял над ним темный, насупленный. Не любил он таежный лес, боялся его. Даже весной лес казался ему угрюмым, недружелюбным. И дороги в нем не такие, как в поле: заведут в глухомань и растают, западут в буреломе...

Ветер вдруг подул. Ожил лес, застонали, заплакали старые елки. Владимир Андреевич ушел на чистую полянку. На ней стоять веселее: и село видно, и дорогу.

Начало уже смеркаться. Показались на дороге бабы с шестами.

Он пошел навстречу им. Лес все шумел, качались черные лапы елок, мели обочины.

Бабы шли весело. Посмеиваясь, здоровались с ним. Он окликнул Марию. Она отдала шест Даше, подошла.

Он сказал ей, что Степана забыть не может. Серый он, глаза, как у аспида, мутные...

— Не бойсь, не тронет тебя.

— Да разве я о себе.

— Григория они отравить хотели белынь-травой, а я не дала. Вот и злобствуют.

— Поправился он, Пилька говорит...

Услышав про Григория, Мария улыбнулась и засмеялась негромко. Владимир Андреевич вздохнул, глядя на нее. Не умеет она чувства свои скрывать, а среди кержаков живет.

— Михаил Спиридонович с твоим тестем воюет. Старые счеты сводит. И Григорий с ним. Тоже кулаками машет, ни с чем не считается. Враз хочет жизнь переделать.

— Не такой он, Андреич! Не такой!

— Не знаю, какой. За человека меня не считают. А сами-то люди ли?

— Григория с Шаруем не равняй. Разные они, неужели не видишь!

Черные густые сумерки ползли по лесу, заволакивали дорогу. Елки с двух сторон надвигались на них. А Мария рассказывала, что Григорий добрый и покладистый, что ухарство его от растерянности, трудно ему.

Учитель слушал ее и думал: не дай бог Степан узнает, не жить ей на свете, задует, как свечу...

— Не хитрый Григорий,— продолжала она,— не бережется совсем...

Неожиданно появился Степан, встал между ними. Мария вскрикнула, закрыла лицо. Владимир Андреевич попятился.

Степан оглядел его, как незнакомого, и, выругавшись, сказал:

— Не путайся под ногами, учитель. Время темное... Пришибут ненароком!

Глава двадцать первая

Пока шла Мария до Сенькиного болота, всю свою недолгую жизнь передумала.

Помнила она себя совсем маленькой, лет шести-семи. Изба большая, неприбранная, матери нет. Пашка на голове стоит, она в глаза брату заглядывает. Пашка старше ее года на четыре был и такой выдумщик — спасу

нет. Сколько слез пролила мать из-за него! Ругали и били Пашку, но и лучший кусок подсовывали, сын все-таки, кормилец. А ее будто и не было, росла незаметно, в углу да за печкой. Никто не ругал, не трепал. Никто и ласкового слова не говаривал.

Одна бабушка Вогулиха любила ее, кормила моченой брусникой, пела тоскливые песни над своей печкой-каменкой и рассказывала, что нельзя сердить ни березу, ни елку в лесу. Береза соку-сюрему не даст, а елка дорогу заступит — и заблудишься. Жила бабушка одиноко в маленькой черной избушке на берегу тихой Ульвы. Мария бегала часто к ней. Вздыхала бабка, глядя на нее:

— Ох, ох! Растешь, дочка, красивой будешь. На радость ли?

Так и выросла под бабкины вздохи, работать начала, зимой гадала с подружками о суженом. А Пашка все куролесил: то петуха напоит дурью какой-нибудь, то ворота унесет у соседа... Взяли его на германскую, пришел без руки, с наградным крестом. И опять завертел его леший — пил, хвастал: мы кровь проливали за Расею. Но она-то видела, что не в Расее дело. Крестьянскую работу Павел смолоду не любил, а без руки и вовсе не работник. И на голове с одной рукой не походишь. Мать ругала его мотырем и галахом, отец молчал, старился. Брат видел, что отрезанный он ломоть для отца, и еще пуще дурил. Пьяный орал про «круты горы Карпатские» и про Расею, а трезвый плакал, проклинал свою загубленную жизнь. Мария жалела его, садилась к нему поближе, трепала за волосы и хвалила лес, тихую Ульву, полянки зеленые. Думала, поймет Паша, что Расея никуда не делась, выходи за ворота и бери ее воберучь, клади на сердце.

Весной ушел из деревни Павел и как в воду канул. Летом отца не стало: шли через деревню солдаты с ружьями и убили походя. Тут и подвернулся Тумак со сватовством...

Темный лес расступился, будто ворота открылись. Она на гари широкие вышла. Дорога тверже стала, задубела за ночь на открытом месте. «Стыд тебе... стыд тебе... мужнина жена... стыд тебе»,— выстукивали сапоги. А она думала, что похож чем-то Григорий на брата Павла. Брат покорность не любил в людях, оттого, наверное, и на голове ходил.

Она увидела старый большой кедр, а за ним болота серые...

Под кедром стоял Григорий, в городском пальтишке, ладно хоть шапку меховую загоил. «Скажу, чтоб Степана берегся, и домой побегу»,— решила Мария.

Увидев ее, он посветлел лицом, засуетился.

— Не замерзла? Вон стыль какая!

Она ему про Степана говорит, чтобы берегся, а он рукавицы ей на руки надевает.

— Степан дикий, Гриша.

— Ну его к лешему! Думал, обманула Дашка. Не придешь или спутаешься, кедров у вас много.

— Кедры разные, Гриша, как люди. Я здесь каждый ложок выходила, под каждой березкой сидела.

Она повела его на шутемы [1], рассказывала, что летом они синими цветами покрываются, над цветами зеленые елочки, как игрушки. А подальше камень серый, колоколом стоит, летом его не видно, травой зарастает.

— Красиво у нас, Гриша. У всякой березы свой характер. А елки — те скрытные. Стоят, думают. Про что думают, не скажут. Вон у серого камня которая, та разговорчивая...

Он засмеялся.

— Ты что — разговаривала с ней?

— Как же, Гришенька! — удивилась Мария.— Я ведь не здешняя, с Низовьев. Кому горе выплачешь, душу выскажешь? Вот и бегала сюда, пожаловаться.

— Смешная ты.

— А лога у нас крутые, глубокие. В логах папоротник едучий, синим огнем горит.

— На кого елке-то жаловалась? — спросил он.

Улыбнулась Мария, вспоминать стала, на кого жаловалась елке. На жизнь несправедливую жаловалась, на бабью долю. Нелегко ведь жизнь целую прожить и любимого не целовывать. Замерзнет душа к старости.

— Не молчи! Ну хоть про елки свои рассказывай.

— Пойдем.— Она повела его дальше, на речку Хмелянку, и рассказывала, что весной речка вся в черемухе, белым-белая! Воды не видно.

Шли они логом, слушали, как Хмелянка наговаривала. Осенью она неприветливая, берега стылые, инеем

---

[1] Шутемы — заброшенные поля.

подернулись. Черемухи стоят голые, зиму ждут, лапами заиндевевшими покачивают.

— Пора мне, Гриша! А то дома хватятся. Отсюда дорога прямая, логом идти.— Она обняла его, заглянула в глаза и попросила: — Не обижай меня, Гриша. Ладно?

Отошла с версту от него, на душе горько, придется врать свекру. Не покраснеть бы! Четыре года прожила она у Тумаков постылых, а врать не научилась. Свекру чудно кажется, что сноха врать не умеет. Чуть что в доме стрясется, он к ней: «Ну игуменья, поведай...»

Березы сникли и пригорюнились. Трава к земле прижалась от холода. А дорожка крепкая, как по мосту идешь. Век бы идти так, не останавливаться!

Мария потихоньку песню запела: все легче, не думается. Пела она, что ест сосну-девушку болото сырое...

Не цветет сосна-девушка на болоте, не радуется.
Кедр-великан к ней с горы не спустится,
Великана-кедра болото не выдержит.

...На улице, бывало, первый снег метет-кружит, а бабушка Вогулиха над печкой-каменкой качается и поет, что пришла зима лютая, принесла бел снег в ровдугах[1] кожаных...

Зима кедру ноги укутает,
Сосне-девушке ноги выморозит.

Вышла Мария к огородам, навстречу Анфиса с Еремихой. Поглядели они на нее и на большую дорогу пошли. Она поняла: в скиты направились, к Сафронию. Горе у Степаниды. Митька ее ушел, не сказавшись, и вторую неделю нет.

Глава двадцать вторая

Григорий и хмурился, и говорил не спеша, а скрыть от стариков своей радости не сумел.

— Ты чего воссияешь, как божия матерь? — спрашивал его Сидор Матвеевич.

---

[1] Ровдуги — кожаные мешки.

— Выздоровел.

— Ну! Собаку только не балуй! Не кошка, задуй тя ветром!

Старики приглашали его с собой на охоту. Сидор Матвеевич уверял, что лоси не сегодня-завтра на болота выйдут, и будет их там, как летом коров на поскотине.

Иван Егорович пощипывал черную бороду, посмеивался. С обеда хозяин ушел в лес, сказал — за жердями, но ружье взял.

— Гудят мои ноги и гудят! — жаловался Иван Егорович, залезая на печку.

Григорий сходил в клеть за книжками, разложил их по столу, перебирал, читал заголовки. Добрые книжки собрали ему ребята, политические все. Он, конечно, и без книжек знал, кто враг, а кто союзник рабочему классу. Но с ними увереннее как-то. Покачал он на руке одну и решил, что читать их надо с утра, на свежую голову. Встал, походил по избе, понял, что не усидеть,— зацепила Мария за сердце. Вроде не маленький он и баб видел, и с девками гулял. Иной раз мугорно на душе, северяк дует, или дождь сыплет, а Марию встретит, нахлынет радость, и весь он в этой радости, как в теплой воде. Стыдно сказать, парень ведь он, не кисель какой-нибудь, не теленок.

Он улыбался, вспоминая о ней.

Улыбался и забывал все, одну Марию видел: смешную, синеглазую, не похожую на других. «У всякой березы свой характер,— говорила она.— Не обижай меня, Гриша. Ладно?» А как такую обидишь...

В избу зашла Матрена, опустилась, охая, на лавку у порога и сказала:

— Митькина изба горит! А мужики на охоте... К сердцу подкатывает, господи. Бежать не могу.

— Какая изба? Где? — спрашивал Григорий, одеваясь.

— Митькина. Полнеба дымом затянуло. Увидишь.

Он бежал пустынным селом и спотыкался на ровной дороге. Остановился саженях в пяти от горевшей избы, чтобы отдышаться... В дыму Митькина изба, огонь бьется в окна, стекла еще целы.

Перед горевшей избой стояли старухи.

— Ведра тащите, бабы! Ведра! — закричал он им.

Они расступились, пропустили его.

— Лестницу надо! Лестница где? — суетился Григорий.

Одна из старух сказала:

— Не прыгай зря, парень. Божье дело, очистится Степанидушка в огне, спасет душу...

— Сдурела, старая! — Он увидел учителя, подбежал к нему: — Людей зови, Владимир Андреевич! Людей!

— Избу не спасти. А ребят жалко, Степанида там с ребятами.

Григорий оттолкнул учителя, бросился к окну, вышиб кулаком раму. Кто-то схватил его сзади за плечи и вытащил из окна.

Он узнал Пильку и заругался.

— Я полезу,— сказал ему Пилька и попросил: — Подмогни!

Григорий подтолкнул его. Пилька нырнул в избу и пропал в дыму.

Из разбитого окна валил сухой едкий дым. Григорий кашлял, тер глаза, но от окна все-таки не отходил, ждал Пильку.

Пилька появился неожиданно, сунул ему в руку девочку, совсем еще маленькую, крикнул:

— Бежи к дверям! Открою!

Не выпуская из рук девочку, Григорий бросился к дверям. У крыльца его догнала Даша.

— Угорел, што ли! Давай девчонку-то!

Он пытался сам открыть, наваливался на дверь всем телом, но она не поддавалась. Степанида, видно, приперла ее бастригом из сеней.

Он опять подбежал к окну.

Старухи стояли тихо, как на обедне, наблюдали за ним. А он бегал под окном, звал Пильку.

Со звоном лопались стекла, огонь рвался из избы, лизал оконные подушки, будто пробовал их на вкус.

Пилька вышиб бастриг, дверь открылась. Григорий забежал в сени, увидел барахтающуюся на полу Степаниду с ребятами — Пилька волок ее к дверям, а она упиралась.

Григорий хотел помочь ему.

— Ребят тащи! Я сам! — закричал ему Пилька.— Обоих бери. Не топчись!

Он схватил ребятишек, выбежал с ними на улицу, отдал Даше и побежал обратно... И не успел — рухнула

крыша, Степанида осталась в сенях под горевшими стропилами.

Пилька сумел выскочить из сеней, но тяжелое бревно, переломив навес над крыльцом, сшибло его с ног.

Когда Григорий подбежал к нему, он был еще жив, стонал и пытался поднять голову, но глаза уже тускнели. Григорию показалось, что Пилька борется со сном и не может одолеть его.

Учитель опустился на колени, убрал с Пилькиного лба волосы, вытер рукавом с лица его сажу и заплакал по-бабьи, всхлипывая и причитая.

Григорий глядел на баб, на притихших старух и думал, что скоро все разойдутся по избам, сядут теребить шерсть, застучат горшками на кухне. Ему стало страшно. Он в первый раз встретился с врагом, которого нельзя смять, придавить к земле или поставить к стенке, которому не крикнешь: «Стой! Стрелять буду!»

Оседая и разбрасывая искры, догорала Митькина изба.

По грязному, оттаявшему двору бродили куры. Ветер вдруг стих. На черные платки баб, на лысую голову учителя посыпался долгожданный снег.

Снег ложился на лицо Пильке мягко и ровно, снежинка к снежинке, и не таял.

Глава двадцать третья

Верстах в тридцати от Больших Гарей есть деревушка Тычки. Стоит она, что называется, на семи ветрах. Нет ни полей настоящих, ни лугов добрых, ни леса поблизости. Одни лога да овраги, нырки да кочки. Только с севера подступал к Тычкам клином лес — Львовская дача. Мужики говорили: «Дай бог князю здоровья, хоть лес воровать есть где!»

Григорий попал в Тычки в восемнадцатом году зимой, когда отступал с Усольским отрядом от Юрлы. Ночевали они с Семеном в самой бедной избе, да еще с покойником — старика хозяина заели вши. И старуха, и невестка во всем винили «германца». Рассуждали они, по мнению шестнадцатилетнего Григория, бестолково. На войне убили сына, хозяин стал задумываться, от дум появились вши. «Баню надо было топить, дуры! Баню!!» — ругался тогда Григорий.

Копая могилу Пильке, он вспомнил Тычки, белый гроб посреди избы, над гробом старуху. Вспомнил и задумался. А думал он, как и жил, просто. Хозяина своего, Сидора Матвеевича, считал союзником, Тумака — врагом. Жил вроде легко. Все с маху решал, в мелочах не копался. Знал, что дождь из туч, а из чего тучи — не интересовался. Пильку сшибло бревно, он сам видел. Но свалить всю вину на бревно и успокоиться Григорий все-таки не мог.

— Покурим давай,— предложил он учителю.— Плечо опять заныло, будь проклят!

Они вылезли из ямы и сели на старую могилу.

Густой снег торопливо засыпал стылую землю, пожелтевшие вереса, пригорки с жухлой травой.

— Устал, Владимир Андреевич?

— Друг умер, Гриша. Хороший человек! Все думают, что умер только Пилька-зырянин. Так думают — ошибаются. И мы немножко умерли вместе с ним, с Пилей...

Неделю назад Григорий оборвал бы учителя: «Не мели ерунды!» А сейчас слушал и старался понять: почему вместе с Пилькой умерли и другие, живые люди? Не понял, затоптал окурок и полез докапывать могилу.

К вечеру небо прояснилось, ударил морозец.

Они пошли домой по белой дороге черным лесом. Стайки клестов-разведчиков проносились над ними. То тут, то там фуркали рябковые выводки. Владимир Андреевич рассказывал, что Пилька приносил в школу разных зверюшек, чаще всего «полосатиков». Так Пилька называл бурундуков.

Запахло гарью, они вышли к селу. Над темным пепелищем кружились серые вороны и пронзительно каркали.

Учитель остановился у старых покосившихся ворот.

— К Крестинье я перешел. Забегай случаем.

Григорий понял: Дашка выгнала учителя, но промолчал. Дома его ждала еще новость: самого маленького, восьмимесячного Алешку, хозяйка отдала.

— У добрых людей жить будет парничок. Не сумлевайся,— сказала она Григорию.

Он умылся и заглянул на полати. Ребята спали. Старший, Артемка, похрапывал, девочка, съежившись комочком, вздрагивала во сне.

Хозяйка принесла на стол еду и спросила:

— С ребятами чево делать будешь?

Он и сам не знал, что с ними делать. Маленькие уж больно. Зине всего три годика. С собой их брать, в Усолье везти? Далеко и морозно.

— Иван Егорович где?

— На печке спину греет. Уснул, знать-то. Не стонет.

Григорий пошел будить старика.

— Ну, чево тебе! Чево? Полуношник! — ворчал Иван Егорович.— Так я славно пригрелся, так славно!

— Ребята у нас... Посоветоваться хочу.

— Вот смола! Явится хозяин, сядем столом и обсудим. Не котята ведь, в ведре не утопишь, в лес не унесешь. А мне, Гриш, сон приснился, такой явственный сон... Будто вызывают меня на суд к самому господу, и будто спрашивает меня господь ласково: «Скажи, мужичок, как на земле жил, как мое имя славил?» А я ему на спину жалуюсь, болит, говорю, спина, господи, спасу нет! Всю жизнь, говорю, по лесам да болотам мотаюсь, прости меня грешного. «Ложись, мужичок, на лавку,— говорит мне господь,— я тебе спину лампадным маслом натру». А руки у господа такие мягкие да теплые, как у бабы. Тут меня ты и разбудил. Не усну теперя...

Старик отвернулся и замолчал. Не то обиделся, что разбудили, не то опять уснул.

Григорий потоптался у печки и пошел к порогу одеваться.

На улице морозно, даже подошвы прихватывает.

По небу плывет круглая луна. Белая дорога блестит, переливается, а заплоты черные, как осенью.

Он решил заглянуть к Михаилу. Открыла ему Даша, пригласила в избу и сказала, что хозяина нет, вчера еще ушел в тайгу.

— Капканы, говорит, поставлю. Знаю я, какие капканы он ставит! И когда вы только жить начнете как люди?

— А ты уж успела, прогнала учителя?

— Сам он ушел. Меня и дома-то не было.

— Не стыдно тебе, Даша!

— Ты меня не стыди! — заругалась она.— Указчик выискался! Сам живешь без пути и без понятия, а других судишь!

Он долго ходил по селу, топтал снег, думал: Дашка

права, не так он живет, не то делает. Полковник жив, по тайге бродит, сволочь, посмеивается. А Пильки уже нет, сам могилу копал. Крутую, скользкую... Село притихло к ночи, затаилось и ждет — кто следующий? Кому в крутую могилу ложиться вместо Залесского?

У Тумаков горела лампа на кухне. Он сел на холодные ошкуренные бревна против тумаковской избы. Собака подошла к нему, ткнула морду в колени. Морда у ней добрая, а глаза красные, вроде таких глаз у собак не бывает.

Он погладил собаку и пошел домой.

В избе темно. Фекла Петровна сидела на лавке тихо, пригорюнившись, ждала хозяина.

Григорий забросил на полати полушубок, в голову положил свое пальто и лег рядом с ребятами.

Пришел Сидор Матвеевич, покряхтел, раздеваясь у порога, напился из кадки.

— Исть станешь? — спросила его хозяйка.

— Какая еда, ложись! Не полуношничай, не за тридевять земель Дашку отдала, в своем селе живет. Через три избы.

Старики пошептались, повздыхали о дочери и пошли спать за печку. А Григорий не мог уснуть. На душе было неспокойно. Думал он о разном, а как по кругу ходил. Не расстреляй он тогда Митьку, не было бы пожара, не было бы сирот, и Пилька жив бы был... Слабел, забывался ненадолго и опять открывал глаза. Митьку приговорил к расстрелу не он. Степаниду скитники с ума свели, а Пильку бревно сшибло. Складно получилось: другие во всем виноваты, не он! Да бревно проклятое сердило.

С полу потянуло холодом, Григорий привстал. В избе еще темно, но окна уже серые. Значит, утро скоро, можно будет вставать. Заплакала девочка, прижалась к нему. Он закрыл ее полушубком, хотел приласкать и вспомнил... В логу светло, как днем. Ветер кусты качает. Между Митькой и им черные тени пляшут. Дошли до поворота, заорал Митька истошно и в гору бросился.

Выстрела Григорий не слышал — шумела речка...

Глава двадцать четвертая

Иван Егорович нашел ему место у самой веретии, за толстой суковатой коряжиной.

— Баское место, Гриша. Лоси по елани кинутся. Не зевай! Быка пропусти... Стадо наше будет.

Сам он долго устраивался под елкой, кряхтел и охал.

Прижавшись к коряжине, Григорий долго глядел на чистую и ровную веретию. Она тянулась от леса, похожая на огромный белый язык. И слева и справа подступали к ней страшные зыбуны. Сейчас они припорошены снежком. Чернели на болоте одни худосочные елки да рукастые пни.

В лесу то сучок треснет, то птаха заверещит, а тут хоть неделю сиди — ничто не шелохнется, не скрипнет. Тишина мертвая. Думается в такой тишине по-особенному. В избе и на людях можно кое-что не додумать, кое-что забыть, делом каким отвлечься...

Глядел он на чистую веретию, думал. Лоси каждую зиму рога сбрасывают, за лето у них новые вырастают. А с души тяжесть не сбросишь ни зимой, ни летом. Не лосей бы ему сейчас караулить, а полковника Залесского. Месяц прошел, не сегодня-завтра Яков Сергеевич объявится. А что он узнал, чего доброго сделал? Легко, конечно, других винить, не себя. В Усолье строго наказывали, чтобы выбирал он помощников осторожно. Боялись, что спугнет полковника. Наказ он помнил... А вот Митьку расстрелять своего ума хватило, в Усолье советоваться не бегал.

На веретии мрачнеть начал снег. Вечерело. Григорий поправил берданку, встал поудобнее. Когда Тумака ждал на рассохе, волновался он меньше. В человека стрелять проще, видно. И вдруг будто ветром пахнуло — по белой веретии неслось на него стадо лосей, впереди отмахивал серый бык. «Пропущу его и...» — Григорий приподнялся над коряжиной и прицелился в горбатую лосиху. Но рогатый вожак, поравнявшись с ним, встал в дыбы, Григория обдало теплом, он увидел налитые кровью глаза и выстрелил. Лось с маху уткнулся рогами в коряжину, поскоблил копытами снег, пытаясь подняться, и рухнул в двух шагах от него.

Когда Иван Егорович подбежал к ним, Григорий дергал заевший затвор, лось храпел и вздрагивал, большой красный глаз быка наливался болью, влажнел.

Старик сел на коряжину.

— Господи меня прости, старого дурака!

Григорий подал ему кисет. Они закурили. Старик обнял его, как маленького, и засмеялся:

— Гришуха ты, Гришуха! Долго тебе жить!

Не успели они как следует покурить, Сидор Матвеевич подъехал. Свалили теплого еще быка на волокушу и домой направились.

По дороге Сидор Матвеевич рассказывал, что спугнул лосей под кедровым мысом.

— Ехал я к вам без надежды. Ушло стадо, показалось мне, осинником на сухое болото. Один бык — невелика добыча, но пока с мясом... В молодости, помню, на етой самой веретии я трех брал из стада, не меньше. Какие лоси были! Не дай бог ранить — съест. В землю затопчет! Опять же помню...

— Про филина не забудь.

— Эх, Егорыч! Разве бы я от филина побежал? Леший за мной гонялся. Зубами лацкал, страшным голосом орал. Диву даюсь, как не съел. Два раза куснул, однако.

К дому подъехали уже затемно.

Старики остались во дворе — лошадь накормить и привязать собак.

Григорий зашел в избу, разделся и полез на полати. Девочка спала раскрывшись: жарко было, душно. «Совсем еще маленькая,— думал он, устраиваясь возле нее.— Молочком пахнет».

В тепле разморило, он уснул скоро и спал до утра не просыпаясь.

И утром встал позже всех. Хозяйка стряпала, стучала чугунками и чашками на кухне. Старики ели, разговаривали. Он хотел уж слезть с полатей, но прислушался к разговору за столом и притих. Старики беседовали о нем. Сидор Матвеевич говорил, что хворь у него нутряная: может, Мария сглазила, может, умнеть начал.

— Лось, Егорыч, тоже на третьем году задумывается. Ходит по лесу дурак дураком, на зверя не похож.

— Проглядели парня. Ох, проглядели! — вздыхал Иван Егорович.

Вступила в разговор хозяйка. Она предлагала врасплох с веника на него брызнуть и протащить с молитвой три раза через потный хомут.

— Молитвой и веником Гришку не проймешь! — сказал Сидор Матвеевич.— Есть у меня одно средствие...— Старик наклонился над столом и заговорил тише.— Поломает парня медведица, перемнет кости, и хворь с

него как рукой снимет. Держу я на примете берлогу.

Зина проснулась и запросила пить.

Григорий слез с полатей, принес ей воды в ковше. Девочка напилась и уснула. Он пошел умываться. Умылся и сел за стол. Хозяйка поставила перед ним чашку с горячим мясом.

Он грыз крепкое, недоваренное мясо, пахнущее осенней травой, и поглядывал на стариков. Они сидели потные, осоловевшие от еды.

Тихо было в теплой избе, уютно. На полатях сопели ребята в четыре ноздри, на кухне топталась Фекла Петровна, сытые старики вздыхали, утирались синими застиранными рукотерниками. Но Григорий помнил, что рядом другая жизнь — с грохотом, с выстрелами, с диким предсмертным воем. Она может ворваться в избу, разметать все, все спутать. Она не щадит ни стариков, ни детей, после нее остаются слезы, кровь и боль...

Он отодвинул чашку с мясом и пошел на улицу вышибать патрон из берданки. Долго бился с затвором, кое-как вышиб. Патрон, звякнув, отлетел в сторону. Он нашел его в снегу, поднял, покачал на ладони — тяжелый, неразряженный — и усмехнулся: и тут повезло! Опоздай старик самую малость, лежал бы он сейчас без забот в белом гробу. Плакать о нем здесь некому. Одна Мария поплачет украдкой. Не подруга ведь, жена чужая, Степановой молодухой на селе зовут... Он вчера еще решил, что в тайгу уйдет, день будет ходить, неделю, пока не сдохнет. Может, случаем и набредет на следы Залесского.

Он выпросил у хозяйки каравай хлеба, пошел в клеть за солью.

— Куда собрался? — спросил Иван Егорович.

Он ответил, что в лес, на охоту.

— Делом сначала займемся. Яков Сергеевич, гляди, нагрянет. Отчет с нас потребует, как мы торговую политику вели, спросит.

Григорий снял полушубок и сел за стол. Старик принес договоры с охотниками, стали считать, сколько кому дано муки, соли, сахару и припасов.

— Ты цифры столбиком записывай! — просил Иван Егорович и водил по бумаге толстым пальцем.— Которая забудется или в сумлевание введет, проверим по расходной книге. Сам понимаешь, дело государственное, нельзя нам ни в какую сторону промашку давать.

Григорий считал, старик ухаживал за ним, носил питье, заставил надеть теплые валенки.

Ребята поели на кухне и пришли в горницу. Артемка сел к окну, глядел больше на улицу, чем на них. А Зина тянула худые ручонки к бумажкам, путала их, мешала считать. Григорий терпел, жалко было прогонять ее.

Подсчитали расход по договорам, осталось самое трудное. Старикам немощным и многодетным вдовам, вроде Крестиньи, отпускали муку и товары как сердце подскажет. Но Иван Егорович ничего не забыл, начал перечислять, кому что дано и сколько...

— Как ты все помнишь,— удивился Григорий.

— До тебя мне далеко! — заулыбался польщенный старик.— Ты вон как считаешь! Чистый бугалтер! А што я цифры помню, не диво ето. Голова у меня свободная, никакими книжками не забита.

Григорий засмеялся.

Зина собрала в кучу бумажки и подбросила их над столом. Бумажки стали веселыми белыми птицами, но ненадолго.

Иван Егорович собирал их с полу и рассказывал, как жил он в Чердыни у доктора. Ученый был человек, все знал: и от чего гром гремит, и какие люди жили в глубокую старину, а к белым переметнулся.

Выписали расход муки и товаров на бумажку, пошли в клеть, а в ней пусто. Муки осталось полтора мешка, десять фунтов соли, солдатского сукна пятнадцать аршин и две берданки.

— Не стыдно будет арифметику нашу Якову Сергеевичу показать! —радовался Иван Егорович.— Торговали честно, бедняков не обижали, богатому не кланялись.

Отдохнули на пустых мешках, поговорили и вернулись в избу.

За столом сидел Михаил, в чистой белой рубахе, причесанный. Сидор Матвеевич угощал затя пивом, хвалил Советскую власть и свое Челпановское село.

— Опять же, Михаил Спиридонович, сено. Токо не ленись, можно возов двадцать поставить за лето. А в городу — какая жизнь! Ету самую траву, говорят, продают на базаре, две горсти — стоит мильен. Истинный крест!

— Ладно, не уговаривай. Сам все знаю. Да размаха тут нет, развернуться нашему брату негде.

— А Тумак, задуй его ветром? Без тебя, Михаил Спиридонович, житья никому не будет, согнет нас старый Тумак в бараний рог.

— Не бойся, нет больше Тумака! Кончился.

Сидор Матвеевич не верил подвыпившему зятю, но не спорил с ним, думал: на какую теперя лыжню вставать, как его от города отговаривать?

Иван Егорович поглядывал на печку, видно, спину решил погреть. Григорий у порога топтался, думал — к столу подсаживаться или в лес идти?

Михаил позвал их к столу и сообщил новость: бандиты ждут Якова Сергеевича на Вогульской тропе.

Старики не сразу поверили, стали расспрашивать: как узнал, от кого? Он сказал, что старый Тумак ему перед смертью исповедывался.

— Темный лес был свидетелем да частые звезды. Завтра выходит на тропу миллеровский офицер, с утра. Думайте, мужики. Людей у меня в наличии нет.

Глава двадцать пятая

Шли всю ночь. Спускались в черные лога, переходили по скользким обледенелым валежикам незамерзшие еще речки. Продирались сквозь густой и холодный осинник, брели по молчаливому лесу. В осиннике и на взгорье снег был рассыпчатый. Старики с опаской поглядывали на небо, ждали непогодь.

Начало светать. Снег побелел, стало просторнее и шире в лесу. Перешли еще речку, долго и тяжело поднимались по большой отлогой горе. Рос на ней голоногий кедрач без подлеска, под кедрами — длинная жидкая трава вперемешку со снегом.

Пока взбирались на гору, совсем рассвело.

По голой вершине гулял ветер, трепал низкорослый лабазник. От камней несло холодом.

С другой стороны гора была круче; спустились саженей на тридцать и сели отдыхать под широкую елку.

Внизу, среди серых кустов и темного ельника, белела широкая Вогульская тропа.

— Много их? — спросил Иван Егорович.

Михаил не знал и начал гадать, сколько бандитов может вывести на тропу миллеровский офицер.

— Поздно сейчас считать!

— Следы покажут,— сказал Сидор Матвеевич.— Воевать надо умеючи. Вчетвером на роту не кинешься.

— Какая рота! Сдурел? С десяток бандитов наберется.

— К слову пришлось, Михаил Спиридонович. Григорий из села в тайгу рвался, а теперя молчит. Елочками любуется.

— Сколько ни сиди...— Иван Егорович встал.— Идемте. Идти надо... Охотники в тайгу ушли, как на грех.

Спустились на тропу и разделились. Двое пошли с одной стороны, двое — с другой.

Версты через две Сидор Матвеевич наткнулся на следы.

— Трое, видать,— сказал он.— Ночью брели, как слепые, качались промеж елок!

Следы вывели их из лесу. На белой тропе чужие следы казались темными.

— Двое в бахилах, один в сапогах,— определил Сидор Матвеевич.— Не спеша идут.

Прошли еще с версту, темнеть вокруг начало. Повалил снег. Старики забеспокоились: не ровен час, столкнемся нос к носу с бандитами. Решили переждать непогодь.

Григорий сел под широкую елку, на замшелую осину, к нему пристроились старики. Михаил ушел под другую елку, поближе к тропе.

Снег валил густо, а они сидели как под крышей. Редкие снежинки пробивались к ним. Иван Егорович волновался: с собаками идет обоз или без собак?

— Куда оне делись? — успокаивал Сидор Матвеевич.— С собаками из села вышли. Помню еще...

Сидор Матвеевич начал рассказывать про белолобого пса, который за версту чужого чует. Григорий думал: вот в такую же непогодь вел он по тракту брата, раненого под Юрлой. Брат говорил, что рана у него пустяковая, от таких ран коммунисты не умирают...

Холоднее вдруг стало, Григорий поднял голову: снег прошел, последние снежинки кружились в воздухе.

Следы на тропе занесло. Но старики шли уверенно. В одном месте мох был сбит с валежины, вмятина осталась, в другом — обледеневший куст надломлен.

Иван Егорович нашел под березой окурок.

— Гляди, совсем свеженький!

Михаил взял у него окурок, покачал на ладони, сказал:

— Ждите! — И скрылся в елушках.

Он быстро, как показалось Григорию, вернулся, стряхнул с себя снег.

— Кажись, трое и есть.

— Точно, Миша?

— Ну, четверо. Кусты там и кочки, не разглядел.

По густому заснеженному елушнику он довел их до лога и показал на темные низенькие кусты. До кустов было саженей двадцать.

Они залегли. Лежали долго. Ждали, в каком месте куст покачнется.

Лог в белых кочках, меж кочек кусты, невысокие, но густые.

Одна из кочек зашевелилась, Григорий прицелился, но выстрелил Иван Егорович. Из кустов выскочили два человека. Защелкали выстрелы — один упал, другой, в серой папахе, бросился вниз по логу.

— Уйдет! Уйдет офицер! — закричал Сидор Матвеевич, встал в рост над елушником и, выронив ружье, осел.

Григорий бежал по белому логу за офицером и видел только его, убийцу Семена. В конце лога блеснула неширокая речка. Полковник заметался перед ней, выстрелил несколько раз не целясь и бросился в воду. Выбрался на берег, побежал вдоль речки. Григорий не отставал от него, с маху кинулся в воду. Вода обожгла как огнем. Черный полушубок мелькал в кустах впереди его саженей на сто. Сбросив мокрое пальто, Григорий гнался за офицером по захламленному валежником берегу, спотыкался, падал. Вскакивал и снова бежал.

Полковник начал уставать: падая, не сразу поднимался, поднявшись, искал опору, хватался за жидкий ивняк, за ломкий ольховник. Григорий догнал его, маячила перед глазами серая заплата на черной спине. Он прицелился в нее, выстрелил.

Полковник повернулся к нему и, шатаясь, стал пятиться к кустам. Григорий выстрелил еще раз...

У самой воды, раскинув руки, лежал грязный чернобородый мужик в узконосых офицерских сапогах.

Григорий постоял над ним, поднял наган и пошел обратно, искать свое пальто и серую папаху полковника.

Глава двадцать шестая

Захмелевшие мужики уговаривали Якова Сергеевича:

— Дорог ты нам, Сергеич! Дорог. А тут неувязка.

— Отдохнуть бы денек-другой в тепле. Душа замерзла! Дрожит как овечий хвост.

Сидор Матвеевич кричал с кровати:

— Гуляйте, задуй вас ветром! Пиво надо допить. Куды я с ним денусь?

— Чуешь, Сергеич! Чуешь! — торжествовали мужики.— Раненый, а понимает.

Яков Сергеевич не спорил с ними, улыбался, постукивал по столу худыми пальцами.

Григорий приглядывался к начальнику, будто в первый раз его видел. Пьет Яков Сергеевич наравне с мужиками, песни тоже поет, а усталый какой-то, и глаза грустные...

Мы в Германии стояли,
Горы каменны ломали.
Ох ты, калина,
Ох ты, малина!

— Ну, попала вожжа под хвост,— ворчал на мужиков Иван Егорович.— Не уйдем по мелкому снегу, намаемся!

Один из мужиков вдруг помрачнел, губы у него затряслись. «Не моя ли дочи плачет»,— запел он жиденько.

Ой, да не моя ли дочи плачет
На чужой сторонке?

Григорий вылез из-за стола, поглядел на полати. Две головы белели над брусом. «Хоть одно сделали»,— думал он одеваясь. Сидор Матвеевич зиму ребят прокормит, а летом посуху обещал старик непременно привезти их в Усолье.

— Не к председателю, Гриша? — спросил Яков Сергеевич.

— К нему.

— Пусть зайдет Михаил Спиридонович. Дело есть.

— Нету у нас делов! — закричал самый молодой из мужиков, безбородый.— Гуляем — и никаких! — Он обнял начальника и заорал по-дикому:

И-ех... вы, трубы, трубы, трубы,
Трубы медныя!..

Сыпался из серого тихого неба мягкий снежок. Село побелело, избы присели и будто подобрели. Осенью кедры у председательских ворот стояли, как грозные часовые, а сейчас похожи они на стареньких караульщиков.

Михаил был дома, набивал патроны. Григорий передал ему просьбу начальника.

— Не подчинен я вашему начальнику,— сказал Михаил, но пошел одеваться.

— А Даша где?

— Убежала к Крестинье за закваской.

Вышли они вместе, за воротами разошлись. Григорий направился к Крестинье, шел не торопясь, заглядывая в тусклые окна знакомых изб, прощался с селом. У Ильи Парамоновича двор большой, ворота широкие — на двух волокушах заезжай. Рядом изба Улеба Захаровича, ворота и оконные наличники в замысловатых фигурах. Подальше, за высоким заплотом, гнездо Тумаков...

К Крестинье Григорий не зашел, ждал Дашу на улице.

Учитель открыл ей ворота. Она что-то сказала ему и побежала домой, прижимая к груди завернутую в красный платок чашку.

Григорий догнал ее и попросил сходить к Марии.

— Погубишь ты бабу! Дома Степан, не лесует он нынче.

— Уходим мы завтра. Неужто у тебя сердца нет!

— Да не держи ты меня, ирод! Застудишь закваску. Куда звать-то?

— К старому кедру. Она знает, у Сенькиного болота.

— Сдурел! Четыре версты! В баню бы звал, тепло и ловко. Полок есть...— Даша засмеялась и свернула с дороги на тропку, к своим воротам.

Домой Григорий не зашел, спустился в поскотину, по ней вышел к огородам, перелез через скрипучее прясло и пробрался по сухому малиннику в баню.

В бане темно, не видно ни полка, ни лавки. Только отсвечивала горбатая каменка, на нее падал свет из узенького окошка.

Григорий отодвинул ушат с водой, нащупал лавку и сел поближе к двери.

Пахло щелоком, сыростью.

Только начал он привыкать к густой банной тишине, сорвалась с потолка тяжелая капля и — чак об пол. «Будь что будет,— думал он,— расскажу все: и как за полковником охотился, и как в Митьку стрелял, пусть судит. Все равно не житье ей со Степаном!» Он представил Марию в Усолье, среди знакомых людей, в белом полушалке, красивую...

Вечереть начало. Капли зачакали громче. Мелькнула за темным окошком тень, упал ковш в предбаннике.

Он открыл дверь.

— Ты, Маша? Давай руку! — Он посадил ее на лавку.— Не замерзла? Грейся. Тихо тут, капли чакают. Уходим мы завтра. Прощаться, выходит, надо.

Она вздохнула.

— Прощай. С красивыми думами пожила — и на том спасибо. Я ведь, Гриша, маленькими радостями живу. Иной день до того тошно и горестно, а к вечеру, глядишь, радость подвернется. Маленькая радость, как цыпленок.

Он сказал, что у него нет радостей и ждать их нечего.

— Наломал я дров, Мария...

— Не выдумывай на себя! Чево ты? — Она засмеялась.— Жизнь, Гриша, большая-большая. И конца ей нет, как море-океану.

Он схватил ее за руку, прижал к себе крепко, стал уговаривать:

— Бросай Степана! Уходи. Товарищем тебе буду верным до самой смерти!

— Нет, Гриша, нет. Как я? Куда? На службе ты, с обозом...

— Не увидимся ведь больше, Мария!

— Увидимся, Гриша. Я тебе на дорогу шанежек испекла. Принесу. У старого кедра дожидайся. Мимо пойдете... Прощай пока, дома меня хватятся, побегу я!

— Посиди еще,— уговаривал он ее.— Посиди! Рано ведь, сумерки негустые.

— Бежала к тебе, думала: не поймешь, обидишь. Спасибо тебе, Гришенька. За любовь твою, за сердечную ласку! Помнить буду, радоваться. И моя жизнь не какая-нибудь бросовая была. Хорошего человека любила.

— Я ведь Митьку-то. Я!

Она обняла его, стала целовать горячими, вздрагивающими губами, целовала и плакала.

— Прощай, Гришенька, ненаглядный мой...

Глава двадцать седьмая

Маленький обоз, поскрипывая, полз по селу. Опять впереди Иван Егорович, потом хмурые мужики. За последней волокушей шагал Григорий с начальником.

Утро начиналось теплое, тихое. Сиреневый рассвет пробивался сквозь плотные снеговые тучи. Помаленьку светало. Скрипели ворота, заревел скот. Просыпалось село.

У покосившейся часовни стоял учитель. Когда обоз поравнялся с ним, он снял шапку.

Сразу за селом поредевший от вырубок березняк, синеватый снежок под ним иссечен тропами и тропками.

За березовым лесом — чистые гари. По ним ползли долго. Григорий беспокоился: прибежит к старому кедру Мария прямушкой, а ждать ей долго нельзя!

Яков Сергеевич расспрашивал его: как жили в Челпановском, как торговали? Какая охота будет, по стариковским приметам? А он о Марии думал, отвечал невпопад.

— Не очень ты разговорчив сегодня.

— Жили, Яков Сергеевич, не тужили. Лучше не вспоминать.

— Все мы ошибаемся, Гриша.

— Верно, все. Только за мои ошибки пока другие расплачивались.

— Еремин, например?

— Ребят я возьму... Привезет их летом Сидор Матвеевич. Обещал привезти. Честно говорю!

Небо очистилось, посинело. Сразу холоднее стало.

Обоз тянулся по гари к высокому лесу, оставляя на дороге темные следы.

— Папаху Залесского с собой везешь, в город? — спросил Яков Сергеевич.

Григорий ответил, что папаху Михаилу подарил.

Надоедливо скрипели волокуши. Кашляли и ругались мужики. Ветерок гулял по широкой гари, поднимал с полян сухой снег и посыпал дорогу.

Григорий поглядывал на начальника. Яков Сергеевич

в новом нагольном полушубке, широкий, неповоротливый.

— Ждешь слов особенных, Гриша. А сказать мне нечего, пусть совесть твоя говорит.

— Когда надо, она не больно разговорчивая, Яков Сергеевич. Кричит после времени. А сделанного не поправишь.

— Раньше у вогул был обычай. Молодого охотника посылали за зверем, которого никто никогда не видел. В лес уходил юноша, а возвращался из леса мужчина.

— Главного я не могу нащупать, Яков Сергеевич. Главного в жизни. Самую сердцевину.

— Ну-у, брат,— Яков Сергеевич остановился и руками развел.— Сердце тебе нужно, Гриша. Дружеское да мудрое...

Обоз уже заходил в кедровый лес. Григорий вспомнил, что за кедрачом Сенькино болото, и заторопился.

— Извини, Яков Сергеевич! Дело у меня...

Обогнав обоз, он вышел на опушку и увидел шагах в десяти от дороги старый одинокий кедр. Мария не приходила еще — снег чистый под кедром, без следов. Он прижался спиной к холодной коре и стал ждать.

Обоз спустился в болото, поскрипел и затих.

Григорий подул на пальцы и достал кисет.

Из лесу выбежала Даша. Он понял: что-то случилось, но не мог сдвинуться с места, будто сто пудов ему навесили на ноги.

Подбежав к нему, она закричала:

— Ты! Ты во всем виноват, ирод окаянный!

Он тряс Дашу за плечи:

— Говори! Где она? Говори!

— Убивает Марию Степан. За селом настиг.

Григорий оттолкнул ее, бросился к лесу.

— Постой! — кричала она ему вдогонку.— Постой, Гриша! Не поспеть тебе...

Он бежал по примятой волокушами дороге. Промелькнули темные кедры, забелела широкая гарь. Остановился в березовом леске, отдышался, схватившись за сук, и кинулся тропкой напрямик к селу.

Он увидел Марию у часовни. Она ползла по дороге, оставляя за собой на чистом снегу алые пятна крови.

Он поднял ее и понес, нес через все село, суровый, почерневший.

— Не гляди на меня, Гришенька! Не гляди. Страшная я!

Он занес ее в избу и топтался посреди горницы с ней, не зная, что делать. Куда положить? Лавка оказалась узкой, покатой. На кровати спал раненый хозяин.

— Деток у нас не будет, Гришенька! Истоптал он меня.

— Клади на лавку! — закричал проснувшийся Сидор Матвеевич.— Ко мне клади, задуй тебя ветром!

— Не отдам! Никому не отдам,— шептал Григорий.— Не подходите! — Он сел с ней на лавку, отер щекой кровь с ее губ и заревел.

Выбежала из кухни хозяйка, свалила на пол всю одежду, какая была в избе, и закричала на него:

— Ошалел, клади бабу! Клади, нехристь!

Яков Сергеевич зашел в распахнутую настежь избу, постоял у порога, держась за сердце, поставил в угол ружье и вышел, осторожно прикрыв за собой дверь.

До Челпановского тракта я доехал на лесовозе, расплатился с шофером и пошел в село.

Старый тракт зарос. Узенькая пешеходная дорожка бежала среди молодого елушника. Я шел не спеша, приглядывался к рябым березам на обочинах и вспоминал... Под какую из этих берез ставил я туесок весной?..

Дорожка нырнула под гору, в Митькин лог. В нем все так же пахло дудочником и осокой, только вот речка Хмелянка стала вроде уже и мельче. А когда-то в ней можно было и утонуть, если всего-то тебе шесть лет от роду.

Я перебрался через говорливую речку и долго сидел под знакомым кедром. Вот выйду сейчас в гору, думал я, и увижу Владимира Андреевича, грустного старенького учителя. Но что я скажу учителю? За тридцать лет я не нашел и десяти свободных минут, чтобы написать ему: «Дорогой Владимир Андреевич, у нас тепло, двадцать шесть градусов в тени, а у вас, наверное, дожди, слякоть. И березы на школьном дворе все гудят и гудят...»

А может, встретит меня закадычный дружок Алешка и скажет: «Медведей надо в петли ловить, как зайцев!»

Много разного зверья было в наших краях. Но мы с Алешкой «промышляли» зайцев. Настоящие охотники

зайцами не занимались: заряд стоил дороже. За шкурку беляка, помню, давали нам с Алешкой десять школьных тетрадей и пять рыболовных крючков. Заячье мясо у нас не ели, считали поганым. К любому зверю относились с уважением, даже к росомахе, хотя и называли ее разбойницей. А вот зайцам не везло: и за добычу их не считали, и все мирские беды валили на них. Если мало зимой зайцев — плохие травы будут летом. Много — еще хуже: значит, там, в России, или голод, или война.

У детской памяти своя мерка, свой подход к событиям и встречам. Я забыл фамилию бессменного председателя колхоза, не помню, когда построили в селе клуб и бывал ли я в нем, а пеструю телушку помню. В такой же нежаркий день вывел ее из леса Григорий Никитич. У телушки был мокрый нос, она ревела и трясла большими мягкими ушами...

Родное село рядом, стоит только подняться из лога, но я сижу тут, курю и, наверное, улыбаюсь. Со мной детство, и мне не хочется расставаться с ним, не хочется уходить от знакомого кедра. Здесь я такой, какой есть. Старому кедру и траве не важно, что я достиг и кем я стал, сколько у меня детей и сколько костюмов...

Я пошел в село низом, в обход через поскотину. Это еще километра полтора. Когда-то поскотина была для нас краем земли. За ней начинались болота. В сухое лето зыбуны на них огораживали кольями, а поляны, заросшие ситником и осокой, косили. Поляны на болотах называли оладьями и рассказывали о них всякие были и небылицы...

Поднялся я в село, когда солнце было уже на закате, женщины и ребята загоняли домой скот. У колхозного правления, как и тридцать лет назад, сидели мужики и с важным видом курили. Я поздоровался с ними. Они ответили мне и долго, наверное, глядели вслед, гадая, откуда я, чей, к кому приехал. В Челпановском приезжие редки.

Я дошел до середины села, постоял у старенькой избы с резными наличниками, вернулся к большой пятистенной избе Тумаков, снова побрел вдоль села. Я глядел на окна, искал родную избу. Мне рассказывали, что прадед мой, обезножев, вырезал на восьми оконных наличниках сто бесхвостых коней... Конечно, мож-

но было зайти в любую избу и спросить. Но как-то неловко и стыдно спрашивать о родном доме, в котором родился и вырос.

Выручила меня девочка. Она давно следила за мной. И когда я, усталый и огорченный, не снимая с плеч рюкзака, сел на бревна, подошла ко мне. Расспросив, кто я и к кому приехал, она сказала:

— В вашей избе, дяденька, теперя начальник почты живет!

И повела меня к родной избе, мимо которой я дважды проходил.

Жена начальника почты встретила меня не очень ласково. Краснея и заикаясь, я рассказал ей, когда уехал из села, как тянуло меня на родину в последние годы, как часто я видел во сне родную избу и бесхвостых коней на оконных наличниках.

Выслушав меня, хозяйка сказала:

— Правов, значит, у вас на избу нету!

Я вышел на улицу и сел у ворот на скамейку, рядом с черной кошкой. Кошка лизнула мне руку и ласково замурлыкала. Наверное, она говорила на своем кошачьем языке, что сам я во всем виноват, что слишком долго я шел к родному дому...

Вскоре появился хозяин, высокий серьезный мужчина, на вид лет пятидесяти. Он вежливо поздоровался со мной и, смахнув со скамейки кошку, сел. Опять я рассказывал свою биографию: когда уехал, где жил и как тянуло меня в родное село. «Как же, дело понятное,— соглашался хозяин,— и пес по дому тоскует». Но я чувствовал, не верит он мне, смешной и наивной кажется ему моя запоздалая тоска по родине. И когда я спросил его про старые оконные наличники, он посмотрел на меня в упор, примериваясь и оценивая мою силу. На всякий случай он приготовился к обороне, хотя прекрасно знал, что никаких прав я на избу не имею. Да и зачем они мне, эти права! Меня давно вырвали из села с корнем, как молодое деревцо, и увезли в город.

Густели сумерки. Холодная сырость выползла из логов. Надо было думать о ночлеге. Я надел рюкзак и сказал хозяину, что пойду искать квартиру.

— Надолго к нам приехал? — спросил он.

Я ответил, что недели две поживу.

— Тогда оставайся. Нечего людей смешить! Сколь заплатишь — и ладно.

Мы пошли в избу. Увидев нас вместе, хозяйка обрадовалась, помогла мне снять рюкзак, сбегала в горницу за чистым полотенцем, налила в рукомойник воды.

На середе, как называли у нас кухню, мало что изменилось, только блестел на поличке среди чугунков и крынок пузатый электрический чайник да вместо деревянной лоханки стоял под умывальником рябой эмалированный таз. Запах был тоже другой, пахло не травами, не кожей, а прогорклым маслом.

Умывшись, я вошел в горницу. Какой она была, я не помнил. Но конечно, не было комода, не было железной кровати и венских стульев. Над лавкой висели у нас капканы, пестери и ра́зная расходная лопоть, как у всех тогда.

Хозяйка и за столом старалась чем-нибудь услужить мне: то хлеб подвинет поближе, то мясо. Гостеприимство жены хозяин объяснил по-своему:

— В бедности выросла,— сказал он.— Бог да добрые люди кормили. С одной рубашкой ко мне пришла. Так говорю, Татьяна?

— Разве я спорю, Артемий! Сироты мы. Спасибо отцу твоему, Григорию Никитичу покойному...

— Не буровь все в кучу! Отчим мой сам по себе.

Я слушал их и думал: значит, умер Григорий Никитич, не стало хорошего человека. Я помнил его крепким, черноволосым. Его любили на селе за спокойный характер, за доброту, но почему-то побаивались. Работал он сначала приемщиком пушнины, потом долго конюхом в колхозе. Жил бедно, а трех ребят воспитал чужих...

— Задумался о чем? — спросил хозяин.

Я сказал, что Григорий Никитич даже нас с Алешкой за людей считал.

— Што-што, а доброту у него не отнимешь. С пустыми руками в гости не ходил. То муки нам несет, то обновку Татьяне. Сколь раз говорил я отчиму: не трать-ся зря, обеспеченные мы...

— Одни! Одни осталися! —вдруг заревела хозяйка.— Братья совсем не заходят, тетка Мария не бывала!

Хозяин покосился на жену и объяснил:

— Тетка Мария мачехой мне приходится. Помнишь ее?

Я не успел ответить, он повернулся к жене и сунул

в открытый рот ей кусок хлеба. Она ойкнула, прикрылась запоном и убежала на кухню.

— Оёй, умираю! Оёй! — кричала она на кухне.

— Прокашляется,— успокоил меня хозяин, придерживая за плечо.— Ешь давай, не беспокойся.

Но какая уж тут еда? Я поблагодарил его за ужин и пересел от стола к окну.

— У всех нынче нервы,— сказал он, подвигая к себе чашку с творогом.— У нас почтальон один заказные письма жевал. Судить хотели, не вышло. Расстройство нервной системы врачи признали.

Хозяин поел и ушел спать в холодную избу.

Заплаканная хозяйка убрала со стола посуду и спросила:

— Лампу зажигать или пойдешь куда?

Я сказал, что пойду в гости к Марии.

— Сходи, собак у ней нету.

На улице густо-белая июньская ночь. Такие ночи у нас называли бусыми и ругали за частые заморозки. А Мария рассказывала, что в такие ночи ходит по земле серебряный мужик и раздает ребятам сладкие белые пряники. И мы с Алешкой верили ей, хотя наше село почему-то серебряный мужик всегда обходил стороной.

За тридцать лет я многое мог забыть, но не Марию. Яркая красота ее украшала мое детство. Мы с Алешкой хвостами ходили за ней и терпеливо ждали, когда она заговорит с нами или позовет есть черемуховые пироги. Я почему-то помнил ее всегда одну в большой старой избе. Она расчесывала нам грязные спутанные волосы и пела старинные непонятные песни. Гордая и красивая, она радостью делилась со всеми, а горе выпевала одна.

Я иду сквозь белые сумерки по родному селу и думаю о Марии. Хватит ли у меня смелости поклониться ей за то, что она была в моем детстве... Молчат одинокие кедры, бесприютные тени жмутся к заплотам. Окружает меня бусая таинственная ночь, и я немножко надеюсь на чудо.

Вот и изба ее. В горнице горит свет — значит, Мария дома.

Я прошел по длинным и темным сеням, открыл дверь в избу.

Мария меня сразу узнала и тихо заплакала. Я стоял

перед ней, мял в руках фуражку. Она изменилась, большие синие глаза ее выцвели, волосы побелели. Ведь тридцать лет прошло!

Обругав себя «бестолковой старухой», она усадила меня за стол и убежала на кухню.

Я опять ел черемуховые пироги, пил теплое молоко, а она стояла рядом, худенькая небольшая старушка в черном кержацком платке.

Я взял ее за руки, посадил на лавку и сказал:

— Здравствуй, тетя Мария!

Она улыбнулась, потрепала меня за волосы, как в детстве, и вспомнила:

— Рыжики ведь я посолила. Принесу сейчас, посиди.

Она ушла. Старые ходики показывали восемь. Когда-то я считал, что они управляют временем. Если привязать к гирям подкову, ходики побегут быстрее и мы с Алешкой скорее вырастем.

Мария принесла рыжики. Я рассказал ей, как подгоняли мы старые ходики с Алешкой...

— Нету нашего Алешки. Не вернулся. Последняя пуля убила, самая последняя, говорят.

Она стала рассказывать, как берегла для Алешки невесту, как отчитывала и гнала назойливых ухажеров. А я думал, что не надо подвешивать к гирям стальные подковы и торопить время.

— Ты у кого остановился? — спросила Мария, заметив, что я не слушаю ее, думаю о своем.— Ко мне приходи, места хватит, одна я. Похоронила Григория. Зимой еще похоронила, а привыкнуть все не могу. Стукнет кто воротами, встрепенусь вся: «Григорий идет!» Одумаюсь, поплачу и опять живу... Подожди, письмо у меня от Алешки, найду сейчас.

Она сняла с полки фанерный ящик, в каких отправляют небольшие посылки, достала из ящичка связку писем и, пососав, как девочка, палец, стала перебирать конверты и треугольники.

Подала мне пожелтевший треугольник и сказала:

— Не торопись только. Последнее ведь письмо его.

«Здравствуй, мама,— писал Алешка,— сидим мы в немецкой деревне, дом каменный, три конюшни тоже каменные. Деревянных изб здесь нету. Фашистам скоро капут, полютовали они над нашим народом, сволочи. Мне дали орден Славы второй степени. Приеду, покажу.

Война скоро кончится, старшина говорит. А как вы живете? Как здоровье? В последнее время я вижу тебя во сне, мама. Будто ты в синем платье стоишь на старых Тумаковских покосах. Ребята смеются надо мной. Говорят, улыбаюсь я во сне и шевелю руками. Если у нашей Пальмы щенки будут, то оставьте мне одного. Передайте привет от меня дяде Сидору и всем соседям. Еще сестре Зине фронтовой привет, она часто мне пишет. До скорого свидания! Младший сержант Алексей Еремин».

— Глаша его замуж вышла,— сказала Мария и опять стала перебирать письма. Ей легче было представить сына солдатом. Она видела его крепким и сильным парнем, почти мужиком. А мы расстались детьми, Алешке шел тринадцатый год. Он ходил в широких отцовских штанах и все время их поддергивал. Может быть, потому мне все кажется, что произошла ошибка, что убили не солдата, а тоненького босоногого паренька, у которого не было еще и своих штанов.

Мария дала мне другое письмо.

— От дочери весной получила... Подожди, не читай. Кажись, учитель в сенях скребется.

Она ушла встречать гостя.

Напротив меня стоял в углу желтый городской столик, на нем — батарейный приемник. Над приемником — божница с грустными ликами святых.

Заскрипела дверь, в избу вошел старик, без шапки, в темных очках, с палкой, в коротеньком пиджачке.

Вокруг шеи у него был намотан теплый ярко-красный шарф.

— Иди, иди к столу, Андреич! — подталкивала сзади Мария старика.— Нежданная у меня радость!

Владимир Андреевич подошел к столу. Я пожал ему руку. Мария назвала мое имя и фамилию.

— Помнишь такого?

— Помню, Мариюшка.— Холодные пальцы учителя забегали по моему лицу.— Карандаши он грыз на уроках и учился без удовольствия, будто срок отбывал.

— Ты доброе слово скажи,— вступилась за меня Мария.— И ученые всякие бывают.

Владимир Андреевич сел на лавку. Мария принесла ему стакан теплого молока.

Он выпил, вытер шарфом рот и сказал:

— Восемьдесят мне. Григорий умер, а я живу.

Из незрячих глаз учителя потекли слезы. Мария обняла его. Он не пошевелился, сидел прямо, глядел не отрываясь на пустую стену и рассказывал про ту осень, когда убили Митьку и старого Тумака, а Мария была молодой и красивой.

— Сказочной была, сказочной...

Он или забыл, что Мария рядом, или та сказочно красивая женщина казалась ему другой Марией.

— Первый снег тогда выпал, первый,— шептал старик.— Белый снег, чистый. На нем кровь огнем горела...

Мария налила ему молока:

— Пей лучше, чем старые страхи вспоминать на ночь глядя. А ты читай,— попросила она меня.— Андреич тоже послушает.

Зина писала, что дядя Григорий был для нее самым близким, самым родным человеком на свете. Она просила Марию беречь себя, не плакать, не расстраиваться сильно. «Наше горе светлое,— писала она,— мы счастливые, у нас был дядя Григорий, твой муж, мой отец. Сердце у него такое доброе было, такое бесстрашное...»

Учитель забеспокоился, засуетился, стал просить у Марии какую-то телеграмму и не дал мне дочитать письмо до конца.

Телеграмма была короткой: «Товарищ Григорий Бобров один из рядовых борцов революции. Соболезную утрате. Михаил Шаруев».

— Вот он как! Мишка-то! Вот как! — Учитель долго не мог успокоиться.— Ты все расскажи, все! — уговаривал он Марию.

— Да не тормоши ты меня, господи! Будет еще время, наговоримся.

Владимир Андреевич стал собираться домой, замотал шею шарфом, оправил пиджачок.

— Проводи учителя,— сказала мне Мария.— Заодним и вещи свои прихватишь. Ну, чево смотришь? Не хожу я к Артемию, стыдно. С пяти лет ростила. Людям на смех, себе на грех вырастила. Григорий ходил к ним, обманывал себя, а я не могу... Ладно, идите с богом. Поздно уж.

Мария проводила нас до ворот.

На улице стало еще светлее. По небу плыли широкие белые полосы. Владимир Андреевич по знакомой доро-

ге шагал уверенно, постукивал палкой и неотрывно глядел в полосатое небо.

Мы дошли быстро. У ворот он сказал мне:

— Подожди. Я звездочку вынесу.

Прижавшись спиной к воротам, я долго ждал его. Узенькая утоптанная дорожка убегала от меня по темной траве... Вдруг появился на ней человек в белом совике и стал на моих глазах расти, подниматься. Я поплотнее прижался к воротам и улыбнулся, вспомнив сказку Марии о серебряном мужике. Я даже пытался объяснить его появление разностью температур. А он шел, покачиваясь, ко мне, огромный и невесомый...

— Чего кричишь? — спросил меня учитель, открывая калитку.

Посмеиваясь, я рассказал ему, что видел серебряного мужика.

— Не бойся, у нас бывает,— сказал он и подал мне вырезанную из фанеры звезду.— Месяца два вырезал. Григорий комсомольцем был и жил правильно, по-советски, а Мария крест ему поставила. Упрямая, ее не переспоришь!

Владимир Андреевич собрался идти на кладбище, из кармана у него торчала ручка молотка. Я долго отговаривал его.

Он нехотя согласился, отдал мне звезду и попросил:

— Напиши на ней стих: «В камне, в былинке каждой кровь и твоей зари». Сам пробовал, да неровные буквы у меня получаются. А ты зрячий, напишешь. Аккуратно пиши, мы ее на крест приколотим, и ладно будет.— Учитель вздохнул.— Бессонник я, а ты иди отдыхай. Не забудь:

В камне, в былинке каждой
Кровь и твоей зари...

ДИОФАНТОВЫ УРАВНЕНИЯ

I

Имя мое Олимпий, Олимпий Плотник. Живу я за Старой Гаванью, в александрийском предместье. Когда дует восточный ветер, я дышу вонью ипподрома. Зато западный ветер, дующий с моря, густ и прохладен. Я радуюсь ему и говорю себе: Олимпий, ты никого не обвиняешь и никого не оправдываешь, ты только свидетельствуешь.

В самые тяжелые дни, когда налетает ветер пустыни, я спрашиваю себя — для кого я пишу? зачем? Но спадет беспощадный зной, уляжется красная пыль, и я снова берусь за тростниковый калам.

Мне шестьдесят шесть лет. У меня есть дом, огород, немного денег. И если я вовремя умру, то не стану ни нищим, ни бродягой...

Родных в Александрии у меня нет, знакомых немного. Только Даний — мой бывший раб да фокусник Сиза. Даний был парабаланом[1], сейчас чистит конюшни у епископа. Он уверен, что попал в число избранных и после смерти будет жить в царстве Христа без земных горестей, вкушать белый хлеб и пить сиракузское вино. Я слушаю

[1] Парабаланы (ипараволаны) составляли вооруженные отряды, находившиеся на службе епископов; выполняли и функции санитаров.

его и думаю — пусть тешится, глупый старик, он был хорошим рабом.

Фокусник Сиза тоже старик, но без царства Христова. У Сизы беспокойные руки и печальные глаза. Рабу он не верит, но спорить боится. Знает, что христиане скоры на расправу. Прощаясь, Сиза шепчет мне: «Я хочу жить, Олимпий, жить здесь, другим царством не запасся». Я верю ему, ведь и мне не хочется умирать. Но что такое я! Кому интересно, как жил, как радовался и ошибался маленький растерянный человек?

Передо мной письмо Синесия, несчастного епископа из Пентаполя. Он пишет: «Если в Аиде даже память о живых угаснет, то и там я буду помнить о дорогой нашей Гипатии[1]». Не знаю, помнит ли Синесий. Но я живой, я помню, я пишу.

Детские впечатления похожи на обломки мозаики. Они разрозненны, пестры и ярки. Прошло много лет, а я помню и мраморный пол, и розовые колонны, помню отца, уже седого, в старинном ионийском хитоне. Отец нараспев читает Гомера. Я сижу у его ног, на теплом и гладком полу, строю из кубиков высокопалубный купеческий корабль и качаюсь в гекзаметре, как в колыбели.

Матери я не помню, она умерла, едва я начал ходить. Ласкали меня наложницы отца. От них пахло аравийскими благовониями.

Учиться я начал поздно — с десяти лет. Мой первый учитель посмеивался над богами, много ел и любил новости. От него я узнал, что император убит под Адрианополем, варвары и рабы жгут поместья. Я не поверил ему. В узких долинах Этолии[2] не было ни войн, ни пожаров. Мирно шептались оливы, толстели наложницы. Я восхищался буйным Зеноном из Элеи, учился у Сократа поиску истины.

Когда мне исполнилось восемнадцать лет, отец сказал, что Афины стали глухой провинцией, и отправил меня в египетскую Александрию. Я не спорил. Я поехал бы и в далекую Индию, на самый край света. В таком возрасте отчий дом становится тесен. Я гнал осла, торопил Дакия. Скорее к морю! Скорее на корабль! У меня

---

[1] Гипатия (370—415 н. э.) — женщина-математик, астроном и философ. Преподавала в Александрийском мусейоне — одном из главных научных и культурных центров античного мира.

[2] Этолия — область в Древней Греции.

свои деньги, свой раб и письмо к александрийскому банкиру. Чего еще надо эфебу[1], мечтающему прославить родную Этолию! Я был молод и глуп. Но кто знает свою судьбу? Кто сможет избежать уготованной участи, обмануть время, жить и не двигаться? «Жизнь в движении, без движения нет жизни»,— говорила Гипатия и шла навстречу мучительной смерти. Разве я мог остановить движение, изменить судьбу — мою, ее судьбу... Да будет проклят тот день, когда я сел на корабль.

Мы увидели Александрийский маяк днем и только к вечеру вошли в большую гавань. Я знал, что Мусейон[2] далеко, за императорскими садами. Надо было искать лошадей. А найти их было непросто. Особенно нам, уроженцам тихой Этолии. Нас закружила буйная и разноязыкая толпа пьяных матросов, нищих, наглых рабов, бродячих торговцев. От шума и толкотни можно было сойти с ума. Но великие боги не покинули нас — мы нашли нубийца с повозкой.

На высокой скамейке, под зонтом, я вспомнил и слезы отца, и его последнее напутствие: «Олимпий, сын мой, не бойся солдат, бойся черни...»

Нубиец остановил лошадей у полуразрушенного дворца, показал на фриз обшарпанного портика, взял плату и уехал. Пока Дакий перетаскивал к цоколю наши корзины, я успел прочитать на обгоревшем фризе, что храм Муз построил Птоломей Сотер — царь, полубогам равный. К нам подошел писец и сказал, что библиотека сгорела, ученые Мусейона переселились на акрополь, в храм Сераписа.

Милый ласковый Теонид, ты встретил меня как сына, и я забыл торговую площадь, разбитые гермы, утомительную дорогу. «Благословен дом, не отвергающий путника»,— шептал я, засыпая. Утром ты спросил меня, что приснилось эфебу в храме Сераписа. Я ответил: плывущий корабль. И тогда ты сказал, что я проживу счастливую жизнь среди мудрых друзей и строгих истин. Великодушный, ты найдешь доброе слово и для Кирилла. А как отплатит тебе пастух христиан, убийца... Я спешу, путаю время. Зову Гипатию, проклинаю Кирилла. Мне

---

[1] Эфебы — юноши, достигшие совершеннолетия (18 лет), обучавшиеся военному искусству или посещавшие школы философов, риторов и др.

[2] Мусейон состоял из огромной библиотеки, школы и музея. При нем жили ученые.

душно! Капли пота стучат о пергамен. Это ветер пустыни. В доме пахнет козьими шкурами, и я не могу писать без гнева и пристрастия.

Светлоокую юность тени будущих лет искажают.

В тот же день я поехал к банкиру. Рувим бен Харкан прочитал письмо отца и сказал, что великий Гомер в свидетели не годится. Старый банкир не отказывал мне. Он только хотел получить обеспечительную расписку на пятьдесят египетских талантов. Расписку я дал, но деньги оставил у банкира.

Я не осуждаю его, нет. Моя неопытность была неизбежной, как рок. Рувим бен Харкан предостерегал меня, говорил, что великолепие храма Сераписа раздражает христиан, советовал мне уехать из Александрии, не видеть, не слушать Гипатию. Я спросил его: чем плоха дочь Теонида? Он закричал: «Пусть язык мой отсохнет, гортань покроется язвами!» Старый банкир долго не мог успокоиться, ругал себя трусом и шакалом, поедающим верблюжий помет. Прощаясь со мной, он сказал, что все тленно, кроме горя, неразумные сеют деньги, а пожинают отчаяние.

Я не нашел повозку, возвращался в храм Сераписа пешком, по старой Нильской дороге. Мне нравились белые портики, тихие сады, родные оливы.

За сорок лет предместья не изменились. И тогда пахло пылью и морем. Над жирной водой каналов горбились мосты. На мостах торговали красной охрой, душистыми смолами. Большой египетский парк, заросший сиддерой и кустарником, и тогда казался запущенным. Зато главные улицы скребли и мыли сотни рабов. Я запомнил розовый дворец на площади Диоклетиана. Долго любовался им и думал: город прекрасен, а тонконогий банкир в коротком плаще смешон и жалок, и проклятия его гадки.

Александрия заманивала меня. Мне везло. Я удачно купил дом, приобрел друзей.

И первый и лучший из них — Синесий, совсем еще юный тогда. Мы бродили с ним по храму Сераписа. Храм казался мне беломраморным чудом. Толстые египетские колонны сторожили его покой.

Отдыхали мы под смоковницей, в плетеных фиванских креслах. Посмеиваясь, Синесий рассказывал о будущих наставниках моих: Гипатия любит мед, Элладий

могуч и краснолиц, как фракиец, а Гезихий мал ростом и умом.

В полдень Синесий завел меня в пыльный и сумрачный зал. Фрески на стенах потускнели, казались загадочными. Статуи прославляли Лагидов[1]. Мы сели на бронзовый круг, подставив ладони острому как нож золотому солнечному лучу.

Вечером мы слушали Элладия. Записи мои неполны, но начало комментария сохранилось. Элладий говорил: «В предметном мире, эфебы, множество вещей одинаковых, однородных. Именно однородность заставила людей изобрести цифры, основу божественной математики. Когда-то каждый числовой знак имел свое имя, свое особое начертание. Непомерный труд, эфебы, захламление памяти, попробуйте запомнить мириады названий-символов, не имеющих цвета, запаха, веса, обозначающих только количество, счет. Египетские жрецы, как свидетельствует Манефон, пытались объединить числа в похожие по начертанию группы, из групп составляли разряды, из разрядов — комы. Мы же пользуемся десятичной системой счисления, простой и естественной. Слава великому Пифагору Самосскому...»

Вот и все, что осталось. Клочок папируса, затерявшийся среди писем. Надо ворошить память, а она ненадежна, Элладий называл ее «рабыней чувств». Он говорил, что время отсеивает не мелкое или несущественное, а чуждое нам. Я вижу его в дверях библиотеки окровавленного, с вытекшим глазом. Монахи в козьих шкурах добивают учителя... Я опять спешу, тороплю и объясняю события, не могу развернуть время, оно все во мне, не поток, не папирусный свиток, а сгусток боли.

Ей было тогда девятнадцать лет. Тоненькая, нежная, она казалась моложе. Мы сидели за столом, пили кислый пальмовый сок. Я глядел на красивую девочку в нарядном хитоне и думал: меня обманули, неужели к этой девочке едут учиться из Рима, из Афин, из Константинополя!

Может быть, я запомнил не первую встречу. Отец Гипатии, ласковый Теонид, часто приглашал нас, он любил обедать с учениками.

Через несколько дней я увидел Гипатию в темном

---

[1] Лагиды (Птолемеи) — царская династия, правившая в Египте (305—30 гг. до н. э.). Основатель — Птолемей I.

плаще философа. Ее окружали эфебы, чиновники, богатые дамы, жрецы. Она рассказывала о Диофанте Александрийском, который использовал при решении уравнений недостаточные числа. Странные числа отрицали ту же величину, которую обозначали. Они запутали и погубили великого Пифагора.

Богатых дам и важных чиновников отрицательные числа не интересовали. Но Гипатия была гордостью Александрии, к ней шли, на нее глядели, как на белых императорских львов. Рядом со мной стоял неопрятный старик в римской тоге. Он всхлипывал и шептал: «Небесно все в тебе, Гипатия,— речи красота, науки мудрый свет и нежность чистая...»

Я знаю, нельзя сжимать события, пренебрегать временем. Конечные результаты — не истина, а наше суждение о ней. Гипатия не сразу стала болью, радостью, роком моим. Прекрасно высокое небо Египта, еще прекраснее храмовые проститутки — гибкие, острогрудые, как ливийские козы.

Однажды Синесий вызвал меня из библиотеки и сказал, что надо навестить захворавшего Ореста. Идти не хотелось, но я читал римских стоиков, а они учили добродетели.

От высоких ворот храма спускалась к главной улице широкая каменная дорога. Но по ней не ходили, сворачивали вправо — в парк, под тополя и платаны.

Жарко было и под платанами. Синесий родился в Африке, к жаре привык, болтал без умолку, хвалил Ореста за верность старым богам. «Персефона его родила на ложе змеином от отца и супруга в образе ложном представшем...» Я спросил: кого родила богиня? Ореста или Диониса? Синесий не засмеялся, а сказал с грустью, что вездесущие боги слушают нас и не простят насмешки.

В полдень на главных улицах немного людей. Рабы да сонные нищие. У разрушенного театра играли в войну мальчишки. Мы купили у них за два сестерция мраморную голову Софокла. Она передо мной. Я стираю пыль с высокого лба и кричу: «Откуда свет исходит — мы не знаем: или от небесного огня, или от поверженного наземь человека!»

Кричать мне трудно, я задыхаюсь, кашляю, но кричу. Я не верю Софоклу. Мудрейший из эллинов лжет, что боги наказывают невинных!

Несколько дней я не садился к столу. Мешало удушье. Сегодня мне легче. Я прячу в корбис — большую плетеную корзину — мраморную голову Софокла и говорю себе: «Олимпий, не страшись мудрости мертвых, сейчас время плотников, не поэтов...»

Мы помним события, лица, даже слова и жесты, а связи ускользают, у них нет формы, они невещественны, и наша память не может сохранить их образ. Я помню безмолвные храмы, каменных львов у квадратных бассейнов. Перед площадью Диоклетиана нас догнала девочка. Темнолицая, но красивая. Синесий про вездесущих богов забыл, весело смеялся и показывал ей на розовый дворец Аппия. Когда девочка ушла, он сказал, что жрицы Кибелы [1] всегда появляются неожиданно.

За площадью Диоклетиана мы свернули к розовому дворцу. Ворота нам открыл грубый старик, на шее у него болталась тяжелая бронзовая цепь. Он повел нас в глубь сада по узким запутанным дорожкам. Я запомнил цветущие акации и небольшое озеро с голубыми лилиями и священным лотосом. Над озером возвышалась черная гора из гладко отесанных камней. Синесий шепнул мне, что сейчас я увижу таинственную пещеру.

Пещера оказалась невысокой просторной комнатой. Было много светильников, недалеко от входа стояла персидская кровать без спинки. Орест лежал на кровати, сын иудейского банкира Иосиф сидел за столом.

Мне понравились новые друзья: приветливый Орест и вежливый Иосиф. Мы пили белое мареотское вино, разбавляя его морской водой, как делают египтяне, и слушали музыку. Старые дорийские напевы не мешали нам приятно грустить.

В пещере сгущались сумерки. Но в саду еще было светло, по дорожкам пробегали стыдливые девушки, молодые жрецы, актеры в масках. Потные рабы тащили на шестах огромные амфоры. Я думал, что готовится веселое театральное представление, но ошибся. Музыка неожиданно смолкла. Загорелись светильники. Орест встал, зажег от светильника факел, высоко поднял его и закричал: «Слава тебе, Дионис-Загрей, проникающий в сущность!»

---

[1] Кибела — «Великая мать», богиня плодородия во Фригии (Малая Азия), культ ее был широко распространен по всему эллинистическому миру.

В пещеру ворвались жрицы Кибелы в разорванных туниках с ярко раскрашенными грудями. Они бросали в масляные светильники дурманящие смолы и пели:

Пляшите, мисты [1],
Кибелу славьте!
Ликуйте, мисты,
Бог спасен!

Иосиф схватил меня за руку и хотел увести. Но я оттолкнул его. Я рвался к жрицам Кибелы и кричал: «Ликуйте, мисты! Бог спасен...» Сколько мы безумствовали в пещере, я не помню. Но знаю — когда мы выбежали из пещеры, в саду было темно. Юноши с факелами, хохочущие женщины бежали к розовому дворцу. Там гудели литавры и плакали флейты. Козлоногие сатиры [2] обнимали прекрасных девушек. И девушки и сатиры, опьяненные радостным безумием, забывали время и самих себя. Они кричали, что Дионис не умер в каменной плоти титанов.

Он возродится!
Он возродится в нас...

Плясали жрицы Кибелы, сбросив разодранные туники, дрались сатиры, выли флейты, хохотали обезумевшие от плясок и вина женщины. А я искал Диониса. Где он? Где бог духа и плоти, первооснова мира?

Очнулся я под утро. В саду было тихо, темные кусты осыпали меня легкими цветами. Рядом валялась изодранная туника, пахнувшая лавзонией.

Фригийская мистерия кажется мне сейчас невинной забавой. Но в то утро я так не думал. Я метался по темному ненавистному саду, призывал на помощь отчих богов. К счастью, ворота были открыты. Я выбежал на площадь и бросился вверх по гулкой каменной мостовой к храму Сераписа. За храмом начиналась старая Нильская дорога, единственная дорога, по которой я мог, не плутая в предместьях, добраться до дому.

---

[1] Мисты — участники мистерий (таинств), прошедшие обряд посвящения.

[2] Сатиры — лесные божества, демоны плодородия, составляющие свиту бога Диониса. Участники мистерий наряжались чаще всего сатирами.

II

Красная пыль ложится на гладкий пергамен. У меня, у живого, бритоголовые лекари вытаскивают железными крючками сердце, чтобы освободить место для боли. Кашель спасает меня. Отдышавшись, я пью неразбавленное вино и думаю о прошлом.

Сердце еще болит, но оно есть, оно бьется, живет. Я гляжу на исписанные листы пергамена, молюсь Асклепию — покровителю этолийцев, Зевсу, Христу, всемогущему Року. Силы мои тают. Я глохну, у меня дрожат руки. А мне надо писать — ведь я последний свидетель. Только бы не порвать цепь событий, правдиво и бесстрастно вязать звено за звеном.

Я долго не мог забыть безумную ночь в саду Аппия. Сидел дома, читал Клавдия Галенуса. Мне нравилось, что прославленный врач из Пергама ругается грубо и непристойно, как варвар. «Значит, мир плох и несовершенен человек»,— думал я.

Вечером приехал Синесий и рассказал, что в ту страшную ночь тупорылые карфагенские собаки загрызли молодого жреца. Мы знали юношу, но грустили о нем недолго. Чужая мудрость была рядом, на полке, в свитках и книгах. «Много частиц фимиама предназначено для одного алтаря, одна падает на огонь раньше, другая позже, но разница не имеет значения».

Заблуждения юности искренни, и неведение ее спасительно. Выразительная ритмика слов нас успокаивала. «В продолжение немногих дней, которые даны тебе на земле, человек, ты должен жить по указанию природы и, когда наступит минута удаления, подчиниться с кротостью, как оливка, которая падает, благословляя дерево, которое ее произвело, и с благодарностью к ветке, которая ее поддерживала».

Я записываю красивую ложь тоскующего императора, а смерть, она всегда рядом, посмеивается. Мне тоже смешно и стыдно. Но так было... Я восхищался Марком Аврелием, Синесий — египетскими песнями.

Уйдешь на запад в страну печали,
И сном станут года, не прожитые на земле.

Мрачное жизнелюбие египтян я понял позже, когда стал нищим, голодным и жался к стенам, как горбатый пес.

Будь весел, не дай сердцу поникнуть —
Вода жизни течет для живых.

Горели книги, умирали учителя. Я стоял в очереди за христианской похлебкой и шептал: будь весел, Олимпий, будь весел, вода жизни течет для живых...

Больше недели я не был в храме Сераписа. Обо мне беспокоились. Теонид посылал раба с лекарствами, потом приехал сам и уговорил меня вернуться в школу. Я опять слушал Гипатию. Она рассказывала о сокрытых, плохо улавливаемых законах памяти. Она спрашивала, как возможно воспоминание, если психическая деятельность происходит в настоящем? Что вспоминаем мы — сами предметы или их образ, запечатленный в душе?

Я пишу о мудрости Гипатии, а сам думаю — она была нежной и доброй и очень любила жизнь.

Бесконечно тянутся портики, арки, пилоны. Много золота и стекла. Много нищих, наемных солдат и монахов. Мы идем на рынок. Впереди Гипатия, рядом с ней счастливый Орест, потом я, Синесий, рабы с корзинами. Позади всех племянник епископа Феофила Кирилл. На плече у него сумка с медяками для нищих, рабов и калек. Племянник епископа, наделяя алчущих и страждущих, не забывает напоминать: «Не я даю, а господь наш милостивый!»

Я вспоминаю Панеум — искусственный холм, насыпанный еще при первых Птолемеях. Нас не пугали обветшалые лестницы. Поднимались мы весело. С вершины холма приветствовали Александрию: «Здравствуй, великий город, затмивший славу Афин и великолепие Рима!» Под нами блестели золотые крыши царских дворцов, справа подступала к ипподрому пустыня, а слева, на акрополе, белел храм Сераписа. Над крышей храма возвышался темный обелиск, похожий на копье.

У памяти свои законы, не подвластные нам. Я помню Кирилла с посохом и сумой. Он хвалил Гипатию, называл «светлой звездой» и сокрушался, что высокая мудрость ее недоступна народу и не нужна ему. Он говорил, что мы живем на искусственном холме, далекие богу и непонятные людям. А внизу, на рыночной площади, говорила Гипатия, там фрукты и сладости, копченая рыба и ливийский сыр, пахнущий козьим молоком. Орест смеялся и уверял ее, что в Палестине есть цветок,

его можно увидеть только раз в жизни, в счастливое утро.

Наше утро было счастливым. Мы пили вино, ели фрукты. Гипатия покупала ленты, браслеты, белую никейскую керамику. Хитрые торговцы угощали ее холодным соком, кланялись ей:

— Радуйся, госпожа! — И грузили в корзины рабов мясо, рыбу, зелень.

Большие ловкие негры молча ходили за ней, хотели продать молодой хозяйке звенящие ожерелья. Мы охраняли ее от негров, назойливых лекарей, римских солдат, нахальных танцовщиц. Я видел кровоточащие язвы калек, скрюченные пальцы нищих, видел потных танцовщиц, совсем еще юных, бесстыжих, слышал смех и брань, рев животных. Чужой мир, страшный, как жилище теней, далекий, непонятный, смешил и развлекал нас. Чего бояться смертным? Предвиденью мы чужды, над нами власть Судьбы, жить следует беспечно, кто как может!

Мы так и жили. За эмпорием [1], у храма Посейдона, стояли наши лодки. Мы уезжали в море, за Фарос. Старый кормчий думал, что Гипатия танцовщица или прислужница в храме, и заставлял ее петь. И она пела ему: «Гоните, теплые ветры, горькую старость, зарок ей положьте — не входить к человеку, пусть кружится она пылинкой в эфире, земли не касаясь...» Кормчий плакал, и я сейчас плачу, не могу собрать буквы в слова, пью теплое неразбавленное вино и молюсь старым богам, родному Асклепию и Гераклу:

— Гоните мою горькую старость, о боги!

Обедали мы у доброго Теонида. Он рассказывал, что точка у родосских математиков понятие не геометрическое, никак не определена, она только есть.

Иосиф спорил с Кириллом. Племянник епископа уверял, что христиане напоят всех жаждущих и накормят всех голодных.

— Чем? — спрашивал Иосиф.— Сельские рабы и колоны не сеют, не жнут, сами живут на подачках. Кто накормит александрийских бродяг и нищих? Их тысячи тысяч...

— Вы ослеплены, Кирилл,— говорила Гипатия.— Или обманываете себя. Святая ложь порождает неиско-

---

[1] Эмпорий — площадь у гавани.

ренимость зла, восходящие на невежестве будут служить невежеству, а не людям.

Иосиф, посмеиваясь, спрашивал Кирилла: разве Христос не обещал всякому имущему дать, у неимущего взять последнее? Кирилл упрекал его в намеренном искажении святого писания, но объяснить не желал, почему сын божий присутствует в боге, не будучи сотворен как рожденный и как нерожденный?

Синесий, пытаясь помирить их, ссылался на тайную египетскую рукопись, в которой божество есть одновременно субстанция и ее истечение. А я, бестолковый, защищая Кирилла, старался доказать, что добрые намерения ценнее исчерпывающей точности понятий.

И тогда Иосиф сказал:

— Скоро мы узнаем добрые намерения епископа Феофила!

Время, не заполненное событиями,— ничего не обозначающий знак без смысла и содержания. Книги и друзья отсчитывали мое время. Помню желтоватый сумрак библиотеки, столики, широкие кресла. Я разбираю с трудом аттическую рукопись: «Что бы ни делали люди вокруг меня, что бы ни говорили — я должен быть честным человеком, как изумруд, мог бы сказать — что бы ни делали, что бы ни говорили, я должен быть изумрудом и сохранить его цвет».

Старый и слишком красивый стиль мне не нравится, но сама мысль кажется прекрасной. Я ищу Синесия в учебных залах храма, в портиках, в трапезной, в мастерских. Но его нет — он опять у египетских жрецов, восторгается их фокусами, покупает папирусы, испещренные непонятными значками и картинками, слушает их сказки.

Родился человек на пятый день месяца эпифа,
жрец чистоты, ухо царя, пророк всех богов и богинь.

Гипатия в ту зиму училась у искусных ремесленников, встречала меня ласково, но старалась поскорее выпроводить из мастерской. «Милый Олимпий,— говорила она,— посмотри на руки мастера, они тоже достойны удивления». Ремесленники, даже искусные, меня не интересовали. Я возвращался в библиотеку, читал с удовольствием и записывал: «Наше тело стремится к тлению, наша душа вихрь, ее участь — неразрешимая загадка».

Дома я бывал редко. Ворчливый Дакий вел мое хозяйство, копался в саду и радовался, что на жирной земле вырастет у него хорошая капуста.

Я пишу о приятном, но мелком и несущественном. Не хочу расставаться с юностью, забыть радость, пусть короткую, но светлую, ничем не омраченную радость. Потрескивают светильники. Тени пляшут на стенах. Хватит ли у меня сил не хитрить с прошлым, быть только свидетелем, никого не оправдывать, не защищать...

Мыши пищат и возятся на папирусных полках, грызут старый пергамен. Я долго жил хуже раба, хуже животного, но привычка прятаться за великих поэтов осталась — назначила божественная парка нам воевать с собой, но надо ль свиток развивать позорный?

Помню, Синесий приехал ко мне расстроенный, суетился, много говорил, доказывал мне или самому себе — трудно было понять,— что засилие христиан опасно. Я спросил его: что случилось? «Бросай книги, Олимпий. Поедем к жрецам Сераписа. Ты такое увидишь...»

Когда мы сели в повозку, он спросил, помню ли я старика с бронзовой цепью на шее, который открыл нам ворота в сад Аппия.

Конечно, я помнил. И старика, и пьяную безумную ночь. Синесию я сказал, что юные жрицы Кибелы пахнут лавзонией. «А чем пахнет кровь, ты не помнишь?» — спросил Синесий. И я не узнал его, всегда беспечного, постоянно влюбленного мальчика.

Мелочи, случайные события отвлекают меня. Но они живые — эти черепки жизни. Ведь не рассказ о плоти, а сама плоть истекает кровью. И крик Гипатии я слышу сейчас... Всемогущие боги! Дайте мне силу, не гасите мой разум — из цепи страшных событий пусть не выпадет ни одно звено...

Тяжелые, окованные медью ворота храма Сераписа никогда не закрывались. Мы поднялись по широкой лестнице до главного портика. Нас встретил служитель, завел в небольшую комнату без статуй и фресок. Сверху падал рябой сумрачный свет. Посреди комнаты стоял старик в синей тунике, руки у него были связаны. Кроме него, я не видел людей, но они были — в глубоких нишах стояли скамейки, там сидели, как я потом узнал, жрецы храма Сераписа, управляющий домом Аппия, несколько учителей.

Старик не отрицал, что ночью, когда безумствовали

сатиры и пьяные девки, он отвязал карфагенских собак.

Старший жрец храма спросил его:

— Кто научил тебя, несчастный?

— Не будет вам спасения, идолопоклонники проклятые,— кричал старик.— Падет гнев господа, испепелит нечестивых.

Ему объясняли: люди молятся разным богам, и его судят не за приверженность Христу, а за убийство молодого жреца.

Старик упрямо твердил, что при последнем гласе трубы восстанут бедные и гонимые для жизни вечной, а богатые — на муки вечные.

Подошли два служителя, надели мешок на голову старика и увели. Каменный пол начал проваливаться, мы с Синесием отступили к дверям, но поздно — двери оказались высоко, над нашими головами. Запахло медесскими смолами, и мы услышали голос: «И боги и люди в руках ее! Никто не сможет уберечь себя, своих близких от ее проклятия, и не верьте тем, кто ее прославляет. Она — смерть!»

Очнулись мы в саду под платанами, у круглого бассейна. Фокусы жрецов испугать нас не могли, только раздражали. В Александрии и в частных домах проваливались полы, звенели невидимые колокольчики, с потолков спускались столы, уставленные едой и вином.

Месяц пахон — светлая египетская весна, вторая моя весна на чужбине. Я читал великих, слушал мудрых и старался забыть старика христианина в зловещей синей тунике.

Пустыня еще спала, цвели сады, и пахло морем, но жилось неспокойно. Нитрийские монахи бродили с дубинами по городу, дрались с иудеями, бесчинствовали в театрах, на ипподроме. Толпы ремесленников и обнищавших колонов собирались на площадях, в порту, у храмов и базилик. Авдияне, маги, фокусники, савеллиане, одичавшие пустынники и просто безумцы кричали, уговаривали, пророчествовали. Недобитые сторонники Ария хулили епископа Феофила:

Любят его калеки, отрепье Александрии,
славят его невежды да бестолковые девки.

Во сне преследовали меня пьяные женщины, их было много, голодных и злых, с непристойными жестами. Ут-

ром я забывал о них, смеялся и говорил себе: «Олимпий, ты увидишь Гипатию!» Но это была не любовь, скорее сладкая боль, томление духа, не плоти. Божественная Гипатия радовала своей недоступностью, чистотой... О боги! Я и сейчас боюсь истины — она сестра горя, предвестница смерти.

Иосиф был старше меня, умнее. В храме Сераписа он молчал, старательно записывал комментарии учителей, а на улице, расталкивая грязную толпу, невесело смеялся:

— Горе тебе, Вавилон! Город крепкий...

Друзей у меня стало меньше. Исчез неожиданно племянник епископа Кирилл. Орест постоянно хворал. Мы с Синесием навещали его, читали ему Софокла: ведь и царь, вершитель мира Зевс-Кронид в земной юдоли дней безоблачного счастья человеку не сулил.

Постоянное вращенье
С ночью день и с горем радость
Чередует для людей.

Орест не перебивал нас, слушал, а когда мы прощались с ним, опять жаловался на грубость мира, на засилие черни... То утро я не забуду. Было прохладно, дул фракиец Борей. Мы собрались в крытой галерее, недалеко от главных ворот храма, слушать комментарии Теонида об Аристархе Самосском. Как всегда, добрый Теонид, улыбнувшись, сказал: «Эфебы, в космосе царствует неизменный порядок и мера, на земле верховодят страсти слепые...»

Прибежал испуганный жрец, закричал, что нитрийские монахи идут с дубинами к храму. Побросав папирусы и восковые дощечки, мы кинулись к главным воротам. Но храмовые рабы уже закрывали их, а послушники спускали из арсенала оружие — старые копья, пелтасты, мечи. Я выхватил у послушника длинное копье с крепким и гладким древком.

Эфебов, молодых жрецов и послушников Элладий вывел через запасные ворота на улицу.

От площади Диоклетиана катилась на нас огромная воющая толпа. Впереди бежал, размахивая посохом, сам епископ Александрийский Феофил.

Погромщики не ожидали отпора, дрогнули и побежали назад, к Панеуму. Мы вернулись в храм, потрясая

оружием, возбужденные и довольные. Но христиане оказались хитрее.

Я быстро устаю, отдыхаю долго, гляжу на тонконогие светильники, на покрасневшие от пыли окна и думаю: в душе, возбужденной сверх меры, события не оставляют следов. Наверное, я дрался, пока не сломалось копье. Но память коварна. Она подсказывает: кто бросал оружие, того не убивали. Когда римские солдаты разбили тараном ворота и буйная чернь ворвалась в храм, только Элладий встал с мечом у дверей библиотеки. Учителя забили камнями и уже мертвого, распростертого на пороге, монахи долго и остервенело топтали. Ты не забыл, Олимпий, подсказывает память, как рвали и жгли свитки, а на книги твоих любимых поэтов садились рабы, чтобы справить нужду. Ты помнишь, Олимпий, помнишь живого еще Гезихия, он лежал на тлеющих книгах, а хохочущие солдаты тащили его за ноги к бассейну.

Мне надо успокоиться, дождаться прохлады, поспать. Я хочу быть правдивым свидетелем. У меня есть письмо Иосифа. Он не безумствовал в то утро. Он знал: рано или поздно христиане уничтожат храм Сераписа — славу, красоту и гордость Александрии.

Опять полдень, жара, я нашел письмо Иосифа. Оно небольшое. «Дорогой Олимпий, тебе кажется: мир погиб, торжествует безумие. Но это не так. Еще жива Гипатия и сотни ученых. Ты обвиняешь рабов, ремесленников, монахов. Но сколько их вины? Многие годы епископ Феофил мечтал о разрушении всех храмов и всех нехристианских святынь. И не только мечтал. Не жалея денег и сил, он подкупал высоких константинопольских чиновников. Ему нужен был указ императора, и он его получил. Когда Феофил понял, что с монахами и с трусливой чернью ему не взять Серапеум, он обратился к начальнику легионов, и тот прислал солдат. Я думаю, Олимпий, епископ Феофил не только служил своему богу, сыну божьему, духу святому. Пока чернь и монахи бесчинствовали, крушили статуи, выламывали фрески и жгли книги, он вывез в свой дворец сокровища храма Сераписа, которые можно оценить (ведь мой отец — банкир) в сто миллионов динариев. Прощай».

III

Я лечусь вареной капустой. Воюю с пылью, проклинаю стариковские немощи.

Жизнь часто обманывала меня, подсовывала мелкие радости. Убаюкивала, когда отчаяние становилось невыносимым. Я опять жил, надеялся. Но ничего не менялось, а силы убывали. И я понял: время, на которое мы так надеемся, враг безжалостный. Неумолимый. Я постоянно думаю: какое оно?

Храм Сераписа громили несколько недель. Их можно сосчитать, измерить набором дней-знаков. Но как измерить само движение времени? Дни и недели не могут быть больше или меньше самих себя, движение времени не с чем сравнить. Может быть, для всякого изменения существует свое время, свой счет, и если бы не мой кашель — он раздирает мне грудь, — не мои дрожащие руки, мое время было бы иным. Я спрашиваю себя: есть ли единая мера времени у памяти — мера осени, боли, стыда? Соответствуют ли мои воспоминания бывшему и сущему?

Я доверяю памяти. От бывшего и сущего остались у меня письма, записи, вещи. Синесий подарил мне два свитка. Их не украли. «Все совершается сообразно не только естественному порядку вещей, но и справедливости». Измятые, изъеденные мышами свитки лежат передо мной, но «справедливость» мыши выгрызли. Бедный Синесий! После разгрома храма Сераписа он жил у меня, сидел над бассейном или в портике, печальный и тихий. Я предлагал ему: съездим к префекту, узнаем о судьбе Гипатии, Ореста, учителей. Он молчал. В другие дни, они вызывали еще большую тревогу, Синесий становился болтливым, долго и путано рассказывал, что бог немыслим без человека, или уверял меня, что дома, в Кирене, оплакивают отца или брата.

— Я чувствую, Олимпий, даже вижу. Ведь это так просто, надо только не шевелиться и долго глядеть на красные решетки в окне.

Прошла неделя, а может быть, и две, я не помню, приехал Иосиф, отругал нас обоих и увез Синесия.

Позже я узнал: Синесий поссорился с александрийскими врачами и уехал домой, в Киренаику. На столе его письма, их много. Бедный мой друг, Рок преследовал тебя. Ты хотел стать поэтом, а стал воином, ненави-

дел христиан — стал их пастырем. «Я призываю,— писал мне Синесий,— в свидетели бога, которого чтит и философия, и чувство дружбы, я предпочел бы вынести сколько угодно смертных мук, лишь бы не быть епископом. Но так как бог возложил на меня не то, о чем я его просил, а то, что было в его воле, то я молю его быть хранителем моей жизни и защитником, чтобы епископство было для меня не уходом от философии, а восхождением к ней. А пока сообщаю моему любимому другу о моих радостях, также посылаю тебе сообщение о моих горестях, чтобы ты пожалел меня и, если сможешь, сказал свое мнение о том, что мне следует делать. Я до такой степени и со всех сторон обдумываю это дело, что вот уже семь месяцев, с тех пор как я попал в беду, нахожусь вдали от людей, у которых должен быть священнослужителем; я буду поступать так, пока не пойму до самой глубины, какова природа этого служения; если можно выполнить его, не уклоняясь от философии, то я возьму его на себя. Но если оно расходится с моими намерениями и моим образом жизни, то что мне остается, кроме как немедленно отплыть в прославленную Грецию? Если я отрекусь от епископского сана, то я должен отказаться и от родины, или мне предстоит жить окруженному презрением, в толпе людей, ненавидящих меня».

Письмо Синесия, сухое и пыльное, пропахло мышиным пометом. Я кашляю, пью теплое неразбавленное вино.

Теонид купил дом в иудейском квартале и открыл частную школу. Каждое утро я собирался поехать к ним, ненадолго садился к столу, брал свиток или книгу — и откладывал поездку. Что удерживало меня? Не знаю... Моя совесть была чиста. Я храбро дрался с монахами и с александрийской чернью, из храма Сераписа ушел ночью, через Южные ворота.

Все объяснила записка Теонида. Он писал в ней: «Дорогой Олимпий, тебя нет с нами, нет потому, что горе, постигшее Александрию, кажется тебе чужим горем. И ты этого стыдишься, мой мальчик».

Новая школа стала храмом, но не Сераписа — бога Птолемеев, а Гипатии. Строгая, в темном плаще философа, она рассказывала о любимом Платоне доступно и просто, ведь утром слушали ее чиновники из канцелярии префекта, их жены, богатые иностранцы, юристы, врачи. Вечером собирались эфебы, и Гипатия показывала

нам астрономические приборы. Она объясняла: постоянен неизменный порядок движения звезд и равномерно время.

Орест сидел рядом со мной. На приборы он не смотрел, только радовался, что Гипатия жива и красива даже в плаще философа. Я тоже не все понимал. «Диофантовы уравнения,— говорила Гипатия,— имеют бесконечное множество решений: к одному или нескольким неизвестным подставляются числа для определения остальных неизвестных. Не надо бояться цифр,— говорила Гипатия,— они не лгут. Вы думаете, что существует нечто неизменное в мире, всегда истинное, ко всему приложимое, все объясняющее. Диофантовы уравнения свидетельствуют о другом. Наше бытие — это вечный поиск, бесконечные пробы или, как говорит Диофант, бесчисленные подстановки к неизвестному. Политики, древние и новые философы, пифагорейцы, иудеи и христиане — все хотят найти нечто единственное, ко всему приложимое и все объясняющее. Христианство, друзья мои, только одна из множества проб. Называйте эти пробы, или подстановки к неизвестному, новым бытием или новым веком, но поклоняйтесь разуму и добру как животворящей истине».

Глупые и слепые, мы радовались, слушая ее. Значит, новые боги не лучше старых и засилие христиан не вечно! Утром перед нашей школой выстраивались вереницы карет и носилок. Знатные александрийцы, богатые дамы и высокие гости слушали древних поэтов. Знакомые с детства стихи удивляли и тревожили.

Я людям друг! Им был и остаюсь!
Своих скорбей и горя
На рабское служенье не сменяю.

Люди свободны в выборе добра и зла, говорила Гипатия. Человек ответственен за свои поступки. Он обращается к богам, когда родились желания и решения созрели в его душе.

Гипатия говорила негромко, была спокойна. Редко голос ее дрожал, и она задыхалась — тогда мы слушали не стихи Эсхила, а мольбу несчастной женщины:

— Не бросайте же в город мой кровавых распрей!

Но что могла сделать тоненькая нежная женщина? К бесчинствам привыкли, как к запаху тухлой рыбы.

Толпы нищих славили Христа и кричали: «Дай нам хлеба на сей день и прости долги наши». Иудеи ругали Христа «амахарцем». Авдиане дрались с кабалистами. Савеллиане носили по городу горящий крест и пели: «Слава богу единому! Слава богу незримому! Слава богу нестрадающему!» Я тоже суетился, подкупал бездельников, слушал безумных, спорил с ремесленниками.

Иосиф похудел, высох совсем и пророчествовал не хуже христиан — ужасы настигают нас, и вода уносит, как смерч, ветер восточный не пощадит, только руками всплеснут о нас, только посвищут вслед.

Он не ошибся. Кто-то пустил слух, что в главной синагоге семьдесят кресел из чистого золота. Синагогу разграбили. Иудеи сняли обувь и украшения, толпами, как нищие или бродяги, ходили по городу и избивали христиан.

Мы боялись за школу. Орест предлагал деньги, свою жизнь, грозился, что пожалуется императору. Он думал о Гипатии. А она? Великая и божественная... Память подсказывает: ты помнишь, как ласково смотрела она на Ореста, как бережно относилась к нему.

Когда мне не хочется ворошить прошлое, я говорю себе: в мире теней неуютно и холодно всем — и правым и виноватым, ложись, Олимпий, и жди смерти, она красивая женщина, у нее мягкие, как у совы, крылья и широкая туника. Я жду смерть, а приходит Гипатия, гладит мои спутанные волосы. «Человек ответственен, Олимпий,— говорит она,— никто не может заставить его поступиться совестью: ни боги, ни люди». Я спорю с ней, горячусь, но не забываю называть «божественной и великой». Я боюсь сказать ей правду, только бормочу в оправдание: «Тебя, великая, наказали боги мученической смертью, а меня мученической жизнью. Ты слышишь, великая!» — кричу я. Но Гипатии уже нет, никого нет. Только мыши скребутся у меня за спиной, грызут пергамен. Левой рукой я тру больную грудь, а правой ищу чернильницу...

IV

Теонид умер, не попрощавшись с учениками. Я горевал о добром и ласковом учителе, молился Исиде — матери мира: прими в лоно забот своих хорошего человека.

Гипатия не плакала и не жаловалась, только просила, чтобы мы не забывали школу. За день или за два до возобновления занятий она сказала нам: «Печаль, эфебы,— это память о бывших, а скорбь — болезнь».

От первой лекции остались у меня на обрывках папируса арифметические знаки и непонятные слова. Когда мне не спится, я читаю их, как забытую молитву. Лейпис, лейпо, афейрео... Гипатия рассказывала нам о Платоне, который, не доверяя чувствам, хотел уверить себя, что существуют идеальные образы вещей и предметов. Гипатия говорила, что люди и вещи, окружающие нас, несовершенны и поэтому ненадежны, и великий философ противопоставлял им совершенные образы, чтобы спасти надежду в душе и гармонию в космосе. Я многое забыл и еще больше не понял, но, клянусь Асклепием, ее называли «великой» в те годы и поэты, и философы, и константинопольские юристы.

«Когда мудрость молчит, невежество лжесвидетельствует»,— говорила Гипатия. Она хотела спасти знания и передать их нам, эфебам, и всем, кто слушал ее. Я помню Гипатию постаревшую и печальную. Она думала о будущем, но не знала его. Мы тоже не знали. Нам казалось, что все дикое, страшное не коснется школы, обойдет нас, как нильская вода высокие камни.

Однажды я увидел сон. Из ночи в ночь глупый сон повторялся, и я не забыл его.

В подземелье жарко. Шевелятся, попискивая, горячие угли на алтаре Исиды. Теонид, окруженный учениками, сидит на полу. Подойти к учителю мне мешает спина Кирилла, но я слышу ласковый голос: «В мире сем тленном, эфебы, нет ни рожденья, ни губительной смерти, ибо не может исчезнуть, что было, а из небывшего сущее стать не способно...» Кирилл откровенно смеется, лопатки его двигаются и скрипят под шелковой туникой. Гипатия стоит на коленях перед умирающим отцом, она старая, безобразная, у ней выбрит затылок. Я боюсь ее, хочу убежать, спрятаться, но натыкаюсь на стены. Гипатия меня не преследует — она знает, что из каменного подземелья мне не выбраться.

Просыпался я в ужасе, звал Дакия, просил воды, чтобы отмыть руки и очиститься от страшного сна.

Гипатия-старуха снилась мне часто. Я видел ее в порту среди пьяных девок, на площади Диоклетиана, у ворот храма Сераписа, видел в короткой тунике и совсем

обнаженную. Боги предостерегали меня, но я им не верил — у сытого и благополучного человека глухое сердце.

Сейчас я верю снам, душа во сне освобождается от мелких хитростей разума и творит миф, обнажая глубинную сущность нашей природы. В хаосе сновидений есть своя логика и потаенный смысл. Гезихий, я помню, назвал сновидения «очищением души». Но предупреждал: зная многое и сокровенное, ночью, во сне, душа, как Пифия, говорит загадками.

Он умер, бедный Гезихий, защищая книги — самое для него дорогое. А я живой, утром поливаю капусту, а ночью пишу. Но кто я? Ученик Гипатии? Христианин? Или просто безумный старик, воюющий с прошлым?

Мне трудно дышать, у меня опять болит сердце. Я пишу и думаю: зачем старику запоздалая мудрость? Что было — прошло, как вода текучая. Бессмертные боги не спутают правого с виноватым, а люди не судьи мне. Да и кого они будут судить? Меня, человека, или сухие кости, гладкие, как паросский мрамор? Я много пью, чтобы заглушить боль. Дешевое вино из Оксиринха пахнет миндальным маслом. Светильники обволакиваются копотью, горят тускло. Я жалуюсь Гипатии: «Погляди, великая, какое вино я пью!» Она целует меня и говорит, что я предал ее...

Лечит меня Сиза пахучими египетскими лекарствами. Он лекарь и фокусник. Я не могу успокоиться, часто плачу, призываю в свидетели отчих богов, обвиняю время.

— Ты прав, Олимпий,— говорит Сиза,— виновато время, но расплачиваемся за содеянное мы с тобой.

Для больной души полезно телесное нездоровье. Я отдохнул, опять сижу за столом, записываю свое недавнее безумие, пью вино и ругаю оксиринхских торговцев. «Оттиски прошлых событий, отягощенные страданиями, искажаются в памяти»,— говорила Гипатия. И я верил великой. Она берегла школу, в городские распри не вмешивалась.

— Еще не было случая, эфебы, чтобы солнце, зашедшее за тучу, не появлялось вновь,— успокаивала она нас.

Но я знал другую пословицу: характер человека определяет его судьбу. У Гипатии был великий ум и обыкновенный характер. Она была простовата. Когда вернулся Кирилл — он прожил у нитрийских монахов два го-

да,— Гипатия неделю ждала его. Но племянник епископа не появлялся в школе.

— Может, захворал Кирилл? — волновалась Гипатия.— Съездите, узнайте!

Поехал Орест, вернулся и рассказал, что Кирилл здоров и не забыл нас, но в доме у него беда — умирает дядя, епископ Феофил. Мы молились Исиде и Серапису и не забывали Христа. Мы надеялись, что епископом Александрии станет архидиакон Тимофей, старик кроткий и рассудительный.

Но мы ошиблись.

Епископ Феофил умирал во дворце, а Кирилл выступал с проповедями в Кесарионе, призывал александрийскую чернь к убийствам и погромам. Под гулкими сводами самой большой церкви гремел его голос. Как грозный Илия, красавец пресвитер[1] пугал и обольщал простонародье: жив господь наш, податель росы и дождя, жив господь наш, сеятель и кормилец, жив господь, и страшен гнев его к лжемудрым хулителям, и велика милость его к послушным.

Иосиф пересказывал нам проповеди новоявленного пресвитера, невесело посмеивался и пророчествовал: наш друг и ученик великой Гипатии готовится принять сан епископа, льстит черни, но надеется на кулаки парабаланов и на увесистые дубины нитрийских монахов.

Орест кутил с офицерами гарнизона, приглашал и нас с Иосифом на дикие попойки. Офицеры пили дорогие вина, орали песни про могучего Ареса, который псов своих выпускает зализывать раны копейщикам славным с Эвбеи...

После попоек Орест хворал, Гипатия посылала к нему рабыню с лекарствами, а нам говорила: «Не обольщайтесь, эфебы, старый Тимофей не одолеет Кирилла». Мы объясняли ей, что на стороне архидиакона Тимофея офицеры гарнизона и богатые александрийцы.

Гипатия улыбалась и рассказывала нам о гиперборейцах — кифаредах и жрецах Аполлона. Она рассказывала, что счастливые гиперборейцы жили на краю земли по справедливым законам, не зная горя, болезней, утрат. В теплое благодатное лето они славили Аполлона, грозного владыку Вселенной, а зимой, пока земля отдыхала и набиралась сил, спали в пещерах под шорох

[1] Пресвитер — священник.

капели и серебряные песни ручьев. Текли тихо дни, проходили годы. Когда заканчивался девятнадцатилетний цикл, гиперборейцы ждали Аполлона. Грозный владыка Вселенной спускался к ним на золотой колеснице, слушал гимны гиперборейских кифаредов, принимал поклонения жрецов. Но однажды один из кифаредов, отбросив плектр[1], сказал грозному владыке Вселенной: «Мы люди, Аполлон, мы устали от хрупкого счастья, сердце наше уснуло, грозный владыка, и ослабло изнеженное тело, погас разум». Аполлон сел в золотую колесницу и исчез в голубой синеве неба. Наступили для гиперборейцев тяжелые дни. Погибли плодоносные деревья, ранние морозы убили злаки и овощи. Проклятая грозным богом земля стала сухой и холодной. Только неприхотливые травы успевали вырасти за короткое лето. Чтобы не умереть с голоду и не замерзнуть, несчастные гиперборейцы стали охотниками. Но дикие животные были быстроноги и хитры, а птицы осторожны. Гиперборейцы забыли гимны в честь Аполлона, сожгли кифары и плектры. Они жили одним и думали об одном — убить оленя, съесть его мясо, а из шкуры сшить теплую меховую рубаху. Гиперборейцы охотились на оленей и кабанов, а хищные звери охотились за ними. Только костры, днем и ночью горевшие в темных сырых пещерах, помогали им выжить. Огонь спасал их от холода и отгонял хищных зверей. Огонь казался им таким же могучим и грозным, как Аполлон, и они стали поклоняться ему. Они сочиняли в честь Огня гимны, отдавали Огню лучшие куски мяса, славили его и боялись. Они пели: грозный бог Огонь, владыка наш и хранитель, прими от рабов своих жертву, спаси нас и защити.

Записывая сказку о гиперборейцах, мы не понимали ее страшного смысла и, посмеиваясь, называли Кирилла отважным кифаредом, который не побоялся бросить вызов самому Аполлону.

Оглушенные звоном солдатского оружия, мы забыли о мудрости Гипатии, не верили ей. Она казалась нам просто милой женщиной. Мы привыкли к ней, видели ее слабости, посмеивались над ее доверчивостью. Нет пророка, говорил Иисус ученикам своим, принятого в своем селении, и не лечит врач тех, которые знают его. А мы

---

[1] Плектр — тонкая пластинка, применяющаяся для извлечения звука при игре на струнных щипковых инструментах.

знали Гипатию, по привычке называли «божественной и великой», но поклонялись не уму ее, а красоте. Даже Иосиф, приветствуя утром Гипатию, говорил: «Радуйся, прекраснейшая из женщин!»

Прошло еще несколько тревожных дней.

В то утро шумело осеннее море и кричали птицы. Мы слушали прекраснейшую из женщин. Она спрашивала: «Почему малый руль, привешенный на корме корабля, имеет столь большую силу?»

Эфебы старательно занимались математическими исчислениями. А я успокаивал Ореста. Великая, шептал он, сдерживая слезы, философия и математика не делают человека счастливым. Отец вызывает меня в Константинополь.

Гипатия объясняла эфебам, что корабельный руль превращается в рычаг, море становится грузом, а рулевой — движущей силой. После занятий она пригласила нас к себе, угостила вином и фруктами и сказала Оресту: «Милый друг мой, не забывай школу, друзей своих и меня. Мир может быть и плохим и хорошим, толпа — покорной и безумной, но ученики мои сберегут и умножат незакатный свет знаний». На Ореста жалко было смотреть. Он привез прощальный подарок — золотой обруч, пытался надеть золото на пышные волосы Гипатии, но руки у него дрожали. Он плакал, а великая и божественная нежно целовала его...

Я пью вино, поглаживаю грудь, успокаиваю сердце. Я хочу быть только свидетелем. Простым и бесхитростным.

Епископ Феофил умер зимой. Ночью, как всегда, шумело море. Днем александрийская чернь слушала проповедников и пророков.

Глашатаи от имени императора грозили бродягам и подстрекателям жестокими карами. Начальник гарнизона окружил дом архидиакона Тимофея надежными солдатами, а в сирийском предместье разместил галльских наемников.

Пресвитер Кирилл собрал в Кесарионе богатых и знатных, учителей и поэтов, бродячих музыкантов, врачей, несмирившихся философов. Он не ссылался на заповеди Иисуса, не угрожал и не уговаривал. Он обвинял: «Ваши предки сделали войну ремеслом. Роскошь, мотовство, разврат не были ли естественными последствиями завоеваний? С каждым часом становилась шире и шире

бездонная пропасть, отделяющая несметные богатства от жалкой нищеты. Не вы ли должны отвечать за жестокое угнетение сельских жителей, которое довело их до отчаяния, до побегов и мятежей? Не мы наполнили империю рабами и поставили этих несчастных ниже домашних животных, возлагая на них работы, которые должен исполнять скот. Не мы погубили сенат и аристократию! Не мы обессилили легионы, заставляя сражаться их друг с другом! Что нам было до этой армии, которая дала вам за последние сто лет тридцать три императора и двадцать семь претендентов на престол. Не мы подстрекали преторианцев продавать империю с аукциона. Но все это кончилось, и мы благодарим бога нашего и Христа-спасителя — пора человечеству отдохнуть! Вздох заключенного, молитва пленника наконец услышаны. Взамен тысячелетней ночи преступлений, на которую вы оглядываетесь и жалеете тайно, грядет новое тысячелетие, возвещенное пророками. Вам не остановить время, оно не подвластно вам! Блага, созданные руками бедных, не ваши. Кровь замученных, стоны униженных услышаны Господом! Грядет тысячелетнее царство справедливости, в нем не будет мирского тщеславия, гнусной жажды к золоту, страсти к славе и могуществу — но только святая жизнь в Господе!»

Не знаю, что думала о проповеди Кирилла Гипатия,— она была с нами в Кесарионе. Но я не верил Кириллу. Дядя оставил ему несметные сокровища, вывезенные из храма Сераписа, а он проклинал золото, славу, власть. Иосиф назвал проповедь Кирилла «грязной политикой». Проводив Гипатию, он приехал ко мне. Конечно, мы говорили о Кирилле. Кто он, наш друг и ученик Гипатии? Лжец или фанатик? Христианство Кирилла нас не пугало. Иосиф верил в грозного бога иудеев, для которого небо небес — стул его, а Земля — скамья для ног его. Я молился Асклепию, покровителю этолийцев, а Гипатия приносила жертвы Исиде. Чем хуже бог христиан моего Асклепия или Исиды? Детство Кирилла, мы знали, было тяжелым и безрадостным, а христианский бог милостив к несчастным и обездоленным.

Прошло тридцать лет, горьких и страшных. Я состарился, многих забыл. Но Иосифа помню — невысокого, худого, всегда печального. Ссылаясь на Ксенодота, он говорил, что будущего у нас нет, а безысходность настоящего очевидна, спасение — в трагическом мужестве.

Ксенодота я не читал, но слышал о нем. Гипатия называла его «мрачным утешителем».

Мы не уснули в ту ночь, пили светлое мареотское вино, спорили, читали Анаксимандра: «Вещи несут наказание за радость бытия и умирают, неспособные воплотить в себе общее». Анаксимандр учил, и мы верили ему, что истина проста, а зло закономерно, несовершенство мира заложено в бытие вещей, ведь каждая вещь стремится выйти за пределы своего индивидуального бытия, посягая на бытие других вещей.

Утром мы узнали: парабаланы Кирилла разогнали солдат, ворвались к архидиакону Тимофею и заставили его отказаться от епископского сана.

Кирилл стал епископом Александрии. Проповедуя мир, обещая хлеб и ежедневную похлебку нищим, он не забывал иудеев. «Они богаты,— говорил он,— у них корабли и меняльные лавки, но справедлив гнев господа, и воля его с вами, дети мои...»

Я не видел погрома, не слышал стонов и проклятий. Когда я подъехал к дому банкира, все, что могло сгореть, уже сгорело. Рувим бен Харкан лежал в портике, на мраморных плитах, и кровь у его головы уже выцвела, стала серой. В ногах у старика сидела девочка лет двенадцати — живая, обезумевшая от боли и стыда. Она пыталась прикрыть изодранной туникой ноги, по которым еще бежала удивительно чистая розовая кровь.

V

Уже несколько ночей я не пишу, пью вино, перечитываю письма Синесия. Днем мне легче — я не задыхаюсь, сижу на высоком каменном пороге, гляжу на молодые оливы, на спокойное море. Я жду Сизу. Он приходит утром или под вечер, садится рядом, молчит. Мы давно знаем друг друга, и говорить нам не о чем. Сиза помогает мне подняться, ведет в дом. Он сжигает какие-то семена или зерна. Я дышу благовонным дымом, у меня кружится голова, и мне кажется, что я стал птицей, летаю над морем и свежая морская пыль ласкает мое горло.

Сплю я всю ночь. Просыпаюсь в полдень. Пытаюсь встать и не могу. Меня немного подташнивает, и болит голова, но я не кашляю, не задыхаюсь. Сначала ожи-

вают пальцы. Они тонкие и серые, в мелких морщинах. Потом я поднимаю руку, ищу чашку с вином.

Сиза предупреждал меня, что старость — болезнь неизлечимая и лекарства его только притупляют боль. Но я не стремлюсь к бессмертию, в круговороте случайностей не хочу быть ни мучеником, ни шутом. Я просто радуюсь, что впереди у меня спокойная ночь. Скоро я зажгу светильники — они тоже свидетели прошлого. И буду писать. Запишу, как, сгорбившись, Сиза колдует над тлеющими зернами, а я дышу благовонным дымом...

Наверное, я должен был помочь девочке: смыть розовую кровь или хотя бы закричать. Но я увидел динарий, серебряный динарий, потемневший от крови, и понял, или скорее почувствовал, беду. Ведь все мои деньги были у этого старика, а он мертвый, дом его разграблен. Я бегал по обгоревшим комнатам, искал не динарии, а письмо отца к Рувиму бен Харкану.

Растерянный, оглушенный горем, я возвращался домой по старой Нильской дороге. Что делать теперь? Как жить? Дома я нашел сентенции Павла-юриста и узнал, что потерпевший может предъявить рекперсекуторный иск. Но кому я предъявлю такой иск? Мертвому банкиру или александрийской черни? В отчаянии я хватался за книги. Любимые философы советовали: смирись с несчастьем, потому что все совершается сообразно естественному порядку вещей. Но я не считал погром естественным, а свое разорение неизбежным или закономерным.

Спал я мало, засыпал тяжело, часто видел во сне мертвого банкира и серебряные динарии. Дневной свет меня не радовал, а ночь не приносила успокоения. Полки с книгами, свитки и красивые вещи раздражали меня и казались уже чужими. Я плакал, молился, проклинал свое легкомыслие, но не забывал Софокла:

Кто радость жизни потерял —
Тот труп живой. За жизнь его
Я не отдам и тени дыма...

Я продавал книги, александрийское стекло, никейскую керамику. Ходил по опустевшему дому и высчитывал: сколько сестерциев стоит рыба или зелень к обеду? Через полгода у меня уже не было ни денег, ни дорогих вещей. Я позвал Дакия, поставил его на колени.

«Ныне отпускаю раба своего,— сказал я ему.— Иди с миром!» Но Даκий никуда не ушел, заботился обо мне, кормил меня рыбой и луком, покупал дешевое вино.

Я очищаю светильники от жирной копоти, перечитываю записи. Они кажутся мне удивительно последовательными. Прошлое в них — не хаос, не безумие. Но я не лгу, не выдумываю нравоучительных басен. Клянусь Асклепием! Память моя скатала прошлое в клубок, и, разматывая его, я вынужден записывать события в определенном порядке.

Письмо Синесия я получил в тяжелые дни. Продавать было нечего, а в долг нам уже не давали ни вина, ни зелени. Синесий писал, что все погибло, нет больше великой Греции, и только Египет взращивает семена, заброшенные в его землю Гипатией. Я читал письмо и думал: Синесий в далекой Кирене не забывает Гипатию, а я в Александрии, и мудрая Гипатия рядом, надо идти к ней.

Наверное, то утро было тревожным. Ревели верблюды на рынке, и черные птицы кружились над городом. Гипатия предложила мне стать библиотекарем в ее школе, и я согласился. Даκий ушел к христианам. Позже я узнал, что крестил его сам епископ Кирилл, мой раб стал парабаланом.

Деньги от проданного дома я не берег, покупал книги и свитки, делал подарки Гипатии, ее рабыням. Кто осудит меня? Я каждый день видел прекраснейшую из женщин и не хотел считать себя нищим приживальщиком.

Неожиданно появился Иосиф, сел на пол, рядом с Гипатией, и опять записывал то, что она говорила. Я тоже записывал все, что говорила Гипатия. Но я был служащим в ее школе. А зачем несчастному Иосифу многоугольные числа Диофанта? Гипатия пряталась за цифры, которые не лгут, и за приборы, назначение которых очевидно. Она перестала доверять философам — и старым, и новым. Они торопятся, говорила она, все объяснить и все упорядочить, чтобы спасти несуществующую гармонию мира. Только в математике, говорила Гипатия, есть диоризмы, помогающие сократить количество решений и приблизиться к истине.

Теперь-то я знаю, многоугольные числа и диоризмы — знаки, лишенные плоти. Не они определяют нашу судьбу. После погрома, потерявший все, обедневший, не

имеющий пристанища, Иосиф уверовал в универсальный закон справедливости как в силу, неподвластную даже творцу Вселенной. «Не по воле своей,— говорил он,— не по желанию своему бог решает судьбы мира, но по закону справедливости!»

Обедали мы у Гипатии. Иосиф ел жадно, некрасиво. Смеялся и плакал, рассказывал новости. От него мы узнали, что в Александрию вернулся Орест,— отец купил ему должность префекта.

— Да здравствует новый хозяин Александрии! — кричал Иосиф.

Четыре года я жил рядом с Гипатией, видел ее в тунике, с неубранными волосами, знал любовь ее к сладостям и к красивым безделушкам. Она бывала вспыльчива и жестока, обижала рабынь. Но почему и сейчас, через тридцать лет, прожив страшную жизнь, больной и состарившийся, я называю ее «божественной и великой»?

Боги несправедливы к нам, невеликим! За ошибки мы расплачиваемся горем и нищетой, а за минутные слабости — годами страданий. Я много пью, потому что мне страшно и я не могу молиться... Даже мертвая ты осталась «великой»! А я знал тебя другой — избалованной и влюбленной в тело свое. Утром ты ходила обнаженная и ласкала бедра свои... О боги, сжальтесь! Мне душно! Не отдавайте меня смерти, у нее цепкие пальцы, и она любит полоскать души в мутном грехе! Я не предавал великую! Я старый. Меня замучил кашель, а до кровати десять шагов. Сизы нет, никого нет, я один в каменном мешке, и красная пыль пустыни убьет меня.

Сиза — спокойный человек, лечит меня уверенно и быстро.

— Я подниму тебя, Олимпий,— говорит он.— Ты сможешь писать. Но привычка к лекарствам останется. Обманчив душевный покой, опасно искусственное счастье. Ты высохнешь, как мумия...

Я кричу, что Кирилл убийца, и я знаю правду.

— Пройдут годы, Олимпий,— говорит Сиза,— и сотрут твою правду или ложь. Предел жизни — это печаль. Ты утратишь все, что было прежде вокруг. Тебе будет принадлежать лишь пустота. Возвестят день, но не для тебя, Олимпий. Взойдет солнце, а ты будешь во мраке, и только тогда сердце твое перестанет пылать в страдании.

Сиза дает мне выпить горькое густое лекарство из египетских трав, поглаживает мои впалые щеки и шепчет:

— Ты уснешь, Олимпий. Без болей и сновидений, в царстве покоя. Ты уснешь...

Я опускаю ноги на холодный пол и гляжу на решетки в окне. Они блестят, искрятся на солнце. Значит, утро. Ночь позади. Я чувствую: у меня хватит сил дойти до шкафа, взять новые листы пергамена. Но я не тороплюсь — не привык писать при дневном свете. Днем я часто перечитываю написанное, исправляю стилистические погрешности. Отвлекает и шум на верфи, и люди. Иногда заходят ко мне плотники-христиане, заботы у них простые и разговоры одни и те же — о старых кораблях и новых порядках. Мальчишки приносят мне рыбу, а овощи у меня свои.

День тянется долго. Я успеваю окопать молодые оливы, сходить за водой, приготовить и новые листы пергамена и перелить вино из амфоры в большой карфагенский скифос. Под вечер начинаю суетиться: готовлю чернила, протираю светильники, пью вино, доедаю вареные овощи.

Темнеет быстро, но я не сразу сажусь к столу. Меня беспокоит треснувшая амфора, волнуют цены на рынке, и я жду, когда вино и густые сумерки прогонят дневные заботы. Я с удовольствием вспоминаю широкую лестницу в нашей школе, взволнованного и счастливого Ореста, на нем голубая туника, расшитая золотом, и легкий плащ. Он приехал в колеснице префекта. Гипатия встретила его ласково, как старого друга и, посмеиваясь, сказала:

— Да будет ноша твоя легка, милый Орест!

Власть, как неразбавленное вино, веселит сердце и умного и глупого.

Скучающего Ореста развлекала и забавляла власть префекта. Он говорил, что в рескрипте императора написано только то, что написано, и не препятствовал язычникам открывать частные школы. С его разрешения возобновились конные ристалища на ипподроме, на площадях выступали мимы и фокусники, а в уцелевшем от христианских погромов театре бродячие актеры показывали «Антигону» Софокла.

Кирилл не мешал префекту. Ореста он знал и не считал его серьезным противником. У епископа были

свои заботы, каждодневные и серьезные. Он крестил и исповедовал, налагал епитимьи, строил больницы и церкви, боролся с ересями. В проповедях епископ Александрийский осуждал легкомыслие префекта, но не грозил отлучением, а напоминал ученику Гипатии, что и великий Платон уповал на божественный свет, озаряющий нас познанием изначального бытия.

Кротость Кирилла успокаивала. Многим тогда казалось, что погромов и мятежей больше не будет в Александрии.

По утрам у нашей школы опять стояли кареты, повозки, рабы с носилками. Богатые александрийцы, гости из Константинополя, учителя и чиновники слушали Гипатию. Она комментировала Платона, который предполагал бытие естественным, действующим по собственным, нам непонятным законам. Бытие стихийно, говорила Гипатия, но возможным его делает свет, без которого немыслима ни сама жизнь, ни ее познание. Она не упоминала Кирилла, но порицала христианских экзегетов[1]. Они, говорила Гипатия, ссылаются на Платона, а пересказывают несведущим Плотина Ликопольского, путаника и безумца, который отождествлял созерцающий дух с созерцаемым и преграждал пути истинному познанию.

Окна еще темные, середина ночи. А я устал — дрожат руки, и память не слушается меня. Чтобы не упасть, держусь за стол. Мне кажется, что я дома, в Этолии, пробираюсь в сад. Женщины еще спят, но в гинекее светло, и пол теплый. Я прижимаюсь к теплому полу лицом и слушаю отца. Он старый, седой, в ионийском хитоне, читает Гомера. Сплю я недолго. Просыпаюсь, тру грудь и шепчу: «Грузный вином, как собака увертлив, ты в сраженье открыто не ходишь с сердцем оленьим...»

Грудь у меня не болит, я не кашляю. Значит, надо писать. Вспоминаю недоброе затишье в Александрии и пишу, что философские споры были пеной, а великий Платон — замшелым камнем на дне буйной реки. Торопливые купцы из Эфеса скупали пшеницу, финики, лен. В городе закрывались давильни. Стеклодувы не могли купить соды, чесальщики — льна. Александрия,

[1] Экзегеты — богословы, толковавшие библейские тексты.

снабжавшая пшеницей чуть ли не всю империю, оказалась без хлеба.

Опять начались погромы и убийства.

Гипатия послала за Орестом. Это была не первая их встреча, но она мне запомнилась. Орест стоял на коленях. Я посмеивался над влюбленным префектом и записывал: «Ты, облеченный властью императором,— говорила Гипатия,— пошлешь чиновников и солдат к тайным складам Кирилла и, если понадобится, силой заставишь епископа Александрийского обеспечить пшеницей городские хлебопекарни. Поспешай, префект, назревает мятеж, и Кирилл использует ненависть голодных, чтобы расправиться с неугодными».

VI

Чиновники и солдаты выполнили приказ префекта. Несозревший мятеж потух, и мы успокоились. Вечером Гипатия рассказывала эфебам, что Пифагор Самосский считал Землю просто звездой, а Вселенную называл «шаром» и полагал ее бесконечной. «Но Пифагор ошибался, друзья мои,— говорила Гипатия,— все, что имеет форму, не может быть бесконечным».

Иосиф, я помню, редко приходил в школу. Ночевал где придется, питался подаянием. Тихое безумие его, непонятные речи и странные поступки полюбились простонародью. Они думали, что наш несчастный друг ниспослан богом «позорить грехи мира сего и защищать правду». Гипатия пыталась помочь Иосифу, договорилась с Адамантием, искусным врачом и философом. Иосиф пил лекарства, безропотно соглашался на массажи и ванны, слушал Адамантия, когда тот объяснял ему причину заболевания.

Но все кончалось одним и тем же. После ванн и массажей Иосиф спрашивал: а может ли он, Адамантий, вылечить безумие мира сего и восстановить справедливость?

Врач ссылался на Алкмеона Кротонского и доказывал Иосифу, что сильная боль или внезапный испуг сушат мозг и нарушают пространственные связи. Иосиф с ним не спорил, а когда врач уходил, жаловался мне или Гипатии, что нарушены не пространственные связи, а извечный закон справедливости.

Истинная сущность вещей и явлений скрыта от нас.

Мы — прошлогодние листья для ветра... Я помню Иосифа босого и грязного, в изодранной тунике. Он знал Александрию нищих, Александрию бродяг. Он связывал нас с миром голодных и отверженных. Он первый рассказал нам, что Орест ранен...

Трещат сухие листы пергамена и, извиваясь, ползут ко мне. Я отбиваюсь от них и кричу: «Великая, ты любила Ореста!»

Утром христиане-плотники подняли меня с полу и унесли на кровать. Они говорили, что я очищусь в страдании и буду утешен. Но я не утешен! Моя жизнь — не благо, а бремя мое нелегкое! Я плачу и жалуюсь, но не им, а Сизе. Он успокаивает меня, но слова его странные.

— Женское тело, Олимпий, пламенеющий сардоникс. Забудь прошлое, умасти локоны истины маслом.

Вечером он поит меня горькими травами. Я сплю спокойно. Не задыхаюсь от кашля, не проклинаю Кирилла. Утром пытаюсь встать, но сил нет. Кружится голова. Шумит море. Незнакомые люди говорят о моих похоронах. Я слушаю равнодушно. Слова их держатся недолго, быстро отстают. А я, покачиваясь, плыву.

У Сизы свое время, у меня — свое. Он говорит, что я долго хворал. Но я не верю ему. И осень не переубедит меня. Она — часть Космоса и не сопричастна моей душе. Я сижу на кровати и думаю, что море зимой остынет, ночи будут прохладные, и я смогу писать, не мучая себя. Сиза советует мне выбросить чернильницу, продать пергамен. Но я не могу. Змееволосые эринии [1] преследуют меня. Христиане называют их совестью и божьим светом. «Да святится имя твое,— шепчу я,— да приидет царствие твое». Но Христа нет, и царство его далеко, а Гипатия рядом.

— Мы живем, обманывая себя и других,— говорит она. — И только смерть скажет, кто мы.

— Великая,— говорю я,— смерть ничего не скажет. Она холодная и немая.

— Ты испугался, Олимпий?

Сейчас полдень, и Гипатии нет в моем доме. Я разговариваю сам с собой. Сиза слушает и молчит. Он сегодня не лекарь, а гость. Он знает: как только стемнеет, я сяду писать...

Гипатия понимала, что вызов брошен ей, не Оресту.

[1] Эринии — в др.-греч. мифологии богини мести.

Не принимала послов из дворца, не отвечала на письма. Но Орест был настойчив. «Тебя нет, великая, и раны мои не заживают»,— писал он.

Огромный дворец Птоломея Флейтиста был окружен солдатами. Нас встретил офицер и повел к префекту. Я запомнил раскрашенные статуи в нишах и столетнюю пыль.

В спальне префекта сидел у дверей, за белой занавесью, бритоголовый египетский лекарь. У противоположной стены лежал на кровати Орест. С забинтованной головой, но в праздничном талярисе[1]. Я остался с лекарем, а Гипатия пошла к Оресту. Он сразу стал жаловаться, обвинял монахов и трусливую стражу.

— Аммоний, великая, грязный пустынник, ударил меня по голове камнем.

— Ты мужчина, мой друг.

Орест погладил забинтованную голову и начал рассказывать.

У развалин сирийского храма нитрийские монахи остановили его карету. Монахи кричали, что префект Александрии — враг церкви Христовой, служит публичному сраму, эллинской нечисти.

— Меня крестил епископ Аттик, великая.

— Знаю, милый. Ты возбужден, много пьешь вина, поэтому раны твои не заживают.

Бритоголовый лекарь обругал Гипатию «колдуньей» и задернул белую занавесь. Осталась небольшая щель. Увидеть я мог немного, но слышал все. У времени, как у речного потока, говорила Гипатия, нет правых, нет виноватых, есть только необходимость. «Мы, эллины, надеемся на мертвых, глядим назад, ругаем чернь и время обвиняем в безрассудстве...» Это Паллад, поэт и грамматик. Друг Кирилла. Кирилла-епископа и моего ученика... «Не золото горит на крышах александрийских дворцов, а кровь несчастных и обездоленных». Поэт прав — горит не золото. Но кровью кровь не смыть ни тебе, ни Кириллу... Орест про раны незаживающие забыл, бегал и суетился, модные пантофли его шлепали по гладкому полу спальни. Он кричал, что не побоится Кирилла и жестоко накажет Аммония, дерзкого монаха.

---

[1] Талярис — одежда знати, туника с длинными узкими рукавами.

— Кирилл, великая, не христианский фараон, а слуга императора. Он хочет мириться... Присылал ко мне Дионисия...

Орест метался по спальне, путаясь в длинном таларисе, и твердил, что ему надоели глупые споры, интриги Кирилла.

— Я не солдат Зевса! — кричал он. — Не преторианец Христа! У меня нет крыльев. Старые боги воевали и ссорились на Олимпе, но обходились без нас. Я люблю тебя, великая, только тебя, возлюбленная моя!

Орест упал на колени, я видел его спину. Он умолял Гипатию остаться во дворце навсегда. Клянусь Асклепием! Я слышал, я помню, Гипатия смеялась.

— Мне сорок пять лет,— говорила она.— Сорок пять, милый Орест. Чернь кричит в окна мои: «Колдунья, старая колдунья!» Они правы, Орест. Я — старуха. Разум мой ясен и чист, а тело... Я не люблю тело свое, Орест. Утром тело мое пахнет потом. Не плачь, милый Орест. Не надо... Наша юность благословенна. Мое тело было для тебя прекрасной радостью, любовь — праздником. Не убивай юность, Орест! Не зови умерших! Пусть года умирают, как люди. В круговороте жизни существует справедливое равновесие. Одно отнимается, а другое дается. Ты стал мужчиной, у тебя власть... Не бойся Кирилла! Не жалуйся императору, ты не ребенок. Слабых не защищают. Напиши, что епископ Кирилл будоражит чернь и столица не получает из Александрии пшеницу...

Скоро утро, а я все еще за столом. Не пишу и не отдыхаю. Светильники горят зря. Но без них грустно, особенно в конце ночи, когда синеют окна и вещи в доме рождаются заново. В спальне префекта плавают голубые тихие рыбы. Они нарисованные, а Гипатия кормит их хлебом. Сиза не поверит мне, скажет, что я выдумщик, не свидетель.

— Нельзя,— скажет он,— запомнить слова, услышанные так давно.

А я отвечу ему, что запомнил не я, больной старик, а сорокалетний мужчина. Я только освободил оттиски тех слов от самого себя. Сиза покачает головой и бросит пахучие зерна на горячие угли. У меня закружится голова, все поплывет, распадется, потеряет форму...

Яркий свет разбудил меня. Мне холодно, и болят локти. Оказывается, я уснул за столом.

— Ты вышел из тьмы, Олимпий, и уйдешь во тьму, а жизнь порождена светом.

Это говорит Сиза. Он сидит в дверях, на высоком пороге и смеется. Я ругаю его «фокусником», кое-как поднимаюсь и выхожу из дома.

День зимний нежаркий. Вода в скифосе не согрелась. Умываюсь я долго, ворчу по привычке, ругаю старость. Мне тяжело после сна, все болит и кружится голова. Слышу я плохо, но знаю: на верфи христиане-плотники стучат топорами и поют, что трости надломленной они не переломят и льна курящего не угасят. Я не верю им. Со своими они ласковы, попросишь плащ — отдадут и рубашку. А с чужими жестоки.

Я умылся, спрашиваю Сизу: душа моя останется на земле или поднимется к престолу господнему?

— Ты лучше рыбы поешь,— говорит он,— после смерти душа твоя станет свободной, как птица, и о тебе не вспомнит.

Сиза — безбожник, а был мемфисским жрецом, ходил в белой тунике. Христиане его не любят, ругают зверопоклонником, но не трогают, боятся. Сиза лечит Кирилла.

Под вечер мне легче. Но я не спешу, берегу силы — впереди трудная ночь.

Земля на капустных грядках засохла. Я часто отдыхаю. Стою, держусь за лопату, гляжу на привычное, давно знакомое, и только настоящее кажется мне сущим. Сиза вылечил меня — я не кашляю, не хватаю по-собачьи воздух беззубым ртом. На верфи мелькают люди, подбирают инструмент. Закатится солнце — они выстроятся, как солдаты, пройдут усталые мимо меня.

Мы в сновиденьях сладостных
Омоемся, очистимся...

Долгие годы и я пел вместе с ними, а сны видел тяжелые. Не отдыхал ночью, не очищался.

Зимнее солнце утонуло в море за Фаросом. Стало холодно. Надо идти домой, жевать вареную рыбу и кислый хлеб. Молодые оливы в сумерках кажутся беззащитными, но они выживут и широко разрастутся наперекор ветрам. Корни у них крепкие.

— Как здоровье, Олимпий? Есть ли рыба? — кричат с дороги плотники-христиане. Я отвечаю им, что Хрис-

тос милостив, не оставит раба своего. Они уходят в сумерки и тонут в них, как в глубокой воде.

В доме совсем темно. Я зажигаю светильники, ем вареную рыбу и овощи. Еда отнимает время, раздражает меня, но я жую, насыщаю утробу, питаю тело, чтобы удержать в нем бессмертную душу.

Не еда, а вино дает мне силы. Я могу остановить время, опрокинуть его и переживать прошлое, как наличную боль...

Я ушел из дворца, не дождавшись Гипатии. Бродил по улицам, ко всему безучастный, как пьяный или больной.

Многолюдье — не лекарь несчастному. От шума и толкотни я совсем обезумел, молился громко и жаловался Асклепию на тварей земных с двойным естеством.

Разум наш хрупок и немощен, а душа поводырь надежный. Я вышел к развалинам Серапейона, спустился по знакомой дороге в предместье, нашел старый канал, заросший травой и кустарником. Отдохнул в тишине, умылся. Разум мой окреп: я все видел, все понимал. Боль не оглушала, но сделалась резкой, как стыд. Тайная любовь к Гипатии показалась мне несерьезной, ревность необоснованной, поведение мерзким. Только сердце болело по-настоящему.

Уснуть на земле, не под крышей, я не мог. Не мог и забыться. Ночь была густо-синей. Звенели надо мной белые звезды. Я лежал в остывающей колыбели и думал, что все живое — равновелико, мышь не поклоняется льву, колючий кустарник — божественным лотосам.

К утру колыбель моя стала твердой, белые звезды погасли. Мне захотелось домой, в чистую комнату, к свиткам и книгам. Я уже не считал, что маленькая серая мышь и царь пустыни одинаково любезны богам и равновелики в правах.

На поле кровавом, где бились ахейцы,
Мышь не славу искала — ячменные зерна...

О боги, не осуждайте меня! Я хочу быть простым и ясным. Но человек не прост, не однозначен. Душа его — бездна, и плоть ненасытная многое хочет, да немногое может. Я любил прекраснейшую из женщин, был счастлив, твердил неустанно: недоступная, как звезда, и чи-

стая, как роса пустыни, живи вечно! Но в то утро на старом канале я сказал себе: «Олимпий, тебя сорок три года, пора образумиться...» И я образумился, зачеркнул лучшую часть своей жизни, увял и состарился, стал служащим в ее школе. Только служащим! Я не обвиняю Гипатию, не обвиняю сейчас, этой ночью, потому что знаю — двуедина природа сущего и солнце, сеятель жизни, сжигает посевы.

VII

Ночь только начинается, и вино рядом, но я не пью, готовлюсь к сражению, самому трудному — с самим собой. Вспоминаю старый канал, синее утро, пустынные улицы. Я пробирался в школу, как вор, и думал, что Гипатия не забудет свою вынужденную откровенность и прогонит меня. Но я ошибся. Гипатия была умной женщиной... И жестокой, клянусь Асклепием! Она читала мне трактат Крантора Пифагорейца. Трактат назывался «Утешение скорбящему».

Вечером Гипатия рассказывала эфебам, что небо есть законченная наличность, полная целостность, источник космического ума и первоисточник нашей жизни, всегда стихийной и незавершенной, существующей только в возможности. Мы можем, говорила Гипатия, предугадать затмение солнца, но затмение разума александрийской черни предугадать нельзя.

Я записывал комментарии ее с пропусками и ошибками. Мне казалось: Гипатия взволнована недобрыми предчувствиями и не верит Платону. Слова, даже искусно организованные, говорила она, не становятся истиной, когда вопросы задает жизнь — жизнь и отвечает, а не философы.

Она часто заходила в библиотеку, перебирала свитки или рассказывала мне, одному, о Героне Александрийском. Она говорила, что Герон — удивительный механик, но плохой философ. «Материя, милый Олимпий, проявляется в форме, имеет вес и объем, бесформенной материи не существует».

Материя, проявляющаяся в форме, меня не интересовала, но я слушал великую и соглашался со всем, что она говорила. Я был служащим в ее школе, только служащим, считал себя обманутым и несчастным, но страдал вяло — не от боли сердечной, от упрямства. Гипа-

тия угощала меня фруктами и посмеивалась. «Излишняя серьезность, милый Олимпий,— говорила она,— мешает оценивать качество вещей и размеры явлений». О боги, родной Асклепий, всеблагая Исида, я не понимал великую, у меня было маленькое глупое сердце!

Наступили знойные и тревожные дни. Учеников у нас стало меньше. Эфебы боялись жары, богатые и знатные боялись Кирилла. Только Иосиф не забывал нас. Он появлялся утром, бегал по школе и кричал: «Отдайте Гипатию! Отдайте Гипатию!» Она выходила к нему некрасивая, уставшая от бессонницы, и он успокаивался, покорно шел со мной в библиотеку, с удивлением разглядывал свитки и книги, пугал меня нелепыми пророчествами — придут, Олимпий, народы с концов Земли и скажут: ложь унаследовали отцы ваши, ложь и пустоту! Прощался он торопливо, кружился вокруг меня, бормотал: «Не спи ночью, не спи днем, Олимпий, враги у ворот, и оружие в руках их, и новый завет».

Фаргелион для меня — несчастный месяц. Не помогли очистительные молитвы, масло и ладаны. В фаргелионе я получил письмо от Синесия. В нем Синесий писал: «Дорогой друг, не читай громко мое письмо, может быть, говорит с тобой уже мертвый епископ Птолемаидийский». Письмо я потерял, но стихи, приложенные к письму, запомнил:

Ожила голубая пустыня,
Зашумели пески сухие.

Славный мой друг, я не забыл твою просьбу, я не читаю громко, я шепчу твои стихи как молитву:

С юга шли упрямые игмазены,
Налетали с востока номады.
Братья во Христе меня корили:
— Ты оставил, епископ, церковь!
А друзья говорили другое:
— Опоздал, епископ, молился долго,
Догорают наши поместья...
Двадцать лет я сражался с пустыней,
Потерял сыновей и брата,
Схоронил жену дорогую.
Ветер пустыни глаза мне выжег,
Злой нубиец искалечил пальцы.
На коня я теперь не сяду,
Меч спартанский из ножен не достану.
Братья во Христе меня пугают:

— Господь спросит с тебя, епископ,
Как служил ему и молился!
А друзья опять меня торопят:
— Собирайся, епископ, в дорогу...
Боже правый, ниспошли мне мудрость!
Матерь божья, не оставь калеку!

Бедный Синесий, кости твои растащили шакалы, а прах твой развеял ветер пустыни. Христос не защитил епископа, светозарный Аполлон не спас поэта. Я один, и мне грустно, Синесий! На полу узкогорлый скифос. Я пью кислое вино, чтобы согреться и успокоить дрожащие пальцы. Надо мной плавают тени. Я привык к ним, они бесплотны, как вымыслы, и на рассвете растают. Иногда мне кажется, что тени шелестят и смеются. Я не боюсь их. Что они знают, хилые дети ночи, зачатые в сумерках! Я помню, летала по школе черная птица и рабыни с палками гонялись за ней. Гипатия читала христианских апологетов и спрашивала меня — может ли сгнившее тело возродиться в прежнем качестве от гласа трубы? Однажды она сказала, что пойдет на рынок.

Я устал, не пишу. Топчусь у стола и жду, когда посветлеют окна и растают шелестящие тени. А ночь будто застыла: остановилось время, и я ворчу, недовольный:

— Ведь можно нанять лошадей и ехать в повозке.

— Но утро прекрасное, и я еще не старуха,— говорит Гипатия. Она спокойная и красивая. А мне страшно. Я путаю прошлое с настоящим, зову на помощь Асклепия, умоляю Исиду: «Спаси, всеблагая, Гипатию! Спаси!» Под плащом у меня меч — боги, я знаю, не любят слабых и беззащитных.

Улицы чистые и пустынные, пыль, отяжелевшая за ночь, еще на земле, нищие в каменных норах. Я помню, Гипатия пела: «В дар посылаю тебе, о Родоклея, нежные лилии, розы душистые, анемоны...» На белых ступенях Цезариума сидели монахи-пустынники в черных козьих шкурах, похожие на зловещих птиц. Они узнали Гипатию.

О боги, я слышу крик обезумевшей от боли женщины! Слышу сейчас! В этом доме! В черной куче монахов мелькает белый пеплос Гипатии. Иосиф расталкивает монахов, несчастный безумец хочет укрыть Гипатию от дубин и камней. Его топчут, бьют и оттаскивают за ноги, как подохшую собаку. Глупые тени смеются, но

я не безумец, я знаю, убийца — Кирилл. Меня забили бы камнями и палками, как Иосифа.

Шатаясь, я бреду к кровати.

Прости, великая...

Разбудил меня Дакий. Он зашел ненадолго, проститься — епископ посылает его в Киренаику покупать лошадей. Дакий жалеет меня, приносит финики и мед, но разговаривать с ним тяжело. Он старший конюх епископа, Кирилл для него свят и непогрешим.

Прощаясь, Дакий советует мне пить теплое вино с медом и не завидовать прошлому.

— Грех был один у вас и суета, Олимпий.

Я провожаю его до калитки и думаю: тогда в Цезариуме были парабаланы Кирилла, неужели этот добрый старик тоже рвал и резал устричными раковинами прекрасное тело Гипатии? Я не могу успокоиться. Слезы мои солены, память — горька...

Я убежал на рынок, ползал в верблюжьем навозе, кричал, что не может этого быть! Не может! Взойдет новое солнце, я умоюсь, пойду в школу, увижу Гипатию.

— Радуйся, прекраснейшая из женщин!

В школу я пошел, но там уже хозяйничали христиане. Красноволосая рабыня узнала меня и позвала монахов. Я убежал, оставив им плащ и пояс с деньгами. Целый день я бродил по городу, а вечером пробрался на двор епископа и встал в очередь за даровой похлебкой.

Горели неярко костры, и с моря дул ветер, и небо было холодным. Нищие ворчали и косились на меня — я им казался чужим. Один из них схватил меня за руку. «Братья, я узнал его, он жил в доме колдуньи». Я плакал и клялся, что не знаю никакую колдунью. Они поверили мне, я получил чашку чечевичной похлебки, поел и пошел с ними к развалинам Серапейона. Нищие брели шумной толпой по главной улице, как хозяева Александрии. Они пели, что спустится с неба сын человеческий со славой великой и заплачут богатые, и бедные возрадуются.

Пока мы шли до развалин Серапейона, стемнело. Ночью я не вызывал подозрений — мне дали место. Я долго не мог уснуть, но страдал молча, и только к утру забылся. Во сне я звал Ореста и Гипатию и чуть не погубил себя. Нищие вытащили меня из каменной норы и стали расспрашивать — кто я? что мне здесь надо? Я врал, отрекался от друзей, от проклятой кол-

дуньи, кричал вместе со всеми, что она обольстила префекта и украла с неба Сотис — звезду. От меня отступились, послали в порт воровать рыбу и просить милостыню. «Смотри, пучеглазый, придешь пустой — искалечим!» Конечно, я ничего не принес, и меня долго били. Пожалела меня сирийская проститутка, звали ее Аретой. Она обмыла меня, смазала раны и синяки жидкой глиной.

Несколько раз я пытался попасть во дворец, увидеть Ореста. Иногда мне удавалось поговорить с солдатами. Я уверял их, что префект знает меня, даст мне денег и я уеду домой, в Этолию. Солдаты хохотали и грозили тюрьмой. Я уходил к морю. Рыбаки кормили меня рыбой, а я развлекал их — рассказывал небылицы. У меня появились знакомые, такие же голодные и озлобленные. Днем мы просили милостыню, а ночью грабили пекарни и лавки и наедались досыта. Сытый, я вспоминал сирийку Арету, ее потное горячее тело, ловкие костлявые руки.

Зимой я жил за рынком, в густых и колючих кустарниках. Сюда не заглядывали стражники, обходили нас и парабаланы Кирилла. Утром бродяги и нищие уходили на промысел, а ночью молились, пьянствовали и дрались. Женщины здесь часто рожали, но дети жили недолго.

У меня была своя нора и постель из травы и тряпья. Я никого не боялся, ходил с тяжелой палкой, ругался и врал, как настоящий бродяга. Меня нашла Арета, и я стал мужчиной. Мне было тепло с ней и не одиноко. Только память моя тускнела, и я забывал слова, сердился сам на себя и ругал Арету. Она смеялась: «Потерпи, пучеглазый! Привыкнешь...» Не помню, когда появились у нас черные крысы. Не знаю, как называлась болезнь, от которой умирали бродяги и нищие. Их томила жажда, у них трескались губы, из почерневшего горла сочилась кровь. Они задыхались, срывали с себя одежду. Болезнь не обошла и меня. Я помню, вечером Арета подвязывала шнурком отвислые груди, натиралась пахучими мазями и уходила. Утром она поила меня тамарисковым соком и обливала водой. Я стонал, катался по тряпью, но был в сознании и запомнил худого египетского лекаря с недобрыми сухими глазами.

VIII

Парабаланы Кирилла жгли мертвых за городом. Живые пели песни, дрались, просили милостыню. Я каждое утро ходил к морю и каждое утро надеялся, что мне повезет — при хорошем улове рыбаки не скупятся.

Арета моя устала. Во время черной болезни спрос на ее тело повысился. Люди хотели забыться, обмануть смерть. Арета никому не отказывала — соки и лекарства стоили дорого.

Поблагодарить я ее не успел, а если сказать правду — и не собирался. Она — потаскуха, а я родился богатым и нищим стал по ошибке богов. Я рассказывал ей, что учился с префектом Александрии, был другом Синесия, а он потомок спартанских царей. Арета слушала и смеялась, не верила мне. Она любила жалкого нищего и неудачливого вора. Когда я приходил пустой, она успокаивала: «Не огорчайся, пучеглазый, у нас есть бобы и немного хлеба...» Милая Арета, ты жила как умела, приносила жертвы Исиде, молилась грозному Хададу и милосердному Христу. Я помню, ты отдала лекарю последние деньги и сказала, что у тебя сохнут руки и гниет тело. «Прощай, пучеглазый,— ты сказала,— не стыдись, что любила тебя александрийская потаскуха». Я не стыжусь, Арета. Все мы отмечены роком, и твоя жизнь была не лучше и не хуже всякой другой. Сиза, я помню, дал тебе ядовитые ягоды, и ты ушла от нас. Ты хотела умереть за городом, одна, под высоким египетским небом, на горячем песке. Проходят годы, Арета, и мы забываем походку, лицо и голос умерших. Но они живут в нас, как добро или зло. Ты была чистым добром, Арета...

Сиза снимал комнату в квартале стекольщиков, недалеко от Лунных ворот. Он взял меня к себе. «Ты будешь всегда сыт, Олимпий,— сказал он,— мне нужен помощник». Бывший жрец бога Пта Славного показывал фокусы, развлекал александрийскую чернь. Нет, Арета, я не осуждаю друга, я только свидетельствую.

Будь весел, Олимпий, будь весел —
Вода жизни течет для живых.

Никто не пришел оттуда, чтобы поведать нам о стране мрака. Живому нет дела до мертвых. Мы пока-

зывали фокусы на площадях, в порту и просто на улицах. Сиза очерчивал круг, садился на корточки и осторожно стучал палочкой по корзине, выманивая кобр и рогатых гадюк. Змеи выползали лениво, но он их не торопил — проклятые гады не любят резких движений. Когда подходили богатые александрийцы или веселая молодежь, Сиза спешил, ловко выхватывал из корзины большую кобру, сдавливал ей шею и плевал в раскрытую пасть. Змея деревенела, и Сиза опирался на нее, как на трость. Толпа кричала, бросала нам медяки и серебряные соликвы. Иногда мне приходилось делать невозможное и непостижимое. Мы разжигали на площади небольшой костер, Сиза бросал вверх толстую веревку, и я взбирался по ней как по шесту. Этот фокус любили почему-то женщины. Они требовали объяснений, но Сиза только улыбался и кланялся. Бывший жрец умел хранить тайны храма.

Боги пожалели меня — я не кашляю, не задыхаюсь, хорошо сплю. Меня радует и светлая осень, не раздражают люди.

— Отпустила меня болезнь, теперь я умру спокойно, благодарный богам.— Это я говорю Сизе, а он молчит, глаза у него холодные и сухие. Не верит он в эллинских богов.

— Боги, Олимпий, завистливы и капризны, как люди.

— А помнишь, Сиза, я взбирался по толстой веревке?

Он дает мне лекарство и говорит, что тайны Осириса для меня непосильная ноша.

— Видимое для тебя — сущее, понятое — действительное. Осирис — владыка преисподней, тайны его лежат за пределами видимого и действительного.

Я с ним не спорю. Мне хорошо, у меня не болит сердце и не дрожат руки. Не нужны мне тайны Осириса.

Вечерний свет ясный, в саду светлее, чем днем. Сиза ушел, он лечит теперь богатых и всегда торопится. Я сижу в дверях, на высоком пороге, гляжу на красную капусту и стараюсь ни о чем не думать. Гипатия говорила, что думать — значит вспоминать, а вспоминать — значит тревожиться. Великая и божественная осуждала Платона, который считал, что мы движемся от простых мнений к истинному знанию, подгоняемые любовью. «Не все мнения просты и недостоверны,— говорила Ги-

патия,— мы движемся к истине, проверяя и повышая качество мнений. Не любовь, эфебы, а беспокойная память заставляет нас испытывать мнения, сравнивать их и стремиться к истинному знанию».

Скоро уж ночь, но сумерки негустые — блестят голубые листья олив. Мне не хочется подниматься, идти в дом и зажигать светильники. Я рассказываю оливам, сколько ненужного я узнал у великих и мудрых. С утра мне не дает покоя солдатская песня. Спеть я ее не могу, она для крепких глоток.

Ночь сегодня прохладная, шумит море. Я поел, выпил вина. Вспоминаю неторопливо, спокойно пишу... Весной, я помню, Сиза ушел в пустыню ловить кобр и выманивать из нор рогатых гадюк. Без него я отдыхал — ел досыта, мылся в римских банях, шатался, как богатый бездельник, по шумным улицам Александрии. Деньги у меня были. Подавая милостыню, я думал: черная болезнь свирепствовала всю зиму, а бродяг и нищих не убавилось. Проповедников и пророков тоже не стало меньше. Они ругались, грозили. Но их никто не боялся. Александрийская чернь всего наслышалась и ко всему привыкла. Помню, на площади Арсинои сумасшедший пустынник пугал нас, что срок предсказаний близок, живые и мертвые предстанут на суд господний. Волосатый пустынник выл и плевался. Толпа хохотала. Я тоже, помню, смеялся и кричал, что Кирилл, ваш епископ, грешнее всех... Площадь окружали солдаты. Глашатаи зачитали указ императора, который гласил, что бывшие колоны и сельские рабы, зря обременяющие землю, живущие воровством и на подачках александрийской церкви, отныне обязаны сеять и убирать урожай — дабы слава великой империи не померкла и хлебные запасы не истощились. Буйных и непослушных император велел заковывать в кандалы, и пусть выполняют они, гласил указ, государственные обязанности в рабском состоянии.

Я нашел папирус с рескриптами Феодосия. Читаю и думаю: император тоже состарился, плохо спит и боится смерти, у него дрожат руки и трясется голова, ангелоподобные евнухи поддерживают корону, чтобы не свалилась.

Жалкий старик Феодосий — не загадка. Загадочен мир, лишенный цели и смысла, одинаково равнодушный к людям, камням и оливам. Сущий на небе и на

земле, помилуй! Я суесловен и грешен, ненавижу страдания, не верю в их благость. Каждому воздается по делам его... Каждому ли, отче сущий?

Нас загнали во двор претория и закрыли ворота. Нищие и бродяги устраивались поудобнее возле стен, под навесами, а ремесленники толпились у ворот — ждали своих старейшин. Выкупали плотников и кузнецов, пекарей и стекольщиков. Старейшины корпораций до хрипоты торговались с чиновниками и солдатами. Богатые горожане требовали префекта, их увели в канцелярию. Мне некого было ждать. Сиза далеко, за Пелусием, у петрийских арабов. Орест — в Константинополе и тяжело болен, на корабль его занесли на руках.

Я ругаю Ореста «слюнтяем и константинопольским модником». Пытаюсь дотянуться до чашки с вином и не могу. Встать тоже не могу. От солдатского воя и топота кружится голова. «Слава шестому легиону! Слава!» Во дворе претория густо людей, а мне надо спрятаться и сосчитать деньги. Медные нуммусы я отдам нищим, серебро — чиновникам.

— Расступитесь! — кричу я.— Расступитесь все! Я богатый и знатный, нищим стал по ошибке богов...

Сиза говорил правду — без болей я прожил недолго. Опять кашляю и задыхаюсь, путаю прошлое с настоящим, светлый день с ночью. Христиане-плотники допрашивают меня — не молился ли родному Асклепию, фригийской потаскухе, злому духу пустыни?

— Раб божий Олимпий, покайся!

Я каюсь и жалуюсь братьям во Христе, что боги капризны и непостоянны, как люди. Плотники стаскивают меня с постели, ставят на колени.

— Искушал диавол Иисуса в пустыне, показывал ему с высокой горы все царства мира и славу их. «Все отдам тебе, Иисусе, если поклонишься мне».— «Уйди, сатана, не твоя власть над миром, душа моя отдана отцу небесному, а плоть — грешным людям...»

Сиза трет мне щеки, смеется — убежал, говорит, диавол вприпрыжку, за христианами. Я прошу его: помоги, вылечи, умирать страшно.

— Живи, Олимпий,— говорит он,— пей вино, пиши свою правду. Жизнь можно ругать и хвалить, а смерть неизвестна нам.

Я пью горячее вино с медом, слушаю Сизу. Он говорит, что старые боги умерли, а новые неискусны и без-

дарны. Мне тоже хочется говорить. Мнения наши не истинны и не ложны, говорю я, все текуче и зыбко. Сотион Александрийский задушил гетеру поцелуями и спрашивал — благо это или зло?

— Держись за руки мои, Олимпий, и вставай помаленьку. Ты здоров, тебе надо поесть овощей.— Сиза ведет меня не к столу, а к открытым дверям.— Садись на порог, чашку поставь на колени.

Я его слушаюсь — Сиза лекарь искусный и верный друг, только насмешник. Скорбящему, говорит, нужны похороны, чтобы он мог бить себя по щекам.

После болезни я знакомлюсь с вещами заново. Калам мне кажется хрупким, старый стол ненадежным. Слова тоже изменились. Они легковесны, одного цвета и качества — из растертых орешков. Я помню, нам еще раз зачитали указ императора и погнали к Лунным воротам. От Лунных ворот начиналась большая царская дорога к Навкратису и Мемфису. Нильские болота не лучше пустыни. Гнус и сырость замучили нас. И отдых не радовал. Кормили нас вечером, кормили плохо. Пока были деньги, я покупал у крестьян черное пиво и овощи. Сам ел досыта и угощал товарища — хитрого и ленивого египтянина. Он выдавал себя за ремесленника, но потом признался, что был приписным колоном, арендовал землю у Аппия, запутался в долгах и сбежал в Александрию. О себе я не рассказывал. Неожиданные беды оглушили меня. Я забывал прошлое, не думал о будущем. Меня гнали — я шел, разрешали лечь — я ложился. Солдаты считали меня разумным и послушным человеком, а я был животным. «Давай убежим, Олимпий,— уговаривал меня египтянин,— я знаю пустыню, не пропадем». Я соглашался — не пропадем.

Мы вышли к Большому Нилу. Солдаты загнали нас в лодки и сдали надсмотрщикам. Плыли мы недолго. Я запомнил густые заросли папируса и белых птиц над красной водой. Египтяне бросали в красную воду ячменный хлеб и славили великий Нил, своего кормильца.

На путях твоих — изобилие,
На пальцах — пища...

Высадили нас на острове и заставили строить из тростника шалаши. Вскоре с полей ушла вода, начался сев. Колоны разбрасывали из плетеных корзин зерно,

мы шли за ними стадом, как овцы, и затаптывали зерно в мокрую черную землю. Надсмотрщики, я помню, еще до восхода солнца выгоняли нас из шалашей, и мы месили грязь без отдыха, пока не стемнеет. Многие засыпали на поле, а меня египтянин предупредил, что на земле спать нельзя, зимой ночи холодные. «Пропадешь, Олимпий! Хоть ползком, но добирайся до шалаша».

Мы шли от Большого Нила к горам, и горы росли с каждым днем, розовели, и я радовался — скоро конец мучениям. Сев закончился, у шалашей нас ждал важный чиновник. Он сказал, что император не забывает тех, кто честно трудится. Нам выдали двойной паек раба — так называлась императорская милость — и погнали на другое поле. Мы с египтянином убежали. Днем прятались в тростниках, ночью брели. Сколько прошло таких дней и ночей, я не запомнил. Но до пустыни мы добрались. Египтянин встал на колени и просил богов, которые на небе, и богов, которые в подземном царстве, сопутствовать нам, потому что мы не делали зла живым и не тревожили покой мертвых.

Человек мал и слаб, а пустыня безжалостна. Слова там только стон, мы их чувствуем, но не слышим. Днем мы задыхались от жары, а ночью мерзли и не могли уснуть. Губы у меня распухли и покрылись жесткой сухой коркой. Мне трудно было дышать, говорить, двигаться. Я оглох, качался как пьяный раб, но шел за египтянином. Его я не видел, видел только следы на красном песке — четкие, как лапидарные буквы.

IX

Я лежал на зеленой траве — больной, измученный, но счастливый. Рядом сидел египтянин и разбивал о колено маленькие полосатые арбузы. Он помог мне подняться. Я увидел голубое озеро и много пальм. За пальмами чернели иссеченные ветром скалы. Я помню, мы обошли озеро и не встретили ни людей, ни животных. Но нашли родник и недалеко от него уютную пещеру. Наверное, я думал тогда, что счастье — это не долг перед миром людей, не богатство, а оазис в пустыне. Мне было хорошо, и я пел с египтянином, что девы круглогрудые в знойный день приют себе находят под шатром зеленым.

Однажды мы увидели у нашей пещеры голого человека. Он учился, как мы позже узнали, у индийских аскетов, считал благом отсутствие всяких желаний, но, как грек и афинянин, любил поговорить.

— Люди,— он обращался к нам,— поглядите на это благодатное место и сравните с сутолокой городов. Здесь нет ненависти и обмана, нет наглости богатых, нет жалкой покорности бедных. Здесь тишина и покой — пристанище мудрых. Сбросьте одежды, люди, убейте в душе желания.

Сбросить одежды нам было не трудно: у египтянина остался только передник, у меня застиранная и изодранная туника. Беспокоились мы о другом. Как попал сюда этот святой говорун? С кем? Мы боялись не его проповедей, а чиновников императора и солдат. Но дни шли, и покой оазиса убаюкивал нас. Хитрый египтянин не спорил с аскетом — снял передник, охотно расстался со всеми желаниями, кроме еды и питья. Я тоже старался жить бездумно, как в золотом веке, но проповеди аскета-афинянина раздражали и тревожили, будили прошлое. Помню, уже весной мы сидели втроем у голубой воды, и аскет-афинянин рассказывал, что николаиты пытались убить желания ничем не ограниченным и буйным развратом. Осудив николаитов, он спел молитву индийских отшельников, в которой, по его словам, прославлялись не отважные лучники, подчиняющие себе полет стрелы, а мудрецы, смиряющие самих себя. Помню, я спорил с ним, доказывал, что желание узнать истину не губит, а украшает человека. В Александрии, говорил я, жила прекрасная женщина, гордость и украшение мира... Ночью я увидел Гипатию. Она мыла в нашем озере свои черные пышные волосы. О боги, мы сами себе загадка! Вязкие финики мне казались слишком сладкими, а от холодной родниковой воды у меня болели зубы. Я видел Гипатию ночью и днем и разговаривал с ней, пугая египтянина.

Сейчас я пишу об этом спокойно. Стараюсь понять — почему бесплотные вымыслы памяти так волновали меня? Я убежал из оазиса, расстался с безмятежной и счастливой жизнью, чтобы умереть в пустыне. Может, говорун-аскет выгнал меня? Околдовала весна? Больная совесть лишила покоя? Нет, я думаю, все было не так, может быть, проще, но неодолимо, как рок.

Демоны прошлого не витают над нами, они в нас,

в нашей крови, в свете глаз, в плоти нашей и памяти. Я голодал, был нищим, жил с потаскухой. Но все это было временным и ненастоящим. Я верил, что придет мой день, вернется ко мне богатство, у меня опять будут знатные друзья и умные книги. Я не знаю, где пряталась эта тайная невысказанная вера. Но она жила во мне, потому что я ходил по тем же улицам, видел те же дворцы, отдыхал у тех же колодцев.

Низвергнутый богами прежде —
Обласкан буду...

Нет, я не шептал стихи Софокла и не искал динарии в развалинах Серапейона. Я жил как мог и умел, просил милостыню или воровал, но имя мое было Олимпий, я был другом Синесия, учеником великой Гипатии.

Скоро утро, я иду, покачиваясь, к кровати и думаю, что надо уснуть поскорее, пусть Гипатия приходит во сне, а не наяву.

Всю ночь я бежал по пустыне, задыхался и падал, кричал, что знаю правду. Кирилла я не видел, но чувствовал, что он рядом, хохочет и сыплет горячий песок мне на ноги. Проснулся я измотанным и усталым, будто не отдыхал на кровати, а грязь месил на сыром поле, зарабатывая милость императора. Поднялся с трудом, сидел на пороге, ждал Сизу, но он не пришел. Я сам приготовил себе лекарство, согрел вино. Пока топил печку в саду, ходил за водой, мыл и варил овощи — день прошел. У стариков дни короткие...

Ночь приходит со стороны моря и накрывает черным плащом предместья. Я иду домой, зажигаю светильники. Сумерки еще неровные. Из теней и пыли рождаются длинноухие звери. Я разговариваю с ними, как со старыми знакомыми. Первый день в пустыне, говорю я, не страшен, если есть зонт из пальмовых листьев, четыре арбуза и вода в кожаном мешке — подарок аскета-афинянина.

Я отодвигаю письма и книги, чтобы не мешали, наливаю чернила, ставлю поближе к столу тяжелый карфагенский скифос с вином. Помню, аскет-афинянин сказал, прощаясь со мной, что закон разрушения разрушает, и о прошлом и погибшем напрасна скорбь. Египтянин, провожая меня, оглядывался на оазис и учил:

«Ночью, Олимпий, иди на самую яркую звезду. Она над морем».

Пустыня весной красива и коварна. Поймешь ее не сразу. Я шел легко. В полдень лег в тень, под скалу. Дождался ночи, нашел на черном небе самую яркую звезду, помолился Сету — владыке пустыни и побрел к морю по мягкому податливому песку. Пустыня, я думал тогда, убивает слабых, а я сильный и бесстрашный. Юная Гипатия, задумавшись и покусывая палец, смотрит на меня с восхищением. Но гордился я собой недолго. В пустыне утра нет. Как только появляется солнце, пустыня превращается в раскаленную печь. Я ругал себя за глупую опрометчивость. Проклинал хитрого египтянина — он не отговаривал меня, боялся, что на троих еды в оазисе не хватит.

Я запомнил немного, только песок — желтый и розовый днем, серый ночью. Боли я не чувствовал. Изматывала тошнота. Но я полз и тащил за собой пустой кожаный мешок.

Подобрали меня ливийцы и продали за пятьдесят солидов. Я стал рабом богатого старика грека. Старик сдавал в аренду виноградники и копил деньги. Он был верным сыном христианской церкви, хотел перед смертью съездить в Александрию, поклониться Кириллу — доброму пастырю, вселенскому патриарху.

Убили старика тоже христиане. Только Кирилла эти христиане добрым пастырем не считали. Они грабили церкви, разоряли поместья и называли себя «воинами гнева господнего», а копья и дубины свои — «розгами Израиля»... Я и сейчас не знаю — кто они? Истинные христиане или разбойники? Их горластый предводитель, убивая и грабя, пророчествовал, что сбудется слово Христа-спасителя — рабы станут господами, а господа оденутся в рубище.

Разбойников я вспоминаю добром. Они освободили меня, дали плащ и горсть денег. Я снова свободный, нищий и одинокий. Но вокруг не желтые пески под немилосердным солнцем, а сады и виноградники. Я отдыхал под платанами, спал в густых зарослях сиддеры. У меня были деньги — подарок разбойников, но я их берег, жил милостыней. Свободные общники и колоны любили нищих. Рассказы мои им нравились — врал я искусно. «Послал меня Кирилл, епископ Александрийский,— рассказывал я,— покупать лошадей у

номадов пустыни. Напали на нас разбойники, остался я один, без слуг и без денег. Больной, почти умирающий, я увидел, хвала господу, оазис. Жил в этом оазисе святой человек, отшельник. Он изнурял плоть свою в непрестанных молитвах, и ему было видение — спустился с неба ангел белокрылый и рассек огненным мечом землю на две половины. В злой пустыне остались язычники непокорные, еретики, враги вселенской церкви, а истинно верующим досталась земля обетованная — с родниками, обильными росами и морем небурным».

Я записываю свои глупые выдумки и думаю, что ложь правды добрее, а утешение дороже истины.

Мое утешение в прошлом. Без светлой юности, без Гипатии я жалкий старик и обманщик. Панетей, пресвитер, спрашивал меня при крещении — отрекаюсь ли от беса лукавого и нечистого, гнездящегося в сердце? Я отрекся, стал христианином и жить хотел, как спасители мои, праведно. Но память беса страшнее. «Кирилл жив,— шептала она,— и благоденствует, кровь на ступенях Цезариума не зачлась ему...»

Плотников-христиан я встретил, как только вошел в Александрию. Был четверг, канун пасхи страдания. Плотники, я помню, шли когортой, будто солдаты, занимали всю улицу, потрясали бронзовыми топорами и пели, что побьют кичливых и ученых, но на суд господний предстанут чистыми.

Мы убивали веруя!
За кровь твоих хулителей
Ты отвечаешь, господи,
На нас ответа нет.

Гимн плотников я хорошо помню, но выучил его позже, на воскресных собраниях. В то утро я думал о Сизе, пробирался к Лунным воротам. Кланялся знакомым домам и храмам. Отдыхал у колодцев. Каменные львы поили меня нильской водой и презрительно морщились.

На прямых улицах Александрии заблудиться трудно. Но я заблудился и вышел не к Лунным воротам, а к морю. Храм Посейдона состарился, погрустнел и казался заброшенным. В портике между колонн были свалены корзины, свинцовые якоря, канаты. На канатах, я помню, спали грузчики.

На площади, перед храмом, сидели под зонтами торговки, по причалу гуляли потаскухи. Потом появился офицер на красивой лошади. Я хотел узнать у него — кто стал префектом Александрии? Но офицер бросил мне несколько солидов и ускакал в город. За что одарил меня так щедро офицер, я не понял. Подобрал монеты, купил у торговки лепешек, ел и плакал от радости. «Солиды,— думал я,— весть милосердных богов, простивших меня...»

Сейчас я тоже плачу. Мне грустно: я свидетельствую против людей, а боги несовершенны. Они не знают жалости и никого не прощают, у них свое бытие, неизвестное нам. Христос плотников тоже бог, но земной и понятный, потому что жил тяжело и умер как раб, на кресте. «Да святится имя твое»,— шепчу я. Но нет во мне трепета перед господом, нет веры настоящей, испорчен я эллинской лжемудростью. Гипатия говорила, я помню, что законы Вселенной постоянны, неизменны и вечны. Никем не созданные, они творят самих себя и через себя — мир. Даже Солнце, говорила она, не переступит меру, и Немезиде положен предел. Но я знаю, что горю человеческому меры нет. «Великая,— говорю я,— забудь о Вселенной, обо мне подумай, я жизнь прожил, и никто меня не любил, кроме Ареты, а она была потаскухой...»

— Живите вечно, владыка запада Осирис и роженица Рененут, сотворившие ячмень и полбу, папирус и травы, чтобы питать богов и скот после богов.— Это бормочет Сиза. Он сидит рядом, у постели, крошит сухие травы и посмеивается.— Не было и не будет, Олимпий, никого на земле умнее Имхотепа, а он сказал: «Празднуй день каждый, о человек, ибо ты не бессмертный...».

Я все слышу, все понимаю, а сказать ничего не могу, слова не рождаются. Сиза подает мне чашу с черным и густым лекарством. Я пью черную жидкость, пахнущую дымом, и чувствую — приятным теплом растекается она по телу.

— Мне легче стало,— говорю я Сизе.— Только веки слипаются.

— Спи, Олимпий, спокойно. Сядешь писать, не забудь роженицу Рененут.

Сиза, колдун и насмешник, обманул меня.

Встал я легко. Не охал, не проклинал старость.

Думал, повезло мне. Когда грудь не болит и кашель не мучает, вспоминать о тяжелом не страшно.

Взял я чистый лист пергамена и подумал, что пора уборкой заняться, книжную полку почистить, перетрясти старый корбис — насорили там мыши, и пол подмести. Скоро праздник. За стол я все-таки сел, пододвинул чернильницу. Но прошлая жизнь казалась неинтересной — горькие дни были, прошли и забылись. Засела в памяти роженица Рененут.

— Живи вечно,— шептал я,— живи вечно, зеленоволосая Рененут.

Пятый день я отдыхаю. Радуюсь неожиданному здоровью, но писать не могу. Сплю спокойно всю ночь, с утра принимаюсь за работу — поливаю капусту и лук, смываю с молодых олив красноватую плесень.

— Не пишется,— жалуюсь я Сизе.— Голова ясная, а душа пустая. Забыл все.

— Придет время, вспомнишь,— успокаивает он меня.

X

Прошлое, я теперь знаю, оживает не сразу — блеснет в памяти самое горькое или постыдное, ударит резкой болью по сердцу и потухнет.

Я уже спать собрался, лекарство выпил и вдруг себя увидел: стою перед парабаланами на коленях — не бейте, прошу, не гоните, Христа ради. Голос у меня противный, и весь я комок грязи и страха.

Видел себя я таким недолго: прошлое, вспыхнув, погасло быстро, боль утихла. Но я понял — не уснуть мне сегодня, надо за стол садиться.

Вспомнил я золотое солнце над Фаросом, тихую гавань, щедрого офицера. Я, сытый и обласканный богами, плачу от радости. Слезы падают на пергамен, размывают буквы...

Счастье мое было коротким. Обошел я все бани, везде деньги показывал и объяснял, что пришел издалека, жил в пустыне и у свободных общников. На меня кричали, чтобы убирался, грозили кипятком облить, если переступлю порог. А я, как ребенок, одно твердил: пустите грязь и грехи смыть, столько я выстрадал и перетерпел в пустыне проклятой, у номадов в плену. Нашелся добрый человек, увел меня от бань подальше и сказал, что болен я и могу других заразить. «Уходи,—

он сказал,— из города к Мареотийскому озеру, а то могут убить...» Я его не послушал. Стемнело, на рынок прокрался, ночевал там. Утром пошел к Сизе. Он лекарь искусный, думал я, обязательно вылечит. Помню, до Лунных ворот быстро добрался и дом нашел, в котором мы жили. Но Сизы не было, ушел он к мемфисским жрецам надолго. Обессилел я, помню, оглушенный горем, но лечь на улице побоялся, ушел к Старой гавани. Плакал и молился там, проклинал Немезиду — сытую полнотелую богиню с весами и плетью...

На каких весах горе мое измерить? Перед кем на колени встать? Гнали меня парабаланы и стражники, били нищие. «Уходи,— кричали все,— к Мареотийскому озеру, прокаженный». Вспомнил я безумного Иосифа и стоны его. Александрия моя! Александрия! За что ты гонишь меня, блудница ненасытная, кадившая всем ваалам и продающая красоту свою всякому проходящему.

Записываю я стоны Иосифа и думаю: неправду пишу, украшаю горе свое и стыд свой чужими словами. Был я тогда животным, трусливым и злобным, как черная крыса. Скитался по окраинам, ел отбросы. Жил на старом канале и за Южными стенами, видел каждый день Мареотийское озеро, большое, как море, но темное, с нечистой водой. Днем я прятался от людей, выползал из норы ночью и дрался с орлами-стервятниками за отбросы.

Я плохо помню те дни. Может быть, память сопротивляется, стыдно ей за человека. Страдания наши должны быть величественными, а горе осмысленным. Слава великим поэтам! Слава христианам-утешителям!

Много в мире сил великих,
Но сильнее человека нету в мире ничего...

Слава тебе, мой любимый Софокл, ограбивший жителей Самоса. Всем слава: и плотникам, и поэтам. Я сегодня здоров, пью вино с медом и никого не хочу ругать. Я только свидетельствую, что над нами властвует случай. Мы готовимся к свадьбе или к празднику, идем на похороны или на пирушку к друзьям и вдруг узнаем, что нет у нас ни друзей, ни невесты. В дар посылаю тебе, о Родоклея, розы душистые, анемоны... Гипатия говорила, я помню, что случайное не случайно, но у него больше скрытых, неразгаданных нами причин.

Конечно, великая, появился я у плотников не случайно. Черные грифы сговорились и прогнали меня от Южной стены.

Удивительная ночь сегодня. Мне все удается. Я разгадываю скрытые причины и случайное делаю неслучайным. «Белая смерть! Белая смерть!» — кричали александрийцы и били меня. Но они не виноваты, они ошибались, несчастные, спутав белую болезнь с проказой.

К морю я вышел около Старой гавани и почти всю ночь шел по скользкому и жирному песку. Я хотел уйти подальше от города. Наткнулся на стену, сел отдохнуть и уснул. Разбудил меня стук топоров. В небольшом заливе, в стадиях трех от пустующего сирийского храма, поднималась корабельная верфь, похожая на высокий недостроенный дом.

Целый день я бродил по берегу, собирал ветошь и стружки. А когда стемнело и затих стук топоров, я поднялся к заброшенной римской дороге. Один за другим шли по ней уставшие плотники. Немногие останавливались и осторожно клали передо мной на песок остатки еды — куски хлеба, оливки, сыр. Я наелся досыта, захотел пить и пошел к Старой гавани искать колодец. Вернулся под утро, выспался за храмом в тени на собранной ветоши, доел оставшиеся куски.

Вечером я опять сидел у дороги. Плотники, я помню, со мной не разговаривали, но милостыню подавали.

Прошло, наверное, много дней. Я успокоился, смыл с себя грязь, стал думать о будущем. Мне уже мало было еды и покоя, я хотел жить среди людей, иметь дом и соседей. Я шептал, уткнувшись в песок, что родился богатым, жил среди знатных и учился у мудрых. Я думал о городе, несколько раз стирал в море тунику, белые пятна на лице пытался замазать коричневым соком водорослей.

Спас меня Панетей, пресвитер. Однажды он спросил: что я сделал в городе? От кого прячусь? Я знал, что правда не спасет, не накормит, и приготовился врать. Но Панетей предупредил: «Лучше молчи, если правды боишься. Кто в малом труслив, и в большом не стоек». Я рассказал ему все. Не скрыл, что был учеником Гипатии и бродягой, потом захворал в пустыне неизвестной болезнью.

— Живи с нами, грешник,— сказал Панетей.— Кому

суждено заболеть — заболеет. На все воля господня...

Плотники считали себя настоящими христианами, платили Кириллу «десятину», но в церковь ходили редко. Каждое воскресенье они собирались в заброшенном сирийском храме на ужины любви, вкушали хлеб евхаристии[1] и пили чашу евхаристии. Чужих на такие ужины не пускали. Я жил в пустующем храме, считался сторожем при Доме господнем, но в воскресные дни уходил от храма на семь шагов. Испытывали меня и проверяли больше года. Панетей, пресвитер, рассказывал мне, что грех первых людей был велик перед господом, никакие жертвы тот грех не могли искупить, и господь послал на землю сына своего, чтобы спасти людей. Сын господа принял образ Иисуса, отдал себя на мучения и смерть и этим искупил грехи человеков. Но не всех, а только уверовавших в него...

— Готовься, Олимпий, к таинству приобщения,— сказал мне Панетей.

Я готовился. Следил за чистотой в храме, носил воду, учил христианские молитвы. Настал день моего приобщения к искупительной жертве Христа. Я надел новую тунику и сел вместе со всеми за стол. Восточный угол храма, я помню, был завешен белым полотнищем. Перед полотнищем стоял Панетей, пресвитер, и просил господа, чтобы тот не забыл рабов своих, приносящих дары.

Помню торжественную тишину и сладкий дым ладана. Я верил каждому слову пресвитера, молился богу живому, Христу милосердному, и целовал братьев своих. «Да сбудется воля твоя, да приидет царствие твое»,— шептал я. А сам думал, что для меня царство Христово уже пришло. Я не одинок, не голоден, меня не гонят к Мареотийскому озеру. Панетей, пресвитер, призывает меня, избранного среди человеков, приобщиться к тайне великой.

— С трепетом стойте! На восток взирайте! Жертву хваления, господи, из даров приносим перед лицо твое!

Провозгласив начало литургии, Панетей скрывался за полотнищем, зажигал там ладан в кадильнице и призывал христианского бога невидимо явиться к нам на собрание. От дыма кружилась голова, но на душе было сладостно, и все казалось возможным. «Внемли, гос-

---

[1] Евхаристия — таинство причащения.

поди, из святого обиталища своего,— повторял я за пресвитером,— приди к нам и освети нас». Потом, я помню, помощники широко распахивали белое полотнище, появлялся пресвитер и объявлял, что жертва господом принята и двери неба открылись.

— Входит царь славы,— пели мы,— несомый на копьях небесными полками. Исходит с ним святой дух и на нас изливается...

Позже, когда христиане привыкли ко мне, я не раз бывал помощником у пресвитера и хорошо запомнил ритуал воскресных собраний. Но в первое воскресенье меня поразили «говорения в духе», простые и откровенные. Сестры просили господа «истребить пса болезни», а братья ругали слуг императора и священников, у которых ризы не чисты.

Дым рассеялся и растаял. Свежо стало в храме, как утром в саду. Помолившись, Панетей начал рассказывать. Однажды увидел господь, рассказывал Панетей, мытаря [1], сидевшего у палатки сбора податей, и сказал ему: «Ты Левий, а назовешься Матфеем. Следуй за мной». Матфей оставил все и пошел за господом. Вечером обрадованный Матфей устроил пир в своем доме. Собрались на пир многие мытари и грешники. Господь и ученики его восседали за столами вместе с ними. Фарисеи и книжники спросили учеников господа, зачем они едят и пьют с мытарями и грешниками, нарушая закон? Господь им ответил: «Не здоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию».

Христиане-плотники ждали, что я покаюсь в грехах. И я каялся, проклинал юность свою и тебя, великая... А они пели: «Сеющий в уничижении восстает в славе; сеющий в немощи восстает в силе». Трусость мою они считали святым делом, а предательство мое — волей господней.

Неделя прошла или больше, не помню. Утром зашел за мной Панетей, помолился на восточный угол храма, сказал, что только добывающий хлеб в поте лица своего спасется, и повел меня на работу.

За двадцать лет я многому научился у плотников и много работ переделал, но начинал с самого трудного — с заправки инструмента.

---

[1] Мытарь — сборщик налогов.

— Не торопись,— учил меня Панетей,— работай с молитвой, у каждого топора и тесла свой вес, своя сила, свой характер.

Хорошего леса в Египте не было, его привозили из Киренаики, из Ливана, с берегов далекого Понта. Доска в десять локтей стоила сорок нуммусов. Плотники берегли дорогостоящий материал, работали осторожно, старые бронзовые инструменты казались им надежнее и безопаснее железных. Особенно часто, я помню, приходилось затачивать и править тяжелые бронзовые тесла.

Строили мы рыбацкие лодки, чинили старые купеческие корабли. Работали много и хорошо зарабатывали. У меня появились деньги, я их не тратил, берег — хотел дом купить. Панетей заметил, что я ем мало, не покупаю одежду. На одном из воскресных собраний он рассказал притчу. Жил в городе Кариоте человек по имени Иуда, работал он в царских давильнях. Позавидовал Иуда господу и ученикам его, что несут им крестьяне из долин большие корзины хлеба, городские ремесленники одаривают деньгами. «Живу я,— подумал Иуда,— хуже раба последнего и работаю больше осла на приводе. Не велик грех, если облегчу ненамного свою жизнь, ведь и уставший осел рвет путы свои...» Пошел он к господу и сказал: «Возьми меня, Иисусе, в казначеи. Души вы врачуете, истину возвещаете, а корзины с хлебом считать не умеете и цену деньгам не знаете». Улыбнулся господь. «С малой неправды начинаешь,— сказал он Иуде,— большим злом закончишь».

Покаялся я перед братьями, сказал правду, что на дом деньги коплю, устал от скитальства бездомного. На птиц небесных сослался — и они, сказал, гнезда себе вьют, хотя господь их питает.

Осудил, помню, меня Панетей, назвал «маловером».

Купили мне плотники заброшенный дом у моря, недалеко от верфи,— живи, сказали, в гнезде своем временном, но к жизни вечной готовься, ибо и ты у господа не последний.

Грешен я был перед господом, лукав перед братьями — уста шептали молитву, а душа спала. Только ночью, во сне, душа моя просыпалась — видел я, трепетный и счастливый, прекраснейшую из женщин...

В снах доживаем недожитое,
В помыслах обретаем утерянное.

Аммоний Александрийский, Носильщик по прозвищу, рассказывала Гипатия, сны свои называл второй жизнью и удваивал прожитые годы. Я снами не хвастал, для христиан мои сны — потворство плоти греховной. Такое они не прощают. А я свой дом обживал, и работа мне нравилась, смолистый запах досок волновал и радовал. Учился я с удовольствием и года через четыре настоящим плотником стал, работал легко и быстро, но по-своему — железными инструментами. Бронзовые инструменты мне казались тяжелыми, от них ладони потели. «Господь тебя не забудет,— хвалил меня Панетей,— в царстве грядущем десятником поставит».

Жил я спокойно и тихо, на воскресных собраниях молился искренне — благодарил Христа-бога за милость, плотников — за доброту ко мне. Думал до смерти так жить, без тревог и волнений, на окраине городской. А вышло иначе. Не зря говорят: чей хлеб ешь, того и лижешь...

Вышли мы из предместья рано, еще песок скрипел под ногами. Панетей перед городом нас в ряды построил и велел гимн запевать. Помню я этот страшный гимн, записываю и волнуюсь.

Мы просим, боже, малого:
Олив да хлеба серого,
Воды да сыра козьего.
За хлеб мы отработали.
Дворцы, триеры, гавани
Не нами ли построены!
За грех прощенье вымолим,
Кичливых богохульников
Побьем во славу господа.
На суд предстанем чистыми.
Тебе во всем послушные,
Мы убивали веруя.
За кровь твоих хулителей
Ты отвечаешь, господи,
На нас ответа нет...

Плачут флейты на александрийских улицах, от дыма и копоти факелов задыхаются собакоголовые люди. Они бегут к преторию, ног у них много. Я бегу с ними, как и они, крушу и ломаю все на пути, но боюсь — заметят собакоголовые, что я не похож на них, и сожрут. На площади Диоклетиана серая масса собакоголовых людей раскисает и разваливается, и я тоже другой —

уже не человек, а желтый палец огромной руки. Мне страшно и гадко быть потным пальцем омерзительного чудовища, но у меня нет воли своей, нет силы. Морской ветер очистил площадь от вони и копоти. К храму Исиды спешит Гипатия. Она распахивает высокие двери храма, и я вижу весы Судьбы. На одной чаше весов страдания и муки мои за долгие годы, они легче пуха гусиного; на другой чаше тяжелая, как золото, кровь Гипатии.

— Возлюбленная дочь моя, живи вечно! — Это Исида, устроительница неба, хозяйка земли. Она зовет Гипатию, называя ее украшением мира, который уходит, и горькой памятью будущих миров...

XI

Спорить с памятью трудно — у человека она одна, другой не имеется. Но я свидетель и не хочу сны свои выдавать за бывшее и действительное. Я помню, на площади Диоклетиана мы ждали стекольщиков и гончаров. Они пришли, и мы долго, с шумом и руганью, выбирали делегатов к наместнику Египта. Я писал прошение, в котором старейшины корпораций требовали отмены хрисагира[1]. «Запиши еще,— сказал Панетей,— мы не бродяги, у нас свое дело, пусть сеют и убирают урожай рабы и колоны».

К наместнику нас не допустили, но прошение взяли. Мы вернулись на площадь. Там уже горели костры и было много пьяных. Пронзительно выли флейты. Выступали мимы и кифареды — любимцы александрийской черни. Помню, посланцы Кирилла уговаривали александрийцев встать на стезю закона и смирения, а бродячие проповедники и смутьяны призывали к мятежу. Я свидетельствую: участвующий в событиях видит мало и запоминает немного. Коротая ночь на площади, мы пели молитвы, а бродяги и нищие громили богатые дома, грабили хлебные лавки. Утром солдаты уже не разбирали, кто ступил на стезю смирения, а кто на стезю разбоя — били всех. Панетей кричал: «Верные, отходите к морю!» Но я не мог выбраться из густой толпы, а может, и не хотел — у меня были свои счеты с на-

[1] Хрисагир — подать с городских жителей, взималась серебром.

чальствующими и богатыми. Я помню побелевшие от страха лица чиновников, рев и ругань, огонь, осколки стекол. По пути мы разгромили последний театр на площади Арсинои. Я пытался разбить бронзовую голову Еврипида о каменную стену и не смог — голова поэта оказалась крепкой. Я не бросил ее, таскал с собою — бронзовая голова Еврипида стала моим оружием.

Свою голову я не уберег. Удар был сильный. Я долго лежал без памяти. Очнувшись, увидел Сизу. Он стоял передо мной на коленях, дул мне в ноздри и шептал, что разбуженный встает, а получивший имя оживает.

Сиза помог мне добраться до дому, промыл рану вином. Кажется, тогда я спросил его — кто он, куда исчезает? Боги или люди открывают ему тайны бытия и человеческого здоровья?

Он ответил, что название не сущность, а только знак.

— Когда я показывал фокусы — был фокусником. Когда лечил людей — был лекарем. Пытающийся рассказать о себе перечисляет имена и знаки, но сущность сущего не определена им и не названа.

Я сказал ему, что тайное пугает и неизвестное настораживает, колдуны тело лечат, а душу губят, отдают ее сатане в рабство. Сиза засмеялся, но о себе рассказал. На другой день я записал следующее:

— Олимпий, я назову город, в котором родился и вырос, Прекрасным и Устойчивым. А храм, в котором учился, храмом бога Пта. Мой отец был чтецом, мать — жрицей, она назвала меня — Любимец Бога Пта. Греки считали: у каждого египетского города и нома свой бог. Они называли нашего бога Верховным, и Пта оказывался источником бытия, творцом всего сущего на земле. Он стал греческим Логосом, одновременно и богом, и словом творящим. Меня учили другому... Боги — только символы и знаки далекого неба. Старшего жреца храма мы называли Великим начальником ремесленников, и он говорил: без могущества знаний нет могущества богов. Менялись императоры, менялись наместники Египта, римские чиновники называли нашего бога Вулканом, византийские чиновники — Гефестом. Потом появились христиане. Невежественные и обиженные, они начали войну против имен и знаков. С пилонов сорвали флаги и накрепко забили узкие ворота. Младшие жрецы, музыканты и танцовщицы, которых мы называли

«женами фараона», ушли из храма. Оставшиеся в храме сняли белые одежды и белые сандалии и надели черные плащи. Они не мылись в священных прудах, не приносили жертвы восьмерке богов. Они не окуривали бога Пта ладаном и не поили его молоком. Они не спрашивали у бога совета в делах земных и не просили его помочь ушедшим на Запад. Они учились... Выращивали целительные травы, составляли сложные лекарства и испытывали их на себе. Слова и цифры в старых папирусах объясняли им видимое и действительное. Имхотеп, которого они называли владыкой истины и сыном бога Пта, приоткрывал сокрытое и тайное. «Становится умельцем обученный»,— учил Имхотеп. Разум, Олимпий, стремится к познанию, как пчела к цветку. Много званых, но мало избранных — говорят христиане. Есть предел обучению и граница познанию. Потом — тайна... Греки искали ее на небе, персы — в колдовстве. Мудрый Имхотеп нашел ее в самом себе, в крови своей, в послушном сердце. Он говорил: «Познавший себя человек умирает по воле своей и живет по своему желанию». Обученные и знающие ушли в мир знаков, имен и названий. Немногие остались в храме, чтобы постичь тайну Имхотепа. И постигли ее... Мир, нас окружающий, стал зыбким. Время лишилось самостоятельного бытия и меры, я мог ускорить его бег и замедлить. Я выключал себя, если хотел, из ритма Вселенной и условий Земли. Жара и холод были только знаками и названиями, сущими оставались мой разум и послушное ему сердце. Усталость я лечил сном — засыпал на несколько недель и просыпался помолодевшим... Провожая нас восьмерых, последних, из храма, Великий начальник ремесленников говорил, что тайна Имхотепа поможет нам стать советниками владык земных. «Вы, избранные,— говорил он,— сможете спасти храмы от буйства невежественных, рукописи от огня, знания древних от забвения». Великий начальник ремесленников плохо знал мир людей, на завоевание которого посылал нас. Тайна Имхотепа никого не спасла, не возвеличила. Мы были людьми, Олимпий. Только людьми. Нужда преследовала нас, и яд убивал. Избранные и все познавшие стали шутами и фокусниками у земных владык. Я лечил всех — рабов и колонов, бродяг и нищих, чиновников и солдат, потаскух и целомудренных женщин. Лечил и ждал, когда имя мое станет известно Риму и Кон-

стантинополю, царям и владыкам дальних земель, и они позовут меня. Но они не звали... На глазах моих умирали дети, красивые женщины превращались в животных. Боль никого не щадила. Я кормился беспомощностью и горем людей и жалел их. Жизнь они ненавидели, а смерти боялись. И если мне удавалось заглушить боль, победить болезнь, спасти женщину или ребенка, я радовался и забывал о своей избранности. «Празднуй день каждый, о человек, ибо ты не бессмертный». Людям, Олимпий, нужны хлеб и здоровье, а не тени будущих благ...

Закончил Сиза свой рассказ шуткой — так, сказал, завершилась судьба избранного, сына чтеца с умелыми пальцами, да будет он жив, невредим и здоров. После мятежа он часто заходил ко мне и каждый раз спрашивал, не кружится ли у меня голова, когда на верфи работаю? Я отвечал: «Не кружится, слава господу». Я рассказал ему, что болел проказой и христианскими молитвами излечился. Он не поверил мне и оказался прав. Весной, в самую жаркую пору, у меня опять появились на лице и на руках сухие белые пятна. «Не бойся,— успокаивал Сиза,— это не проказа». Он показал мне темно-серые сморщенные бобы. «Ядовитое амми, Олимпий. Водяной омежник, по-вашему. Настой из него будешь пить по глотку утром и вечером, пока не поправишься».

Сиза вылечил меня быстро. На вечерях любви я вместе со всеми призывал Христа невидимо явиться к нам на собрание, а в душе славил лекаря-язычника. Я пишу об этом и думаю, что нетерпимость порождает ложь. Не я один в те годы молился Христу, не веря в него. Панетей, наверное, догадывался, но молчал. Только однажды он сказал мне, что от господа ничего не укроется, души наши у господа на ладони... Что я думал тогда, слушая его, не помню. А сейчас мне горько и страшно без Христа, особенно ночью, когда смерть ближе и одиночество тягостнее. Я пью вино, и пью жадно, но пьяные вымыслы мои не лучше действительности. Я вижу собакоголового диавола. Потрясая трезубцем, он сзывает помощников-бесов на фригийскую мистерию. За светильниками, горящими тускло, стоит Гипатия, лицо и руки у нее в крови, пеплос разодран. «Человек ответственен, Олимпий,— говорит она. — Ответственен!»

Опять Сиза колдует надо мной, смешивает пахучие лекарства и бормочет:

— Устал бог Атум от людей. Как только начинался рассвет, они пускали друг в друга стрелы и творили несправедливость.

— Гипатия — тоже колдунья,— говорю я Сизе,— приходит мертвая и обвиняет меня. Великая и божественная,— говорю я,— горьких унижений не знала, голода не испытывала, потому и считает, что все люди ответственны за зло в мире.

Сиза смеется.

— Ты маленький человек,— говорит он мне,— у тебя нет власти и силы, и твоя воля определена жизнью, которой ты не хозяин.

— Ты понял, Сиза. Понял! — кричу я, довольный. — Ведь я даже не лодка на Ниле, а весло в руках раба подневольного.

— Выпей лекарство, Олимпий, и вставай. Ходи потихоньку, вари овощи, а то жить разучишься. — Он дает мне лекарство, помогает подняться. — Мертвых не ругай. Ты ответственен, хотя раб обстоятельств и ничеге изменить не можешь. В этом несчастье наше или величие — кто знает... Мы люди, а не боги и не скоты.

Я не соглашаюсь с ним, ругаю колдуном и обманщиком и кричу, что раб, выполняющий волю хозяина, не ответственен.

— Ответственен, Олимпий,— говорит он. — Потому и старость твоя тяжелая.

Я сажусь на порог и плачу. Он садится рядом, бритый колдун, пропахший лекарствами, и объясняет мне, как будто ребенку или бестолковому рабу, что люди, боясь ответственности, живут в мире знаков, имен и названий. Но искусственный мир, мир символов не делает их счастливыми, потому что ответственность человека рождается вместе с ним.

— Истина, Олимпий, проста и жестока: ты ответственен, хоть и нет у тебя силы...

Живой Сиза не лучше мертвой Гипатии. Он давно ушел, а я все спорю с ним, не могу успокоиться — моя жизнь, жизнь гонимых и бедных, свидетельствует против него. Я пишу, что стал христианином и плотником не по воле своей, но полюбил нелегкое ремесло. Когда Панетей состарился, мне пришлось распределять работу, искать заказы и вести переговоры с торговцами ле-

сом. Корпорация их была самой богатой в Александрии, и лес в складах не портился, мог лежать долго. Они пользовались этим и бессовестно грабили нас. «Покупай материалы с запасом,— учил меня Панетей,— и держись стойко, непроданный лес для них мертвый капитал». Я пытался уговорить плотников выбрать достойного. Но их устраивало и двоевластие: я командовал днем, на верфи, а Панетей на вечерях любви. Усталый и измученный, я просил святого Мену помочь мне одолеть торговцев лесом.

Молитвами твоими, апе Мена,
Спасемся, пастырь благословенный.
Мученик в стране Египетской,
Воин во Христе из Непайата...

Я часто бывал в городе и однажды не удержался — зашел в школу Гипатии. В школе мало что изменилось, только учились в ней не юноши, а дети от семи до десяти лет. Встретил меня Дионисий, священник, и сказал, что вера, подкрепленная знаниями, тверда и разумна. Он пытался соединить Христа с Платоном, и я подумал: не будет покоя твоей душе, бедный учитель. Я признался ему, что был эфебом, учился в языческой школе, даже жил здесь, в библиотеке. «Зайди,— сказал он,— не бойся, я многое спас, только свиток со стихами по краям обгорел». Он шел за мной и шептал: «Богатым не льщу, царям не завидую, я поэт и солдат, Архилох». Дионисий разрешил мне взять мои уцелевшие записи, книги и письма. Он достал из сундука мраморную голову Софокла — уноси, сказал, соблазнителя душ неокрепших.

Дома я с удовольствием читал свои записи, читал вслух и, подражая Гипатии, выговаривал четко каждое слово, а мысли отделял долгой паузой. «Эфебы,— говорила Гипатия,— наши чувства, не проверенные разумом, уводят с пути познания. Греческий ум одряхлел, и нравственное состояние мира стало во враждебное отношение к истине. Тайно и явно мы виним христиан, но это не так — Александрия, победившая Афины, сама оказалась побежденной Римом. А Рим, эфебы, еще во времена Тацита, историка, стал театром ужасов, где сила ума, стремящегося к гражданским отличиям, и скромность одинаково считались виною, где не было ничего святого, ничего безопасного, где сыновья доносили на отцов,

где человек, проживший без врагов, умирал от предательства друга. Не было силы противиться гнету, спокойно спал в империи только смирившийся и благоденствовал только подлый. Убеждения, помыслы и стремления людей создавались в императорской канцелярии, а если кто осмеливался думать, то думал согласно предписаниям и формулам, узаконенным государством. Толпы голодных и отчаявшихся сотрясали империю, низвергали старых богов, жалких и осмеянных... Христиане, друзья мои, не могли победить истину и низложить мудрость, они только добили умирающего. Но на могилах, эфебы, растет сочная трава и распускаются яркие цветы...»

XII

Сиза хочет перехитрить и старость, и смерть, но я чувствую — жить мне осталось недолго, и прошу его:

— Свези к Кириллу!

Он отговаривает меня, но я не слушаю и одно твержу, что пастырь христиан жив, благоденствует и кровь Гипатии не зачлась ему.

— Зачлась, Олимпий. Зачлась...

Я все-таки уговорил Сизу, и мы поехали. Вез нас нубиец, я глядел на его черную спину и думал, что конец жизни смыкается с началом — полвека назад такой же нубиец вез нас с Дакием от портовой площади к храму Муз. Дакия уже нет, погиб старший конюх в пустыне, спасая коней епископа. Сиза знает об этом. Но мне хочется говорить, и я рассказываю ему, что Дакий был старше меня на двенадцать лет, о лошадях рассуждал разумно, а в остальном путался.

— С епископом разговаривай осторожно,— предупреждает меня Сиза. — Злой стал Кирилл, за долгие годы власти испортился.

Я кричу, что не боюсь убийцу Гипатии.

— Чего бояться! Пошумит епископ и успокоится. Одно запомни: двуединая сущность Христа только соединена, но не объединена.

Епископский двор изменился. Столы для нищих убрали, акации вырубили, в правом углу Кирилл построил круглый баптистерий — крестить уверовавших и смирившихся.

Сиза был своим человеком во дворце. Нас никто не

остановил, мы прошли в небольшой сад за церковью, где отдыхал епископ.

Навстречу нам поднялся с широкого кресла седой неопрятный старик и закричал:

— Хочешь быть умнее века, колдун египетский!

Сиза поклонился епископу, усадил в кресло и сказал, что привел плотника-христианина. Епископ показал мне на скамейку подле себя и стал ругать Панетея. Старый пресвитер, по его словам, собрал общину не господу служить, а от властей и вселенской церкви защищаться.

— Дикари! — ругался епископ. — Чернь бестолковая! Не зовите Христа на сборища. Сын божий не тварен. За стол с вами не сядет. Он выше любви и блага, ибо любит не потому, что хочет, и милосердствует не потому, что жалеет...

Епископ неожиданно замолчал, наклонился ко мне и спросил негромко:

— Олимпий?

— Состарились мы,— сказал я ему. — Время мнет счастливых и несчастных, никого не щадит. Гипатию помнишь?

— Умерла, язычница. Давно умерла.

— Убили ее, Кирилл...

— Убили,— согласился он. — Лик ангельский, красоты свет незакатный. — Кирилл погрозил пальцем смоковнице и сказал, что без божьего попущения и единый волос с головы не упадет. Я понял, обвинять его бесполезно — с ума сошел епископ Кирилл, ничего не помнит. Сидел передо мной не христианский фараон, не грозный властитель, а несчастный, осыпанный перхотью старик в черной рясе.

Но я ошибся. Кирилл все помнил.

— Ступай, Олимпий,— сказал он. — Не судья ты мне! Горем своим не хвастай и свою жизнь не кляни. Есть победители, и есть побежденные, а счастливых нет.

Сиза подал ему лекарство в большой серебряной чаше, а мне сказал, что пора уходить, епископ Кирилл устал, сейчас уснет в кресле.

Все можно объяснить и обозначить. Гипатия говорила, что глупый не понимает себя в своей жизни. Но ведь каждый проживает свою жизнь, и моя горькая жизнь — моя. Разве я мог прожить другую жизнь? И разве Кирилл мог быть не Кириллом? Прости, вели-

кая! Мрак смерти непостижим для меня. Я боюсь пустоты, не могу согреться. Но я буду писать, пока жива память и повинуются руки. Я свидетельствовал против богов и людей, не пощажу и себя...

Мне теперь часто снятся зеленые горы Этолии, и я, просыпаясь, думаю: счастливые рождаются и умирают в родном доме, а несчастные бродят по свету. Вино мне кажется сухим и шершавым, я не пью, сосу его и вспоминаю сны по запахам. Этолия пахнет виноградом, пустыня — соленым солнцем, Александрия — протухшей рыбой. Зачем я поехал к Кириллу? Пьяница, жалкий старик, я поцеловал руку убийце! Желтая рука Кирилла преследует меня. Я боюсь желтого цвета, а он везде — на пергамене, на папирусных свитках, висит желтым облаком над светильниками. Гипатия, я знаю, скажет: «Ты опять предал меня, Олимпий!» А я спрошу ее: «Великая, не ты ли учила, что на рубеже эпох, во времена, лишенные утешения, души людей неустойчивы и воля текуча? У маленького человека и вина маленькая. Мы пыль на горячем ветру пустыни... Почему, великая, ты приходишь ко мне, не к Кириллу? А твой Орест, слюнтяй и бездельник, облеченный властью префекта, — он отомстил за тебя?»

Боги мои, Геракл и Асклепий, мне душно, распахните двери, опять шуршат и плавают надо мной желтые тени. Юная Гипатия в розовой тунике шепчет мне: «Милый Олимпий! Милый!» Я целую дыхание ее...

— Человек ответственен, Олимпий.

ЧЕЛОВЕК ОТВЕТСТВЕНЕН

Три повести Андрея Ромашова, вошедшие в эту книгу, не были изначально объединены сквозным творческим замыслом. Однако их нынешнее соседство под одной обложкой оправдано, мне кажется, не только общим именем на титульном листе. Основанные на жизненном материале разных исторических эпох, не связанные между собой сюжетно, написанные с интервалами в семь-восемь лет и раньше уже публиковавшиеся как вполне самостоятельные произведения, повести эти, когда читаешь их подряд одну за другой, обнаруживают столь несомненную близость друг к другу, что начинают казаться частями своего рода трилогии, главная тема которой — человек на перепутье.

Классический мотив перепутья, выбора пути, известен читателю в бесконечном разнообразии вариантов. Чаще всего герой сначала размышляет о предстоящем поступке, а затем его совершает, проявляя тем самым свой характер.

А в повестях Андрея Ромашова мы видим эту привычную схему как бы перевернутой: здесь герои сперва совершают поступки, а уж потом размышляют над их нравственной сутью. Причем дело не в пристрастии писателя к импульсивным натурам и уж тем более не в амбициозном желании пойти наперекор традиции: сдержанной манере Ромашова совершенно чужда эстетика необыкновенного. Чем же, в таком случае, объяснить «перевернутую» логику поведения героев книги? Думается, именно стремлением автора к естественности, психологической достоверности повествования.

Согласитесь, что ведь и на самом деле человеческие поступки в реальной жизни нередко определяются не столько ясным разумением своей позиции по тому или иному вопросу, сколько совокупностью безотчетных мотивов, обусловленных нравственными инстинктами и эмоциональными порывами, житейскими обычаями и привычками, мнениями, а то и предрассудками среды, к которой принадлежит человек. А потребность осмыслить содеянное появляется (если только появляется!) уже потом...

Как раз это и происходит с героями А. Ромашова.

Григорий Бобров («Первый снег) расстрелял Митьку Еремина, следуя не выношенному убеждению, не взвешенному решению, даже не принуждению обстоятельств, а стихийному ходу событий: время было суровое, Митька — не безгрешен, и Михаил Шаруев — единственная местная власть — «огласил приговор»... Осознание трагической ошибки придет позже: «Нельзя было отпускать Митьку. И в Чердынь вести — двести верст! Кабы не бросился он тогда бежать... А все одно не по закону вышло... Не так бы надо... Не так!»

Думает о пережитом и невозвратном и лесник Никифор («Одолень-трава»), пытается распутать нити судьбы, которая свела в его уединенной избе то ли пленного, то ли дезертировавшего из колчаковской армии офицера Юлия Васильевича и тяжелораненого красноармейца Семена. В непримиримом противоборстве своих нечаянных постояльцев Никифор смутно угадывает какую-то непостижимую связь с собственной жизнью, своеобразный ее итог. Тем более что Семен — хоть и не родной, но любимый и преданный ему сын, а Юлий Васильевич — кровный отец Семена...

Призраки минувшего неотступно преследуют и Олимпия Плотника («Диофантовы уравнения»), которому выпала злая судьба оказаться безучастным свидетелем гибели всего того, что он любил и чему поклонялся...

В формальной вроде бы перестановке литературных «слагаемых» — поступок прежде его осмысления — автор повестей выразил свое понимание логики повседневного человеческого поведения. Повседневного — это следует

особо подчеркнуть. Ведь герои А. Ромашова — обыкновенные, рядовые люди.

Интерес к героям такого типа связан у писателя не с желанием возвысить «маленького человека» или, напротив, принизить человека-творца, активного деятеля. Кстати сказать, социальный масштаб характеров, с которыми мы встречаемся в его повестях, далеко не однозначен. Григорий, например, назван «одним из рядовых бойцов революции», но психология «винтика» ему совершенно чужда. Он живет напористо и жадно, считая себя лично ответственным и за ход революционных преобразований в селе Челпановском, и за судьбы осиротевших ребятишек, и за счастье доверившейся ему Марии... Лесник Никифор — человек как будто иного склада. Выросший на лесном кордоне, в стороне от людей, привыкший во всем полагаться только на себя, на свой труд, он в обыденной жизни смирен и покладист, старается не ввязываться ни в деревенские междоусобицы, ни, тем более, в классовые конфликты. Однако и Никифор становится неуступчивым, когда подвергаются испытанию его выношенные, жизнью проверенные нравственные убеждения,— вспомните хотя бы его борьбу за счастье Александры или отказ участвовать в подавлении крестьянского бунта...

А Олимпий в «Диофантовых уравнениях» и вовсе не прост. С одной стороны, он не скупится на уничижительные самооценки: «Но что такое я! Кому интересно, как жил, как радовался и ошибался маленький растерянный человек?» Но ведь это он, превозмогая немощи и душевную боль, снова и снова берется за тростниковый калам, чтоб поведать тем, кто придет позже,—пусть даже без надежды быть услышанным — о трагических потрясениях своей эпохи. «А мне надо писать — ведь я последний свидетель. Только бы не порвать цепь событий, правдиво и бесстрастно вязать звено за звеном». Взять на себя ответственность за то, чтоб не порвалась связь времен,— это поступок...

Масштабность этих характеров имеет для автора книги существенное идейно-художественное значение, потому что предопределяет широту охвата обстоятельств общественной жизни. Поэтому, между прочим, в движении от повести к повести прослеживается эволюция главного героя — от не ведающей сомнений молодости к раздумчивой зрелости и умудренной старости, от ограниченного личного опыта к широкой общечеловеческой культуре. Одновременно углубляется социально-нравственная проблематика, уплотняется духовная атмосфера повествования, художественная нагрузка все более перемещается с внешнего действия на его философский смысл.

Но при всем том в центре внимания писателя все время оказываются не те эпизоды из жизни героев, когда в столкновении с обстоятельствами их человеческая сущность раскрывается наиболее полно, а те, в которых обнаруживается противоречие между нравственно-психологической сутью характера и его проявлением в общественно значимом поступке. Скажем, Григорий стреляет в Митьку, хотя о нем не скажешь, что он зол или нерассудителен; Юлий Васильевич оставляет Александру, будущую мать Семена, в отчаянном положении, хотя он не негодяй; Олимпий не вмешивается, когда толпа религиозных фанатиков терзает боготворимую им Гипатию, хотя он не трус... Автор не оправдывает своих героев, но и не торопится их осуждать. Размышляя над поистине драматическими поворотами их судеб, он углубляется в художественное исследование тех мотивов человеческого поведения, которые определяются не собственными взглядами и убеждениями отдельного человека, а его принадлежностью к той или иной группе, сообществу. Иными словами, он переключает внимание с отдельного и как бы автономного характера на социально-психологическую атмосферу общественной жизни, поддерживая и развивая тем самым одну из наиболее плодотворных, на мой взгляд, тенденций реалистической литературы нашего времени — тенденцию художественного постижения неодномерной и, так сказать, многоступенчатой

связи индивида с обществом. Именно в этом я и вижу главный художественный смысл обращения А. Ромашова к «обыкновенным» характерам.

Итак, три повести, составившие книгу — это три ступени познания писателем тех социально-психологических структур, от которых зависит поведение человека на перепутье; это три этапа формирования художественного мировоззрения автора и одновременно вызревания его творческой манеры.

Самая ранняя из повестей — «Первый снег» — во многом еще традиционна и довольно легко ложится в общий ряд с многочисленными произведениями, в которых рассказывается о трудностях становления Советской власти в глухих уголках бывшей Российской империи. Есть в ней, как водится, колоритные картины вековечного захолустного быта, выразительные психологические портреты крестьян, сочные детали и краски времени, а на всем этом фоне развертывается остросюжетное повествование о том, как комсомолец Григорий Бобров, приехавший со специальным заданием уездных властей, выслеживает и в конце концов настигает матерого белобандита, скрывавшегося в раскольничьих скитах.

Впрочем, я допустил неточность: рассказ о ликвидации банды полковника Залесского мог быть остросюжетным, но А. Ромашов явно не стремится сделать его таковым. Он то уводит повествование от основного русла, то перебивает его другими сюжетными линиями, то опускает какие-то звенья. И опять разгадка не в желании писателя поспорить с традицией, а в стремлении не отступить от жизненной правды — не перепутать масштабы событий. Ибо судьбы Советской власти в селе Челпановском в те дни уже зависели не от того, как скоро будет обезврежен скрывающийся от законного возмездия белогвардейский каратель, а от того, сколь успешно будет совершаться высвобождение сельчан из-под власти перекупщика Тумака и скитника Сафрония, от развития социального самосознания людей. Поэтому сцены с полковником Залесским скупы и подчеркнуто прозаичны (в том числе и схватка, в которой он был убит), а с истинным вдохновением писатель рассказывает о посланцах новой жизни Якове Сергеевиче и Иване Егоровиче; о мудрых стариках Улебе Захаровиче и Сидоре Матвеевиче, которые потянулись к Советской власти силою своего большого жизненного опыта; об учителе Владимире Андреевиче, который ищет в этом мире «прекрасных и добрых начал»; о красавице Марии, бросившей вызов домостроевской морали; о Михаиле Шаруеве, отстаивающем новую жизнь исступленно, с наганом в руке...

Но главный и самый дорогой для автора персонаж повести — комсомолец Григорий Бобров.

Автор словно бы чуточку даже подтрунивает над безоглядной и бескомпромиссной категоричностью своего героя, когда тот, юный годами, но не по годам богатый опытом классовой борьбы, впервые появляется перед читателем. Григорию доподлинно известно, что Христа не было («Бабьи, говорю, это сказки, опиум народа»), что «лет через пять все болота осушат и построят настоящую дорогу», и даже опостылевший утренний дождь он называет «атаманом», а дневной — «подкулачником».

Однако юношеский максимализм способен вызывать улыбку лишь до той поры, пока не обернется вдруг нетерпимостью: «Григорий спорил с ними (мужиками.— *В. Л.*), а сам думал: треснуть бы одного наганом по башке, да нельзя — народ они, и Яков Сергеевич рядом». Впрочем, и Якова Сергеевича он в душе порицает: «Комиссар тоже называется ...про Магомета знает, а мужики при нем сомневаются, контру разводят».

Откуда у молодого парня эта жесткая категоричность? Тут особой загадки нет: от времени, расколотого надвое, от сознания силы, подкрепленной наганом в кармане, а пуще всего — от малого житейского опыта, от неумения поставить себя на чужое место. В конце концов к верному выводу придет и Григорий — уже после того, как однажды Якова Сергеевича не окажется

рядом, и... «Думал он (Григорий.— *В. Л.*) о разном, а как по кругу ходил. Не расстреляй он тогда Митьку, не было бы пожара, не было бы сирот, и Пилька жив бы был...»

Для Григория, который совсем еще недавно не знал сомнений, это значительный итог. Нельзя сбрасывать со счета, что достигнут он очень дорогой ценой, но нельзя, по мысли писателя, и всю вину за трагическую цепь событий в таежном селе возлагать на одного человека, у которого и опыта еще недоставало, чтоб выработать свою позицию в «развороченном бурей быте». Авторское отношение к Григорию определяется не тем, что молодой парень не смог избежать трагических ошибок, а тем, что у него хватило ума и сердца, мужества и честности, чтобы извлечь из случившегося верный нравственный урок, и тем, что в дни яростных классовых битв он сумел угадать, нащупать, выстрадать такой путь, на котором исповедуемые им революционные идеалы органично сочетаются с традициями гуманизма, добра, идущими из самых глубин народной жизни.

В повести «Одолень-трава», написанной восемью годами позже, чувствуются как бы отголоски сюжета «Первого снега»: тот же таежный край, то же разломанное время (правда, на более ранней стадии: еще в разгаре гражданская война), но главное — похожая система действующих лиц. В Семене, с его бескомпромиссной революционностью, легко обнаруживается сходство с Григорием, Якова Сергеевича, что называется, в полном объеме заменил Матвей Филиппович, перекупщика Тумака — рвущийся к богатству Сафрон Пантелеевич. Может быть, не столь очевидна параллель между белобандитом полковником Залесским и бывшим лесничим, а ныне колчаковским офицером Юлием Васильевичем Дубенским, однако ведь мы практически ничего не знаем о прошлой жизни первого, равно как и о «подвигах» второго в рядах белого воинства. Впрочем, об одном «подвиге» известно точно: еще в 1905 году Юлий Васильевич достаточно активно участвовал в подавлении крестьянского бунта. Сближает между собою обоих офицеров сословное самосознание, сближает классовой принадлежностью продиктованное противостояние таким людям, как Яков Сергеевич, Матвей Филиппович или Григорий, Семен. Ну а лесник Никифор, похоже, унаследовал трудолюбие, житейскую мудрость и осмотрительность Улеба Захаровича, Сидора Матвеевича, Ивана Егоровича, хоть по возрасту любому из них уступает, тем более уступает по части политической сознательности, как принято было говорить в ту пору.

Однако сходство, как это часто бывает, сделало более очевидными различия между повестями, а по этим различиям обнаруживается направление движения художественной мысли автора.

Прежде всего бросается в глаза, что внешнее действие, «завлекательная» роль которого, как мы видели, сознательно приглушалась писателем уже в «Первом снеге», в «Одолень-траве» окончательно отодвигается на задний план. Достигается это, в частности, неожиданным и в то же время поразительно простым сюжетным решением: два центральных персонажа, в непримиримой враждебности которых выразился главный социально-нравственный конфликт времени, воссозданного в повести, сведены автором вместе и... лишены возможности действовать. Семен прикован к постели тяжелым ранением, а Юлий Васильевич в самом банальном смысле слова привязан веревкой к нарам. Причем до последних страниц остается неясным, чем завершилось это вынужденное «сосуществование»: финал оставляет возможность разных толкований... Для раскрытия замысла это, видимо, не столь важно, а важно то, что перед нами два человека, которые никогда прежде не встречались, не причиняли друг другу зла (о неблаговидной роли Юлия Васильевича в судьбе своей матери Семен узнает уже в преддверии финала), они даже находятся в кровном родстве, а между тем не просто непримиримы — несовместимы, и это следствие их различной сословной принадлежности. Их

несовместимость таит в себе возможность столкновения (которое могло бы, вероятно, развиваться и так, как в «Последнем снеге», где Григорий буквально охотится за полковником Залесским), но сосредоточить внимание на возникающих при этом положениях значило бы исследовать симптомы и следствия. А в «Одолень-траве» писатель стремится докопаться до причин.

Отсюда, между прочим, следует второе отличие этой повести от предыдущей: А. Ромашов берет здесь своих героев не только в том соотношении, в которое их поставило само время независимо от личных качеств каждого, но также и в личном отношении к своему общественному положению, к своей роли в событиях. Скажем, Григорий бескомпромиссен в революционных убеждениях и скор в оценках, однако мы, в сущности, совершенно не знаем, почему он таков: комсомолец — и этим все сказано. А ненависть Семена к белогвардейцам вообще, а значит, и к одному из них, Юлию Васильевичу, нам понятна вполне: трудное детство, рабочая юность, горький опыт гражданской войны. В его обвинениях звучат не отвлеченные лозунги, а собственные незаживающие душевные раны: «А зачем красноармейцам руки ломать и тело резать? Глаза выкалывают, сволочи! На части мелкие рвут!» И еще: «Не спишь, офицер? Ответь: за какие провинности мобилизованных обозных мужиков белые расстреливают?» Что ответить на это Юлию Васильевичу? «Я не расстреливал»,— утверждает он и, конечно, сам понимает, что это слабый аргумент, потому что в белой армии он оказался не по принуждению, а по убеждению.

Образ офицера Дубенского тем особенно интересен, что это не аристократ, боящийся распроститься с сословными привилегиями, не собственник, пытающийся отвоевать отобранное, а — в прошлом — труженик и по-своему порядочный человек. В спорах с Семеном, который все время горячится, Юлий Васильевич порой выглядит даже как-то основательней.

Но — только выглядит. Ибо идейно-художественная суть повести заключена отнюдь не в споре этих двух героев. Более того, эти герои, хотя им и уделено немало места в повествовании,— не главные. А главный здесь — лесник Никифор, и в перенесении основного внимания на эту фигуру (в «Первом снеге» в центре был Григорий — предшественник Семена) — еще одна важная особенность «Одолень-травы». Никифор не мудрец, не острослов (хотя и не так уж «в рассуждении ущемлен», как отозвался о нем однажды писарь). Когда спорят Семен с офицером, он предпочитает отмалчиваться. Но он труженик, он дело делает, и перед его немногословной, несуетной, но наполненной реальными поступками жизнью обнаруживается истинная цена слов и дел господина лесничего.

Юлий Васильевич «из высоких нравственных побуждений» оставил Александру, осудив ее притязания на барскую жизнь,— Никифор же увидел в девушке натуру чуткую и одухотворенную, он с пониманием отнесся к ее неосознанной боязни сломаться под бременем непосильной крестьянской работы, к ее попытке вырваться из предначертанного самим рождением буднего круга. И он ее спас, не считаясь с унижениями и трудностями, которые пришлось при этом вытерпеть. И сын Юлия Васильевича стал его сыном не только по закону, но и по духу... Бывший начальник Никифора считает, что проявил благородство — избавил бунтовщика Пискуна от телесного наказания. Хозяин избушки и этот случай видит иначе: «Куприяна Лукича погубили, погиб человек на каторге... Не вмешался бы господин лесничий тогда — Пискун был бы жив, от порки бы не умер». Так, звено за звеном, осыпается словесная кольчуга рыцаря «высокой нравственности» и чаша справедливости начинает склоняться на сторону не изощренного в словопрениях, но правильно понимающего жизнь красноармейца Семена.

Образ лесника Никифора имеет сложную нравственно-философскую природу. Его нельзя понять, не приняв в расчет заветов и наставлений Захара —

отца, о котором Никифор вспоминает столь часто; нельзя понять без баек Пискуна, без народных песен, которые звучат в повести не раз; нельзя понять, наконец, без маленького шедевра народной поэзии — охотничьего заговора, приведенного в качестве эпиграфа. Иными словами, образ этот нельзя понять вне той стихии народного опыта, народной мысли, народной нравственности, в которую погружено действие, на которую настроена поэтика и стилистика повести и плотью от плоти которой является ее центральный герой.

Схожая, в сущности, стихия, только истолкованная глубже, драматичнее, стала вместилищем и движущей силой сюжета повести «Диофантовы уравнения» — заключительной части непроизвольно, но не случайно сложившейся «трилогии» А. Ромашова.

Эта повесть не наследует ни обстановки, ни типажей двух предыдущих. Ее действие развертывается в совсем иных широтах и в эпоху, отдаленную от нас на полторы тысячи лет. Здесь мы переносимся не в болотистую чердынскую тайгу, а в «великий город, затмивший славу Афин и великолепие Рима» — египетскую Александрию, уже несущую на себе следы запущенности и разрушительных вылазок христианских фанатиков, но все еще поражающую воображение столицу эллинистического мира. Герои повести — не придавленные житейскими заботами землепашцы и охотники, а блестяще образованные ученые, мыслители, общественные деятели прославленного центра античной культуры. Кстати сказать, многие персонажи, действующие в этом непривычном для нашей литературы мире,— реально существовавшие люди, подлинны и воссозданы с научной достоверностью и все события.

Художники нередко обращаются к событиям и образам отдаленных эпох ради их необычности, стремясь таким способом завоевать внимание читателей или зрителей. В театре и кино возникло даже понятие «костюмной» постановки, которое употребляется чаще всего как синоним развлекательного искусства. Ромашов же и в «Диофантовых уравнениях» остается верен себе — исключает все возможности поверхностного и бездумного восприятия. Достаточно сложны для чтения и первые две повести, а здесь читателю приходится еще трудней. Насыщенный эллинизмами словарь, необычайная плотность образной структуры, непривычная емкость деталей, сложность композиции — все это требует напряженной встречной работы ума и чувства. При этом автор не подогревает читательского интереса историческими параллелями: события глубокой древности отнюдь не выглядят в повести, как водится порой, прозрачными аллегориями современности — они таят в себе свой собственный смысл.

И снова — почти полное отсутствие внешнего действия. Несложно представить, какие красочные картины жизни позднеантичного города можно было развернуть. А какие леденящие душу сцены погромов и массовых убийств угадываются где-то за гранью аскетически сдержанных строк!.. Однако ошибется тот, кто примет сдержанность манеры писателя за скудность. Под внимательным взглядом картины, как бы пунктирно намеченные его пером, оживают и начинают развертываться вглубь, обретая запахи и краски, обнажая богатые связи и отношения. «Мой первый учитель посмеивался над богами, много ел и любил новости»,— сообщает герой-рассказчик, и вам уже вполне ясен этот характер и ясна суть его влияния на воспитание юного отпрыска аристократического семейства. Столь же красноречивы, при всей их предельной лаконичности, и другие фигуры, а также пейзажи, уличные сцены. И такие важные для понимания сути авторского замысла эпизоды повести, как убийство Гипатии толпой фанатиков или посещение жаждущим мщения Олимпием одряхлевшего Кирилла, уложенные в три-четыре фразы, потрясают высоким трагизмом.

Но стиль повести оттого и лаконичен, что образы и страсти давно ушедшего мира не так уж важны для писателя сами по себе. Да ведь и пред-

стают они перед читателями не в прямом изображении, а преломленными в памяти Олимпия Плотника, доживающего свою нелегкую, полную превратностей жизнь в александрийском предместье. Все уже совершилось в этой жизни, и ничего нельзя изменить. Но призраки прошлого не отпускают старика, заставляя его снова и снова мучительно переживать поворотные события своей судьбы: в чем он ошибся, где следовало поступить иначе? Не похожее ли происходило в душе Григория Боброва, ставшего невольным виновником гибели не только Митьки, но и его жены, а вместе с ней и доброго, безобидного Пильки?.. Не подобное ли происходило и в душах героев «Одолень-травы»?.. Так третья повесть тематически сближается с двумя первыми, причем впервые функции рассказчика Ромашов перепоручает герою — это закономерный шаг в движении мысли писателя к постижению социально-психологических мотивов поведения людей в сложной и противоречивой социально-исторической ситуации. Причем, отодвинув действие в далекое прошлое, автор отвлекся от неизбежных при обращении к «горячему» жизненному материалу предварительных оценок (красноармеец и белый офицер для нас, конечно же, не равноправные участники художественного «эксперимента»!). А приобщив Олимпия к высочайшим ценностям современной ему культуры, автор перевел художественное исследование его жизненной позиции в нравственно-философский план всемирно-исторического масштаба.

Сложен нравственный перекресток, на который судьба выносит Олимпия: здесь идет борьба двух исторических тенденций, двух эпох, которые воплотились под пером писателя в два выразительных образа — Гипатии и Кирилла. Гипатия, как уже говорилось, реальное лицо: выдающаяся женщина-математик, философ, астроном, жила в Александрии в 370—415 годах н. э. В повести она олицетворяет ум, талант, красоту уходящей античной эпохи. Ее современник Кирилл (умер в 444 году) — олицетворение религиозной реакции. Он по-своему умен, образован, но расчетлив, лицемерен, жесток. Почувствовав силу александрийской черни, он сумел лестью и обманом добиться ее расположения и, встав во главе ее, повел довершать разгром античной цивилизации. Убийство Гипатии, хоть оно и не было непосредственным делом его рук, также лежит на его совести, и это преступление тем более тяжко, что в юности сам Кирилл был учеником замечательной женщины.

Олимпий преисполнен добрых намерений, но он не смог ничего сделать, чтобы остановить кровопролитие, уберечь от уничтожения памятники великой культуры, не смог, даже не попытался защитить Гипатию, которую растерзали у него на глазах. И теперь прошлое душит его укорами совести... Подобно тому, как подставляют числа в Диофантовы уравнения, имеющие множество решений, прилагает Олимпий к «уравнению» своей жизни мудрые советы философов, поэтов, предписания старых и новых религий, и мы видим, как трудно рождается нравственная истина.

В чем она, эта истина? В попытках ли самооправдания Олимпия: «Мы пыль на горячем ветру пустыни...»? А может быть, в том, что растерзанная Гипатия многие десятилетия снова и снова появляется — молодая и прекрасная— в снах и мыслях героя? Что мудрые ее поучения и в новую, нетерпимую к «язычеству» эпоху будят мысль, заставляют с собой считаться?

«Человек ответственен, Олимпий»,— эти слова Гипатии, заключающие повесть, остаются в нашей памяти, как нравственный итог не только «Диофантовых уравнений», но и всей книги Андрея Ромашова. Книги, ставшей заметной вехой на творческом пути автора. Ибо без преувеличения можно сказать: «Первый снег», «Одолень-трава», «Диофантовы уравнения» — это самое значительное из всего, что создано А. Ромашовым за более чем четверть века литературной работы.

В. ЛУКЬЯНИН

Ромашов А. П.

Р69 Повести/Послесл. В. Лукьянина.— Свердловск Сред.-Урал. кн. изд-во, 1983.— 256 с.

В пер.: 1 р. 10 к. 100 000 экз.

В книгу вошли две ранее издававшиеся повести о становлении Со ветской власти на Урале — «Одолень-трава» и «Первый снег», а такж историческая повесть «Диофантовы уравнения», действие которой про исходит в древней Александрии.

$Р\frac{4702010200-071}{М158(03)-83}73-83$ ББК 84Р

СОДЕРЖАНИЕ

ИБ № 1119

Андрей Павлович
Ромашов

ПОВЕСТИ

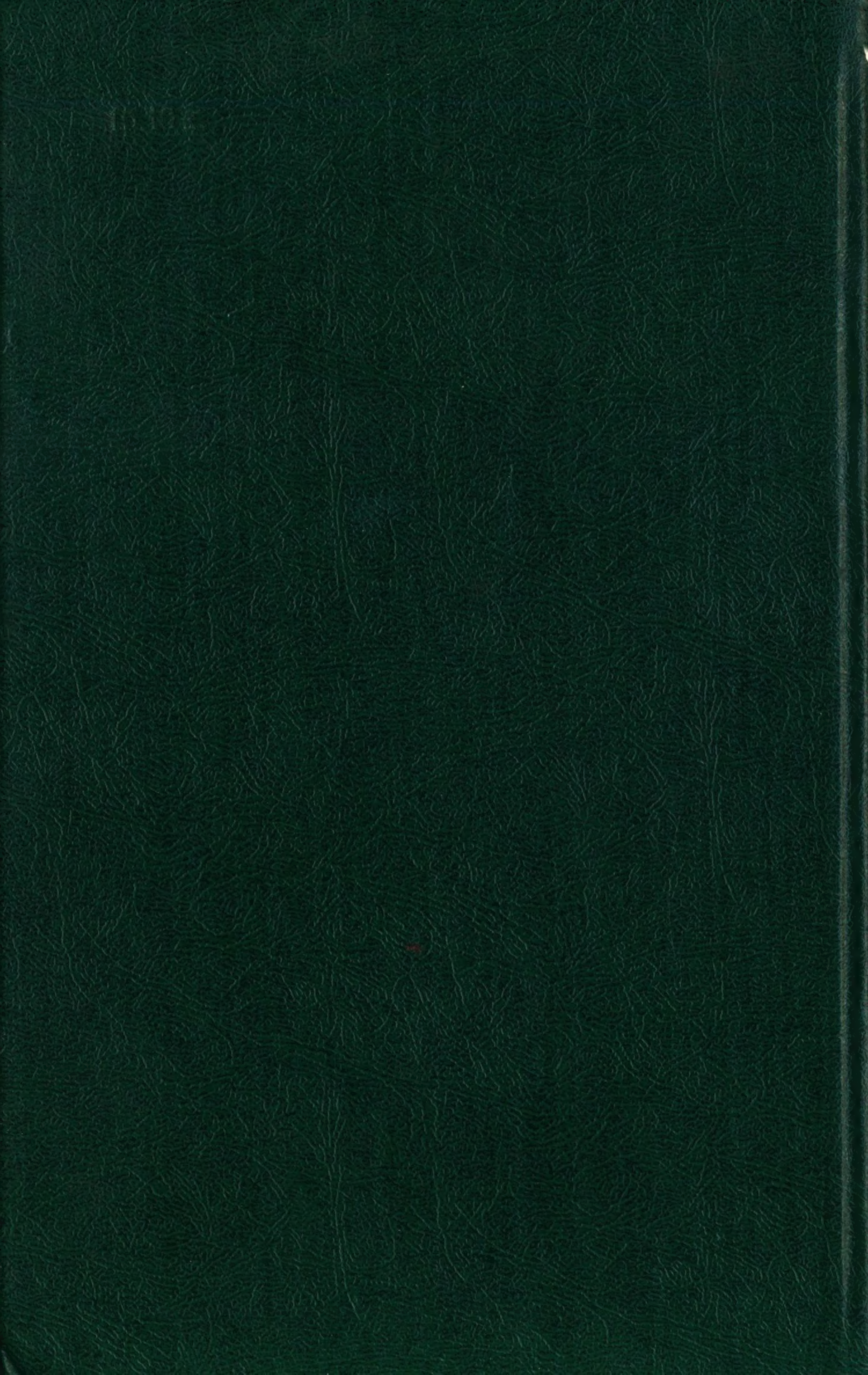
Редактор М. П. Немченко
Художественный редактор А. В. Вохмин
Технический редактор Н. Н. Заузолкова
Корректор Е. И. Ерина

Сдано в набор 20.12.82. Подписано в печать 10.05.83. НС 14089. Формат $84\times108^1/_{32}$. Бумага типограф. № 2. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 13,44. Усл. кр.-отт. 13,4. Уч.-изд. л. 14,3. Тираж 100 000. Заказ 639. Цена 1 р. 10 к.
Средне-Уральское книжное издательство, 620219, Свердловск, ГСП-351, Малышева, 24.
Типография изд-ва «Уральский рабочий», 620151, Свердловск, пр. Ленина, 49.

ıат
ая.
)00.

ıы-

49.




Андрей Ромашов